Мариэтта Шагинян

ГИДРОЦЕНТРАЛЬ


БИОГРАФИЯ
ОТЕЧЕСТВА



Мариэтта Шагинян

ГИДРОЦЕНТРАЛЬ

РОМАН

Москва
«Советская Россия»
1988

Р2
Ш15

Оформление **А. Матрешина**
Иллюстрация **С. Трофимова**

Шагинян М. С.
Ш15 Гидроцентраль: Роман/Предисл. М. Горячкиной.— М.: Сов. Россия, 1988.— 352 с., илл.— (Биография Отечества).

Роман о строительстве электростанции в Армении — «самая серьезная и трудная моя работа»,— говорила М. Шагинян (1888—1982). Это одно из первых произведений советских писателей, рассказывающих о социалистическом созидании, о первооткрывателях и энтузиастах первой пятилетки, о зарождении новых взаимоотношений между людьми.

Издание романа приурочено к 100-летию со дня рождения писательницы.

Ш $\frac{4702010200-191}{М-105(03)88}$ КБ—45—57—87 **Р2**

ISBN 5—268—00647—9

«ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ»

2-го апреля 1988 года исполняется сто лет со дня рождения известной советской писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888—1982). Талант ее удивителен по своему многообразию. Он проявился во всех жанрах: стихах, романах, повестях, рассказах, очерках, публицистических хрониках, литературоведческих монографиях о русских и зарубежных писателях, философских статьях, исследованиях, посвященных музыке и театру. В творчестве М. Шагинян отчетливо видна связь русской культуры двух веков. Многопроблемность и тематическая широта определены задачами времени, сформировавшими ее талант. В этом есть что-то общее с писателями эпохи Возрождения, как ни странной покажется эта ассоциация. Писательницей владело страстное стремление не только к познанию жизни во всех ее областях, но и к многоплановому отражению этого познания. Кажется, нет ни одной области науки, культуры и производства, которая не привлекла бы ее внимание. Работая над очерками о текстильных фабриках, она становится инструктором ткацкого дела; изучая немецкую философию — пешком проходит по городам и селам Германии; вдохновившись ленинским планом электрификации страны, полтора года живет на строительстве ГЭС в глухом уголке Армении, наблюдая весь процесс ее создания — от проекта до пуска в строй; познакомившись с проектом строительства железной дороги в Башкирии, протестует против его первоначального варианта и добивается осуществления другого, более необходимого стране. Ее кровно интересовали рудники Зангезури и сланцевые шахты Эстонии, заводы Магнитогорска, Урала, челябинские колхозы и рыбные промыслы Каспия. Она всегда была в курсе научных проблем современ-

ности: физиологии, физики, химии, астрономии, экономики и, конечно, философии и литературы. И высказывала свои собственные оригинальные суждения в этих областях.

Это был человек страстного, «нетерпячего» характера, отважно и бескомпромиссно сражавшийся против всего косного, несправедливого, в каких бы формах оно ни выражалось. Она была подлинным коммунистом-воителем, и потому жизнь ее не была легкой, хотя во все времена авторитет ее был высок. Не все любили ее, слишком неудобным человеком была Мариэтта Сергеевна Шагинян, но уважали ее — все. А многие и боялись ее яростных атак. М. Шагинян высказывала свои суждения невзирая на чины и звания критикуемых. Такой она была всегда, даже и в глубокой старости.

Начав с газетных статей и фельетонов, с камерной лирической поэзии в период политической реакции 1906—1912 годов, М. Шагинян спустя несколько лет пишет роман «Своя судьба», в котором ставит проблемы оторванности буржуазной интеллигенции от народа и творческой роли труда. Октябрьская революция была для М. Шагинян радостной «зарей человечества», и потому чувством восторга проникнут роман «Перемена», написанный в 1923 году. В следующем романе «Приключение дамы из общества» нарисован психологически достоверный образ интеллигентки, пришедшей к признанию революции. В сатирическом, антимилитаристском и антифашистском романе-сказке «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» (1925) впервые в советской литературе выражено предчувствие грядущих боев родины социализма с враждебным миром не просто эксплуататоров, но и убежденных фашистов. Рисуя сплоченный союз рабочих — «властелинов вещей», то есть творческого труда, М. Шагинян показывает и созданное ими социалистическое, технически совершенное общество, перестроившее природу на пользу человеку. Великую роль играет в этом обществе электрификация, плановое хозяйствование, знание основ экономики каждым рабочим.

М. Шагинян родоначальница нового жанра очерка — очерка социалистического преобразования действительности. Продолжая традиции русской революционно-демократической очеркистики прошлого века, она внесла в этот жанр черты, рожденные эпохой великих социальных свершений. Это — очерк партийный. Он, по словам писательницы, всегда «открытое голосование «за» или «против». Таковы же ее очерки и о зарубежных странах. В них главное — раскрытие процесса борьбы старого и нового, коммунистического и антикоммунистического. Циклы очерков М. Шагинян, как и романы и повести, остроконфликтны и философичны. В них всегда частное проецируется на общее, современное на будущее.

Лениниана («Рождение сына», «Первая Всероссийская», «Билет по истории», «Четыре урока у Ленина»), получившая в 1972 году Ленинскую премию,— вершина восьмидесятилетней творческой деятель-

ности писательницы. «Все, что я писала, исходило из страстной потребности помочь становлению дела Ленина на нашей земле»,— говорила Мариэтта Шагинян.

* * *

Роман «Гидроцентраль», законченный в 1930 году, был одной из важных вех на пути осознания писательницей задач ленинской перестройки жизни. Пожалуй, даже важнейшей. Это роман не только о становлении новых производственных отношений, но и о рождении новых социалистических черт в характере человека.

В двадцатые — тридцатые годы, «от восстановительного периода в период реконструктивный», как пишет М. Шагинян в своей «Автобиографии», она обращается к работам Ленина и Маркса, посвященным проблеме труда. Восхищаясь точностью марксистского определения «труд как живой фермент», М. Шагинян пишет : «*Живой фермент!* Вот главное, что определяет творческую суть труда... оно постигается простым человеческим воображением как *дающий жизнь*, ...как жизнедеятельное начало, тот самый икс, который всегда создает *новое, небывалое*... Икс движения к будущему, роста, развития, становления. ...Чего только нет о труде в моих собственных книгах, вся «Гидроцентраль» и ее герой Рыжий — это философия труда в лицах, в действиях». («Человек и время»). И вместе с тем М. Шагинян признается, что подлинный смысл учения Маркса о труде ей стал ясен лишь позднее, под старость. Только пройдя полувековую школу творческого участия в построении нового общества, она поняла роль свободного труда в формировании человека новой, социалистической формации.

Подготовка к освоению материала для романа «Гидроцентраль» у М. Шагинян была основательной. Она училась в Плановой академии на факультете энергетики, исследовала материалы, связанные с планом ГОЭЛРО, несколько лет изучала Армению, ее природные ресурсы, написав об этом множество очерков, в том числе капитальную книгу — «Путешествие по Армении». Мысль о романе, посвященном созданию электростанции, возникла у М. Шагинян не случайно. Эта тема давала возможность проследить становление социалистической нови, «отразить в искусстве, как сквозь борьбу и сопротивление рождается социалистическая стройка и, рождаясь, усиливает развитие социализма в стране»,— пишет М. Шагинян в своей «Автобиографии»[1].

Тема эта стала главной для многих советских писателей 30-х годов, но Шагинян была одной из первых. Позднее началось подлинное половодье, которое вынесло «корабли нашей литературы — «Поднятую целину», «Бруски», «Энергию», «День второй», «Человек меняет кожу», «Людей из захолустья», «Танкер «Дербент», один за другим, много,

[1] Советские писатели: Автобиографии: В 2 т. Т II.— М., 1959.— С. 654.

много кораблей в Будущее, ...материальных летописей социалистической стройки эпохи»,— пишет М. Шагинян в книге «Человек и время». Приехав на стройку электростанции на реке Дзорагет, писательница стала самым ее активным и непосредственным участником: с момента проектировки до завершения строительства «я объезжала предполагаемые трассы будущих каналов, с проектировщиками шаг за шагом следила за историей проекта, с вербовщиками узнавала кадры будущих рабочих». И на полтора года стала жительницей в бараке строителей ГЭС. «Роман — самая серьезная и трудная моя работа»,— скажет М. Шагинян в конце 50-х годов. Но потом, конечно, окажется, что наиболее трудной будет ее Лениниана. Именно она станет вершиной постижения писательницей социальной сущности проблем развития человечества, ее проникновения в логику ленинской мысли, в философские принципы и деятельность гения пролетарской революции.

Роман «Гидроцентраль» был для М. Шагинян труден и важен тем, что это было произведение этапное, поворотное. Создав его, осмыслив события и характер типичного объекта социалистического строительства того бурного времени, писательница бесповоротно и страстно стала на ленинские позиции. Именно отсюда начинается ее путь к созданию Ленинианы.

«Знакомство с Армянской республикой, знание главных ее хозяйственных проблем, отпечатавшиеся в памяти образы ее людей, так переполняли меня, что рамки очерка размыкаются перед воображеньем, словно вспомогательные леса, и меня неудержимо тянет к новому реалистическому роману»,— вспоминала позднее писательница[1].

Родившаяся и выросшая в России, сформировавшаяся духовно в среде русской интеллигенции, М. Шагинян впервые в 20-е годы познает землю далеких предков (близкие — дед, мать, отец — жили в России). И в тот период, когда древняя земля эта и ее народ обрели, наконец, свободу в союзе равных. Процессы социалистического преобразования в экономически отсталой республике, в обстановке накопившихся социальных и национальных противоречий, проходили особенно трудно. Но именно здесь нагляднее и убедительнее, чем где-либо, можно было наблюдать возникновение ростков нового общественного строя, могучее влияние свободного труда, новых отношений, формирующих человека советской эпохи.

Стремление к обобщению конкретных явлений жизни, к осмыслению реальных событий как этапных на пути становления нового — всегда были отличительными свойствами писательницы, стремящейся «добиться не только правды сегодняшнего дня, но правды завтрашнего дня».

---

[1] М. Шагинян. Семья Ульяновых: Очерки. Статьи. Воспоминания.— М.: Худож. лит., 1959.— С. 668.

В романе М. Шагинян «впервые в жизни... пробивалась к подлинному реализму». «В нем любое положенье и любая коллизия не только были взяты из жизни, но и отобраны среди других, по признаку наибольшей характерности в то время и для других строек»,— писала М. Шагинян в своей «Автобиографии».

Начинается роман с описания биржи труда, где знакомятся некоторые из его героев. Там же впервые заявляет о своем новом, необычном отношении к труду Рыжий — Арно Арэвьян. Суждения его оптимистичны и для многих являются откровением: «Не может не найтись работа в стране, где все перестраивается, где тысячи дел ждут очереди, где самое драгоценное — наша с вами энергия». Эта мысль уже сама по себе перевертывает сознание людей, теряющих надежду, открывает им глаза на будущее. Роль философа-оптимиста, связующего процессы настоящего и будущего остается за Арэвьяном на протяжении всего романа.

По своему оптимистическому видению мира, безоглядной влюбленности в созидающий труд к нему примыкают коммунистка Марджана, предместкома Агабек, старая учительница Ануш Малхазян, студент-практикант Фокин, Степанос и многие другие.

Каждый из них не только новатор в труде, но и — воспитатель людей. Они зажигают души окружающих своим бескорыстным служением обществу, своей верой в становление нового мира. И достигают этого не красивыми словами, а собственным примером.

Первое знакомство с практикой и теорией труда Арэвьяна было потрясением для его сослуживцев: «Такого человека, чтоб зря работал,— черта с два. Плюньте на меня, ежели за ним не дашнаки!» — сразу же внес сомнение Володя-Меринос. Но для Арно Арэвьяна, которому поручено было разобрать бесформенную груду старого архива строительства электростанции, работа архивариуса обернулась осмыслением проектов эпохального значения и его ошибок. Работа эта помогала поиску путей подлинно новаторских в создании нового промышленного объекта.

«Опьяненный диалектикой» Арэвьян рисует перед слушателями картину «двух разных эпох»: дореволюционного и революционного хозяйствования на земле. Труда для предпринимателей и труда для народа.

Диалектика Арэвьяна враждебна «обыкновенной совслужеской психологии» начальника канцелярии Захара Петровича и его окружения, живущих мелочами быта, а не задачами социалистической стройки. Она даже «оскорбляла» их своей необычностью. А Рыжий Арэвьян необычен во всем, начиная с разбитых очков и потертого театрального костюма и кончая беспощадными суждениями о людях, которых он видит насквозь. И не случайна духовная общность Рыжего с людьми такими же честными и прямыми.

Главный конфликт в романе — практический и философский —

это конфликт между рутинерами и приспособленцами — с одной стороны, и представителями революционного действия и мышления — с другой. Первые пытаются использовать в строительстве Мизингэс старые проекты, рассчитанные на старые производственные отношения. Они мыслят местническими категориями, для них Мизингэс — только ступенька в их карьере. Для вторых — Мизингэс — необходимое звено в огромной цепи энергетических объектов всей страны. Она — средство перестройки природы и людей.

Главный инженер Мизингэса, работающий глубокой ночью над чертежами, вдруг приходит к ясному осознанию органической связи своего детища «*с целым*», эпохальным. «Он знал, ...что ведущими умами в нашей стране составляется грандиозный план пятилетних работ. Он знал, что план этот охватит и возьмет в свою огромную сеть и его республику, а с нею и маленький Мизингэс. Мыслить большими масштабами! Дожить, дожить,— чтоб увидеть воочию, как покроется вся необъятная земля советская сотнями, тысячами строительных объектов, увязанных воедино... Первый пятилетний план!» Главный инженер дает точное определение сущности энтузиазма строителей: «Мы ...кессонщики, нам лучше не выходить из-под нагрузки — отсутствие ее состарит нас».

Роман «Гидроцентраль», характеры его героев изменялись М. Шагинян по сравнению с первым вариантом. Изменения шли по линии более четкого идейного разграничения героев, укрупнения философских проблем, заложенных в романе. Так, в последнем варианте 1949 года Арно Арэвьян из романтика-энтузиаста превращается в осознанного борца за социалистическое переустройство мира, за новое отношение к труду.

Перечитывая «Гидроцентраль» — произведение, стоящее у истоков первой пятилетки нашей страны, мы более чем через полвека с удивлением обнаруживаем необычайную злободневность его.

Писательнице удалось угадать и запечатлеть главные вехи исторического развития страны к социализму, главные проблемы, за решение которых шла и до сих пор идет борьба в нашем обществе. И злободневность эта очевидна именно потому, что роман философский, осмысляющий практику перестройки начала 30-х годов с позиций ленинской концепции становления социализма.

В «Гидроцентрали» меньше, чем у других писателей того времени, уделено внимания процессу труда, его новым способам, но гораздо больше — новой духовной атмосфере, формирующейся в процессе свободного труда, новому пониманию (как мы теперь говорим) роли человеческого фактора, ответственности каждого за общее дело, умению мыслить масштабно.

Отрицательные типы романа М. Шагинян — это не злодеи и не сознательные вредители — враги нового строя. Таких было много в романах ее современников. Начканц Захар Петрович, начальник

участка — Левон Давыдович, начальник строительства Покриков, старый инженер Александр Александрович, их жены — обывательницы и мещанки, в романе «Гидроцентраль» рабы и жертвы старого строя, рутинного мышления, привыкшие работать не на народ, а «на заказчика». И потому равнодушные к конечной цели своего труда. Им не понятен пафос Арэвьяна и Фокина, их страстные поиски истины, стремление за частным увидеть общее. Им глубоко ненавистна непреклонность предместкома — горбуна Агабека, стоящего на страже интересов рабочих.

Образ этого мудрого человека, живущего жизнью других, не случаен в творчестве М. Шагинян. Об этом она говорит сама. Это символ духовной силы, победы человеческого духа. К числу фанатиков труда, создающих уникальный музей природных богатств Закавказья, относится в романе и главный геолог Иван Лазутин.

Он из породы тех, кто мыслит глобальными масштабами, опираясь на науку. Жизнь его посвящена изучению богатств родной земли. Описание музея Лазутина — гимн науке о Земле, красоте земли.

И вместе с тем Лазутин-ученый остается во многом романтиком природы, озирающим лорийское плато с вершины потухшего вулкана, он еще не задумывается всерьез о страданиях и неудобствах жизни людей в этом волшебном краю. «Мне думается, пора геологии, подобно истории, повернуться лицом вперед. Иначе мы не сумеем планировать. Это значит, и ей придется в некотором роде социологизироваться, включить в понятие земли еще маленькую добавку: земля как населенный пункт, населенный живым обществом, а не окаменелостями»,— говорит Лазутину Арэвьян, подчеркивая мысль о том, что наука без практики мертва. Это пренебрежение практикой дорого обошлось Мизингэсу: проект ее, не учитывающий свойства туфов, оказался порочным.

Прошлое земли определяет и ее настоящее. Об этом свидетельствует и карта древней культуры Армении, висящая в канцелярии строительства. История древнего водопользования, его опыт, «передававшийся из поколения в поколение... подобно строительному опыту бобра», поразил старую учительницу Малхазян.

Становление нового происходит на древней земле не только в преодолении ее суровой природы, но и в следовании достижениям той трудовой практики, которую несли с собой многие поколения людей. Они хорошо знали свою землю и пытались ее преображать в меру сил. Но их примитивный опыт был далек от совершенства. Подлинное преображение несла иная социальная эпоха. Задача Мизингэса не только в необходимом повороте реки Мизинки, концентрации ее энергии, но и повороте в иное русло жизни людей.

В начале романа Арэвьян наблюдает жизнь обитателей городка: интеллигентов, торговцев, обывателей. Это во многом еще люди прошлого, с инстинктами собственников, примитивным мышлением мещан.

Живописны картины пира в доме виноторговца Гнуни, где изобилие земных благ сочетается со скудостью духовного мира людей. Виноторговец с треугольным лицом, «бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами... пологим, приплюснутым лбом ростовщика в бородавках», гость — «человек, низколобый как обезьяна», другой — «толстый и безбородый, с бульдожьей челюстью и бабьим обмякшим ртом — когда-то бойкий присяжный поверенного на юге России, а сейчас выплывший нэпманом», и т. п.

Вся эта вереница зоологических типов представляется пьяному художнику-лефу «лестницей из Апокалипсиса, лестницей баранов и козлов в сюртуках. Женщины и мужчины говорили: «Бэ-э-э». У женщин с невероятной быстротой отрастали курдюки... Их задние мысли были мне видимы, как хвосты». И еще художник вдруг с потрясающей реальностью ощутил присутствие предка этой семьи — жестокого предпринимателя дяди Михака. Он жив! «Он воспрянул в стране — кулаком, хозяйчиком... Дядя Михак — вечный предприниматель, он подтачивает социализм, сидя внутри его, как червь в абрикосе». Обнаружить, обличить потомков дяди Михака,— эту задачу ставит перед собой и своими современниками художник-леф Аршак Гнуни.

Оживлению идеалов дяди Михака способствовала в тот период вся мировая обстановка: «все темные силы, казалось, поднялись... для яростного сопротивления большевикам. В генеральных штабах Англии и Франции готовились к новой интервенции против нас. Бежавшие за границу старые хозяева русских шахт и заводов продавали иностранцам родину и подкупали продажных специалистов. ...А на маленьких сравнительно стройках, подобных Мизингэсу, все это отражалось по-своему,— в осмелении старых служак, для которых новый строй казался временным и обреченным на провал, в борьбе их, явно и втихомолку, против новых сил на участке»... К этому надо добавить темноту и забитость крестьян глухих окраин Армении, еще не сумевших осмыслить задачи социалистического строительства. Кроме того, возникали трудности в связи с отвлечением средств на другие, первостепенные объекты начала пятилеток. И тем важнее для писателя было раскрыть неотвратимость процесса революционного обновления страны.

Стройка дается как явление не местное, а общенародное. Здесь нет языковых и психологических преград: армяне и русские равно считают стройку своей, ее радости и беды делят поровну. И условия жизни для всех одинаковы. Сплетням и намекам обывателей и врагов они противопоставляют полную гласность. И в личном и в общественном: они публично судят вора, не стесняясь присутствия иностранного писателя, публично обсуждают проекты строительства, требуют отчетов от руководства, возмущаются произволом и бюрократизмом, хотят осмыслить значение своего труда в масштабе всей великой страны. И именно этой открытостью и гласностью они противостоят врагам

и недоброжелателям, пресекая их коварные замыслы. Они уже стали коллективным хозяином своего общего дела. Это чувство особенно важно воспитать у сезонников, пополняющих ряды строителей ГЭС. Неграмотные крестьяне бедных лорийских деревень, ищущие на стройке приработка, находят там свою судьбу, свое будущее. Таковы сторож Шакар, рабочий геологической разведки Мкртыч и многие другие.

Необычен образ секретаря парторганизации Мизингэса. Это скупой на слова, внешне предельно аккуратный молодой человек. Он не агитирует, не подменяет собой администрацию, много работает, изучает процессы, происходящие в стране. И его суждения, как правило, точны и глубоки. Так что внешность человека, обрисованная несколько ироничными красками, в данном случае не отражает его подлинной сути. Она лишь подчеркивает подлинность и незамутненность характера партийного вожака, его целенаправленность. Персонажи отрицательные в романе «Гидроцентраль» несут в себе черты марионеточности, как, например, начальник участка Левон Давыдович «с его пассивными деревянными жестами, с кашне вокруг шеи, руками в перчатках, с щучьим лицом... манекен, а не личность». Положительные же наделены глубокой индивидуальностью внешности и внутреннего мира. Как правило, они романтики, натуры духовно богатые. И даже каждодневная, порою мелочная работа не приземляет их духа. Они живут и работают на эпоху, «когда взят человек, как ком земли на лопату, в его наивысшей мере усилия, и когда напряженье, труд до восторга, до полной отдачи — попросту засчитывается человеку, как норма».

Все они — рыцари труда, труда преобразующего, закладывающего основы нового общества.

Положительные герои романа «Гидроцентраль» поднимаются до подлинных высот осмысления не только социальной, но и морально-психологической роли труда. Труд — единственное оправдание жизни, отрада и утешение человека на пороге небытия: «...Слабым шагом ковыляя к концу... старческим костяком прислонитесь вы к этому прошлому, как к опоре и монументу, и улыбнетесь себе. Ладно прожито!»

Подлинный труд облагораживает человека, очищает душу и разум. Поднимает над мелочной обыденностью. Но есть и другой — лжетруд, скверная и вредная имитация его. Этот «труд» тоже имеет своих приверженцев — людей совсем иного идейного и морального склада.

Начканц Захар Петрович, как и начальник участка Мизингэс Левон Давыдович, исповедовал философию послушания начальству «каждый начальник хорош» и соблюдения собственного интереса любой ценой. Их дело — это «сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, ...своевременных умолчаний...

Выждать время — вот тактика, потому что время работает на того, кто спокоен, кто не расходует нервы и не выбрасывает слова».

Захар Петрович увольнял неугодных ему «бузотеров», а Левон Давыдович построил мост, который при первом же разливе воды рухнул, поставив стройку в тяжелое положение.

Они развращали людей, заставляя их делать бесцельную, а потому — вредную работу. Очень убедительно и тонко рисует М. Шагинян атмосферу отвращения и злобы к подобному труду в бригаде Шибко, строящей помпезный мост, заранее обреченный, по мнению рабочих, на гибель. Их протесты ни к чему не привели, и рабочие, вынужденные подчиниться, выражают свое возмущение и посторонними странными разговорами и таким же странным поведением. «Эта неожиданная речь оскорбительно подчеркивала все глубочайшее пренебрежение артели к текущему моменту... Словно в защитный цвет оделись — рабочие артели Шибко были сейчас так же неестественно и мнимомонументальны, как построенный ими мост. Поза их за внешней полной беспечностью прятала неуважение». Эта же бригада людей, у которых были «золотые руки» созидателей и мастеров, открыто и бурно радуется, когда в половодье река Мизинка разносит их мост в щепки. В этом рабочие видят высшую справедливость: халтура не должна оскорблять подлинный труд. Наказание, идущее от самой природы,— вполне закономерно.

Рабочие, радующиеся гибели моста, как справедливому отмщению со стороны природы, вместе с тем видят в этом еще и закономерный итог политических и хозяйственных просчетов и ошибок на стройке. «...шесть месяцев зажима на участке, разгон лучших общественников, единовластие держиморды — начканца, самодурство чуждого и ненавистного большинству инженера Левона Давыдовича, шесть месяцев издевки над голосами рабочих, людей опытных, не один мост на своем веку выстроивших... мост погиб по закону, не мог не погибнуть, но только «закон» был в неправильной постановке работы, а не в паводке».

Эти картины, обличающие «труд», противоположный своему назначению, противостоят многим другим картинам в романе, рисующим труд вдохновенный. Работа по изготовлению бетона — это гимн труду, гимн радостной самоотдаче человека. И машина и люди слитны в процессе созидания. «Рабочие двигались ловко и с удовольствием... Фокин приходил сюда смотреть — из чистого удовольствия, как любят иные «сумасшедшие» люди смотреть на закат солнца».

Творческий труд требует новой, творческой и социально справедливой организации. Эта мысль проходит сквозь весь роман «Гидроцентраль».

Как видим, проблема весьма актуальная и на современном этапе социалистического строительства, спустя полвека.

Уже в тот далекий период первой пятилетки советские люди

надеялись только на свои силы, не уповая на помощь «благодетелей» из-за рубежа.

Всем, даже представителям старой рутинной интеллигенции, было ясно непримиримо враждебное отношение международного капитала к социалистической стране.

Поэтому вполне естественным и закономерным воспринимается участниками стройки смешной эпизод: капиталист-«благодетель» никак не может выполнить данное ему поручение — передать на строительство электростанции миллион долларов с тем, чтобы было запечатлено имя дарителя.

От посланца все отмахиваются как от докучливой мухи, никто всерьез с ним не желает разговаривать. И у всех на глазах гордый и могущественный посланец с миллионом в кармане превращается в жалкого, растерянного, униженного просителя. Он потрясен, он не в силах осознать, как могут полунищие люди отвергать этот дар.

Посланец — человек иного мира, иной психологии, ему не понять людей социалистической стройки.

И еще одна необычайно важная проблема поставлена в романе «Гидроцентраль»: бережное, хозяйское отношение к природе, к ее минеральным и энергетическим богатствам, к ее первозданной красоте — основе физического и духовного здоровья человека. В период бурного развития промышленности проблема эта стала в ряд важнейших социальных, а не только экономических, ибо она также определяет новое качество труда.

Природа, пейзаж в романе «Гидроцентраль» полны глубокого смысла. Это не только обстановка, где развертывается действие. Она живой и активный соучастник труда, принимающий его или отвергающий. Глубоко романтичен и даже сказочен образ непокорной реки Мизинки, пересекающей каменное лорийское плато Армении. Мизинка стихийна, коварна и вместе с тем шаловливо-добродушна, согласна на тяжелый труд, если он разумен и необходим для украшения земли. Для почтальона Пайлака, с бешеной скоростью мчащегося навстречу реке на быстрых «собачьих» лошадках, Мизинка — очаровательная шаловливая девушка. Именно ей поверяет он свои сокровенные думы — и о себе и о событиях на стройке. Судьба реки волнует Пайлака как своя собственная. «Тощей девчушечкой, распустив зеленые волосы, мчалась она, судорожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее, оскользнувшись, пробовала там и сям дорогу. Волосы цеплялись за встречные камни, оставляли зеленый блеск между песчаных отмелей. Где пробежать нельзя, она серебристо скалила зубки и вгрызалась в землю... Над камнями подпрыгивая вихрем серебра и золота, бегунья проскакивала»... Все в Мизинке было мило Пайлаку, даже частая перемена русла. И ему так хотелось, чтобы люди не нанесли вреда его любимице!

Как и Арно Арэвьян, Пайлак живет в захватывающе быстром темпе, как бы заражаясь им от самой природы, от неукротимой горной Мизинки. Хотя люди эти различны по наполненности своего духовного мира — их объединил новый труд, высота замыслов, жажда самоотдачи.

У Арэвьяна, человека, мыслящего глобальными категориями, в конце концов возникает потребность стать в ряды партии, организующей и направляющей весь процесс перестройки мира. «Я понял, что такое линия партии в этом хаосе событий и настроений»,— говорит Арэвьян Марджане. Пайлак пока что только стихийно ощущает свою причастность к «могучему коллективному движению... к истине». И эта причастность вдохновляет и окрыляет его душу, поднимает малоразвитого человека над бытом, открывает дорогу в иную жизнь. Это еще одна важнейшая особенность романа «Гидроцентраль». Писательница тонко, без общих фраз, рисует процесс движения человеческих душ, становление человека новой социалистической эпохи.

М. Шагинян избежала в романе вульгарного социологизма, свойственного некоторым литературным произведениям 20—30-х годов. И одним из противоядий этому, видимо, как и в более ранних повестях, стал революционный романтизм, окрашивающий образы положительных героев. Все они — люди, окрыленные мечтой, не просто покоряющие природу, но и влюбленные в нее, верящие в неизбежность революционного процесса обновления мира. Пафос революции горит в их сердцах, поднимает над обыденностью. Он же романтизирует и природу и труд.

В романе «Гидроцентраль» особенно проявился талант художника и психолога, как ни в одном из других произведений М. Шагинян.

Изобразительные средства здесь совершенны по насыщенности красок, их необычности, свежести ассоциаций.

Некоторые типы, как мы уже отчасти отметили, приближаются к символам духовности или бездуховности. Если Левон Давыдович, например,— марионетка, живущая по раз и навсегда заданным уставам и обычаям эксплуататорского мира, а начканц Захар Петрович — тип вечного приспособленца и бюрократа, то Арно Арэвьян, Агабек, Ануш Малхазян, Степанос — люди, отмеченные печатью своеобразности и оригинальности. Их появление сразу вносит мысль, движение, перспективу в обстановку застоя, благодушия и мелочных трений. Они живут тревожно. И они наделены способностью тревожить людей. «Каждый, кто в его комнату входит, смотрит на Агабека жадным взглядом, каким человечество глядит на своих вожаков,— Агабек принимает с чужих плеч тяжесть... В этой комнате, как и в месткоме, стоял тот же тонкий и острый дух, он исходил от самого Агабека, и только он был реальностью... Так пахнет, может быть, полное нервное истощение,— тело, дошедшее до отказа, до забвения себя,— тонкий как ладан запах кожи,

сгоравшей от вечного внутреннего жара». Похож на Агабека и завклубом, тощий и бледнолицый, с большими нервными руками — Степанос. Иные — сильные, здоровые, но по-детски непосредственные и до предела искренние — Арэвьян, учительница Малхазян и практикант-инженер Фокин. Внешность у них разная, но духовная суть общая, потому что общие стремления и задачи.

Для всех этих людей природа полна не только трудностей, но и таинства, очарования. Впервые М. Шагинян выступает в романе как великолепный пейзажист, чьи краски близки к солнечным картинам М. Сарьяна. «Они стояли сейчас над необъятным простором, где зеленым паром курились лорийские каньоны; на склоне прямо перед ними вилась пыльная, красная, выпуклая, убитая сотней ступней дорога... видеть можно было лишь одно, обычное — как из верхней деревни шли дети и женщины с деревянными тяжелыми кувшинами за водой к роднику. Чувяки отскакивали от выпуклой глади, голые пятки шуршали по ней, подолы мели красную пыль, женщины были румяны тем кирпичным деревенским румянцем, что нахлестан ветром и снегом; их опавшие в веках глаза и опавшие вокруг десен губы говорили о непомерном труде»... Момент восхода солнца природой ощущается как «телесное касанье, словно ладонь по щеке. Травы, камни, песок, голоса метнулись и потеплели от переданного движения,— никакой дирижер не смог бы подать в оркестре это кратчайшее мгновение перехода от тишины к солнцу». Выразительность, красочная телесность форм жизни и вместе с тем ее тонкая духовная структура,— мастерством передачи этих свойств автор «Гидроцентрали» владеет великолепно. Читая роман, порою сожалеешь, что позднее М. Шагинян предпочла другие жанры: хроники и циклы очерков, в которых также достигла высших ступеней мастерства. Впрочем, очерковость пришла не вдруг. С нее началось творчество М. Шагинян, и она, конечно, заложена и в сюжете и в композиции романа.

Автор здесь не просто повествователь, а непосредственный участник событий, хотя в сюжете он себе места не отводит. Автор осмысляет происходящее, комментирует, не скрывая своей партийной точки зрения, подводит итоги и соотносит их с итогами и планами всей страны. Очень часто, передавая мысли ведущих героев романа, автор подменяет их выражением своих симпатий и антипатий. Не всегда это идет на пользу данному герою. Образ революционного моряка Косаренко, например, не получил развития. В романе осталась лишь его биография — типичная для коммуниста 20-х годов. В целом публицистичность в романе «Гидроцентраль» подчинена страстной пропаганде ленинских идей перестройки мира, новых норм человеческих отношений.

Тем не менее роман лишен примитивной агитационности и назидательности. Его от этого спасает достоверность характеров героев, реальность их замыслов и дел. Ходульных, «придуманных» персонажей нет

в романе. Нет и пустых, равнодушных рассуждений. Все произносимое — от сердца, от горячего убеждения. Поэтому, несмотря на отсутствие острой сюжетной интриги, роман читается с неослабевающим интересом.

Роман «Гидроцентраль» можно назвать романом философским, анализирующим социальный и трудовой опыт человека новой общественной формации. Этот опыт нашей первой пятилетки необычайно актуален и сейчас, много десятилетий спустя.

М. Горячкина

Моей сестре Лине

После перехода политической власти в руки пролетариата... сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое действие.

В. И. Ленин

Глава первая

В МАРТЕ 1928 ГОДА...

I

Два молодых человека не спеша вошли с разных сторон узкой улочки древнего армянского города в одно и то же здание, посторонившись друг перед другом у входа. Здание было длинное, одноэтажное, с плоской крышей и с мелкими, частыми оконцами в железных решетках, как многие другие такие же здания в городе.

Над дверью висела вывеска: «Биржа труда».

Эти два слова были для города новостью, и факт, о котором говорили они, был новый, передовой факт. С ним исчез дедовский способ тяжелых поисков работы. Поисков по знакомству и кумовству, от крыльца к крыльцу, через объявленья в газетах, через терпеливое, неделями, стояние у глиняной стены на базаре, этой черной рабочей биржи, где человек мял шапку в руках и с ноги на ногу переступал, покуда наниматель хитро торговался с ним, обсчитывая на рублях и копейках, а рядом, снижая цену, лепилась такая же голытьба, понаехавшая из голодной деревни...

Все это начисто смела биржа труда. Входи смело, говори в окошко черноглазой пожилой армянке в очках, кто ты таков, к какой работе привычен, куда хотел бы идти на службу,— и все это она занесет в большую книгу, выдаст тебе бумажку, а ты лишь захаживай да почитывай вывешенный у окна лист с фамилиями тех, кого вызывают, и жди, когда очередь дойдет и до тебя.

Оба только что пришедших на биржу молодых чело-

века попали в густую толпу, теснившуюся у вывешенного на стене листа. Республика строила; республика начинала втягивать приезжих армян: одни постепенно возвращались домой — из России, из чужих стран, куда бежали в дни дашнакской власти; другие впервые ехали сюда, в «страну отцов», прослышав, что стала она советской свободной республикой. В городе множились учреждения; они требовали служащих. И особенно большой спрос был на работников учета, на бухгалтеров и статистиков.

Стоя у самого окошка, стиснутый напиравшей сзади толпою, старик, грязно-седой, в пиджачке, обшитом по краям тесемкой, тревожно и тщетно воздевал на нос дугообразное старинное пенсне, должно быть с чужой переносицы. Он читал во всеуслышание фамилии. Учреждения требовали статистиков; их вызывалось целых пятнадцать — и все фамилии были женские. У старика тряслись губы и руки от сердитого разочарования. По привычке бормотать себе под нос, не дожидаясь реплик, он шепелявил беззубым ртом, не обращаясь ни к кому из соседей:

— Пятьдесят восемь лет стажа, печатные труды имею, третий месяц хожу — бабье, опять бабье. Какая у бабы квалификация? Сложенье и вычитанье...

— Зато в сложенье она посильней тебя, папаша, в сложенье ты ей не конкурент! — попробовал сострить один из пришедших молодых людей, худощавый, в облезшей бархатной куртке, с длинными волосами и обильной перхотью на воротнике. Он даже подмигнул на старика своему соседу, с которым столкнулся в дверях, но сочувствия не встретил. Сосед глядел мимо, внимательно и серьезно глядел на окружавшую его толпу. Но он слышал остроту. Не оборачиваясь, звонким голосом, прозвучавшим неожиданно молодо, с оттенком певучей декламации, он вдруг сказал:

— Как не стыдно вам!

Это прозвучало обезоруживающе искренне. Старик и кое-кто из толпы обернулись на юношеский голос. Обладатель его был явный чудак. Очень высокий — на голову выше соседа,— большой, рыжий; длинные ноги циркача, лицо внимательное, без напряженья, маленькие глаза в больших круглых очках с разбитыми стеклами, красивый, немного мясистый нос над тонкими губами азиата.

Одет он был тоже чудаковато. В тот год американ-

ские «благотворители» тюками засылали в республику ношеную одежду, и эти обноски приказчиков и миллиардерш, актрис из Голливуда и чикагских лабазников продавались в особых палатках. На чудаке отлично сидело странное нечто, явно купленное на майдане: сюртук амазонки, стянутый в талии, пышный на бедрах. Руки свои он прятал в карманы,— жестом оратора, говорящего на ходу. Ловкие ноги, без всякого подобия сапог, почти балансировали стоптанными калошами, поднимая их кончиком пальцев, как танцующие мусульманки в шальварах поднимают на папиросных и сигарных коробках нежные ободки чувяк.

Видно было, что он обносился до крайности; серые тени на веках и под глазами говорили о недоедании, о голоде. И все же в нем было нечто праздничное,— так подумал по крайней мере человек в бархатной куртке. Где и в чем сказывалось это праздничное, не сразу сумел бы он определить,— может быть, в приподнятой интонации, в блеске глаз или вот даже в том, что белая шея рыжего выглядывала из старого отложного воротника амазонки на редкость чистой, вымытой, явно вымытой с мылом,— и за ушами и на затылке.

А рыжий продолжал говорить, слегка понизив голос:

— Ведь мы пришли за работой! Какие же шутки? Вы посмотрите на этого гражданина,— он кивнул головой на старика в золотом пенсне,— вот он положил руку на промокашку,— изучите его руку. Это ведь музыкант, музыкант в своем деле. Читая, он пальца не послюнит, он лист возьмет за ребро, перевернув, разгладит. Он голоден по привычной работе. Когда он жует губами, он думает о прочитанном, а не о хлебе. Он о шкафчике мечтает, чтобы ключ на месте и полочки на месте. Бумажки исходящие. Бумажки входящие. Резинка — стереть, ножик — подскоблить. Чернила красные, чернила черные. Он перо к носу поднимет, с пера волосинку снимет. А вы — острите о сложении девиц!

Сосед в бархатной куртке прислушивался к потоку не совсем обычной речи. Казалось, рыжий говорил не очень всерьез. Он словно сказку рассказывал. Он словно имел что-то другое в виду или, может быть, сам себя заговаривал, не обращая внимания на других. Но сердиться на него не было возможности. Старик, пофыркивая, обернулся к нему, и видно было, что он доволен этой речью. Однако он все же буркнул рыжему:

— Во всяком случае, и от хлеба не откажусь.

А тот заговорил опять и все с тою же певучей, магнетизирующей интонацией:

— Или вон та седая гражданка впереди вас. Муфта ее — прошу извинения — не по сезону. Март месяц все-таки. Но муфта ей вместо портфеля. В муфту засовываются тетрадки, трубка тетрадей с диктантом, каракули, башня неграмотности,— а для нее симфония. Сейчас нет их в муфте, и гражданка тоскует, ей делать нечего по вечерам при лампе, ночью она разговаривает во сне,— знаете вы, что такое держать на холостом ходу старого, опытного, прирожденного педагога?

Женщина с потертою муфтой из плюша давно уже вздрогнула и плечами повела, услыша рыжего. Сперва она собралась было одернуть его, назвать хулиганом,— сколько раз в очередях, в толпе, измучась, изнервничавшись от ожиданья, говорила она по всякому поводу резкие, колкие слова, и ей отвечали такими же, да что греха таить — подчас и до «действия» доходило, до взаимных напористых толчков локтями, а дома, припоминая тогдашний свой, ставший каким-то острокрикливым, голос и свое зверское чувство к соседу, сокрушенно думала она, старая учительница: «До чего все-таки я докатилась!»

Но резкости не вышло. С каждым новым словом странного человека обмякала ее душа.

«Проницательный какой, догадался, что педагог»,— подивилась она мысленно.

— Или, наконец, молодой человек рядом с вами, доброе утро, молодой человек! Я убежден — шофер. Ногти его черны от бензина, спина бела от пыли. Он знает машину, как родного брата. Выцарапать его из машины — все равно что выковырнуть черепаху из панциря. Я знаю шоферов. Когда они сирену дают, у них в горле булькает. Когда едут порожняком, постороннему говорят: «Садись, довезу»,— и, заметьте, бескорыстно говорят. Физическое чувство машины: телом хотеть нагрузки. Профессиональный навык, огромная тренировка, девять десятых времени — в машине. Это страданье для шофера — быть безработным. А вы шутки шутите. Вы понять не хотите!

И странное дело: завороженные певучею речью, словно сказкой, люди, собравшиеся на бирже труда, почувствовали перемену в обычном своем настроении, с каким ожидали они здесь работы.

Сперва было просто тихо. Каждому казалось, что

речь протекает где-то сбоку, не обязательно для него, а применительно к соседу. Но вот в наступившей тишине посвежело как будто, словно дождь прошел. Со дна души у людей, искавших заработка, встала светлая, неспокойная жажда, странная щемящая тоска. Крестьянин весной, когда нечем сеять, испытывает ее. Тоска по не использованной в себе и вокруг себя силе — по труду не как заработку, а как жизненной потребности.

— Подтянешь потуже пояс, так и машину забудешь. Камень за хлеб разбивать пойдешь на улицу,— грубо, словно сопротивляясь очарованию, словно желая — назло себе — разбить что-то в душе, гаркнул шофер.— И не стану я даром подвозить, не надейтесь! — добавил он ущемленно, словно не веря своим словам.

Но нелегко было сбить рыжего. Он обратил на шофера свои разбитые очки.

— Ошибаетесь. Качество труда изменилось в нашей стране, а с этим и чувство голода стало другим. Не боимся мы голода, я, во всяком случае, не боюсь. Я не верю, что могу умереть с голоду. Я знаю, что для меня найдется работа.

Он говорил уверенно и наставительно. Он вынул руку из кармана,— человек в бархатной куртке опять заметил, что рука рыжего была отменно чистой, с длинными пальцами и вычищенными ногтями. Он сделал ею широкий жест в воздухе.

— Не может не найтись работа в стране, где все перестраивается, где тысячи дел ждут очереди, где самое драгоценное — наша с вами энергия. Это азбука. С этим нельзя спорить.

Пожилая армянка в очках, заслушавшись рыжего, помедлила у раскрытого окошка. Он кончил, и она с сожалением, почти прося извинения у ожидающих, сказала:

— Сейчас ничего не будет. К пяти часам приходите.

И захлопнула окошко.

II

Толпа начала расходиться. Рыжий и человек в бархатной куртке все еще стояли бок о бок. Они вышли вместе.

— Странный вы парень,— нерешительно начал человек в бархатной куртке,— проповедуете, словно с луны свалились. А небось есть хотите не хуже нашего. Кто вы такой, откуда?

Оба шагали сейчас рядом, маленький — делая два шага на каждый свободный и широкий шаг рыжего.

— Безработный интеллигент,— ответил рыжий, поднимая под свежим порывом ветра свой отложной воротник.— Из меня агитатор бы вышел. Люблю агитировать. И знаете почему? Сам себя убеждаю. А кушать я, пожалуй, по-другому хочу. Не так, как вы, например.

— То есть?

— Это долгий разговор. С Адама...— Он замолчал и огляделся вокруг.

Они спускались из центральной части города на окраину его, разрушенную дашнаками в годы гражданской войны. По решению горсовета весь город должен был перестраиваться, и низменную часть, «татарскую», как ее называли раньше, до перепланировки не восстанавливали. Улицы в ней были так узки, что разве лишь ослик с поклажей мог пробраться по ним, не задевая боками глинобитных стен из сырца. Квадратные безголовые домики, ободранные, как извозчичьи козлы, торчали погребальными остовами, и пела известь в воздухе, взметаемая сухим ветром.

Отсюда, не сверху, а снизу, как ни странно показалось бы это на первый взгляд, отлично был виден весь город, словно всплывший наверх труп утопленника. Улицы его взбегали в гору с отчетливостью архитектурных очертаний, подобной разве что старым городским планам в музеях картографии. Плоские крыши, арки и полуарки красивых подворотен, цвет глины, похожий на цвет порыжелой гравюры, ослепительные лучи солнца,— и тень, такая черная тень возле каждой линии, каждого свода, под каждым навесным балкончиком и карнизом, словно стала она строительной частью городского пейзажа, сурьмой подводя красивые очи его, подрисовывая ресницы-наличники, черня ребра домов. Над этим отчетливым миром линий, картинкой из старого путешествия Дюмон-Дюрвиля или гравюрой на библейскую тему, всплывал на горизонте Масис, двумя головами упираясь в небо,— потухший вулкан с цепью круглых облаков у подножья. Вода разоренных арыков билась кой-где меж мертвыми домиками,— нитевидный пульс умирающего.

По блеску солнца, уже начинавшего пригревать, словно в апреле, по яркой и теплой синеве неба, по шелесту невидимых капель, стекавших под солнцем на землю, предчувствовалась необычно ранняя весна. Садоводы

сказали бы: грозила весна... Приди она раньше времени,— звоном луж, примерзающих к ночи, миллиардами белых и розовых бабочек — абрикосовых и персиковых цветов, неистово сыплющихся с уступов города, отовсюду, где есть сады,— и погиб урожай, вымерзнет, осыплется, не дав плода.

— Куда мы, собственно, направляемся? — спросил рыжий.

Спутник его указал на один из покинутых домиков с уцелевшею частью крыши. Он вселился в него без ордера, поставил железную печку-мангалку и жил, пока не найдет работы.

Впрочем, особенной необходимости жить здесь, да и работу искать у него, у художника Аршака Гнуни, не было.

— При желании мог бы устроиться на всем готовом у богатого родственника-садовладельца. Я вас вечером затащу к нему, он серебряную свадьбу справляет... Но для того, чтоб жить у него, надо фамильные портреты писать. А я не желаю, я не ахровец. Я художник-леф, меня ахровцы и так съели. Я от них из Москвы сбежал. Но и тут АХР. Тут еще хуже. До лета продержусь — и назад. А вы кто? Откуда вы?

Говоря безостановочно, художник Аршак Гнуни быстро вошел в нехитрое свое жилье, сел на корточки перед мангалкой, чиркнул спичкой и стал раздувать огонь.

Рыжий шагнул вслед за ним под брезентовый полог. В другой части дома, где не было крыши, художник устроил себе мастерскую. Там стоял мольберт, валялись ролики с полотном, сохла прислоненная к стене большая картина в подрамнике. И тут же в углу насыпана была горкой мелкая, уже проросшая белыми червячками картошка, а рядом с ней крупный эчмиадзинский лук.

Забыв, о чем спрашивал гостя, художник продолжал болтать. Он перешел на армянский, пересыпая его русским. Он уже обращался на «ты» к гостю. Его живые, косые глаза сверкали, как у ребенка. Он жаловался на непонимание, на местные нравы: «Семинаристы, варжапеты[1], сводят личные счеты, подсиживают друг друга...» Жаловался на последнего заказчика, отказавшегося от картины: «Посадите его на необитаемом острове, он обезьяне кокосовый орех продаст».

И пока обличал художник отвергшую его публику,

[1] Варжапет — учитель *(арм.)*.

рыжий успел внимательно, хотя и очень быстро, пересмотреть его полотна, вернуться к мангалке и незаметно завладеть щепками для растопки. Пяти минут не прошло, как уже он хозяйничал у печурки, вычистил кастрюлю, обросшую копотью, раздобыл воды, почистил и перемыл картошку. Аршак Гнуни поймал себя вдруг на странной рассеянности: он потерял нить рассказа, позабыл, о чем говорил, и только глядел, глядел с интересом на спокойные, ловкие и какие-то новые для него действия своего гостя. Он любовался их опрятностью, их логикой. Он пробормотал невольно:

— А кушать все-таки будете, как мы!

Рыжий повесил на гвоздь серое подобие полотенца, о которое аккуратно вытер пальцы, придвинул ящик, заменивший стул, к художнику и не спеша заговорил:

— Вы любите музыку? Неожиданную, из эфира откуда-нибудь, в погожий день или ночью, когда звезды высыпали, ветер улегся, умерли всякие звуки, а тут вдруг что-то очень широкое, почти невыносимое — по красоте, по счастью, по обещанью, по полноте? И вы тогда скажете или подумаете про себя — как до сладости хорошо бытие и почему так редко чувствует человек величайшее счастье быть! Это бывает с вами?

— Не бывает,— отрезал художник,— я от музыки раздражаюсь, а вообще мало понимаю ее. Если доходит до меня, то тянет к хныканью. Жалко и себя и людей. Думаешь, нет этого в жизни, прикрашено, провокация. Я вас про еду спросил — небось картошку будете есть?

— Вы только выслушайте меня. Вот такой музыкой с самого детства прозвучала для меня жизнь. Я до страсти ее люблю. Не могу слова подобрать, чтоб передать, например, свое чувство природы, не какой-нибудь исключительной, а просто природы, воздуха, земли, любого времени года, любого места, при любой погоде. Интерес к человеку тоже у меня больше, чем к книге. Часами способен сидеть в городском саду и читать лица, характеры, помыслы. Люди ведь отлично друг друга знают, прямо насквозь видят, но приняли за правило верить в собственную непроницаемость, чтобы, вероятно, не так сложно и трудно жить было. И, наконец, труд, действие, которое я могу произвести в мире.

— Ага, приближаемся к картошке!

— Действие,— повторил, не сбиваясь, рыжий.— Я был один сын в семье, мне дали хорошее, классическое образованье...

— Да сколько ж вам лет?

— Около сорока.

Ответ рыжего поразил художника. Ему самому исполнилось двадцать пять. Но он чувствовал себя старше рыжего, выглядел старше и был уверен, что старше. Он даже седые волосы выдергивал у себя... Ему становилось все интереснее слушать. А гость продолжал:

— Мы изучали «Киропедию» Ксенофонта. Персидский царь Кир сказал про себя, что никогда хлеба не съест утром, прежде чем хорошенько не поработает, не заслужит свой хлеб. Это сделалось и моим правилом. Это, видите ли, не случайно вышло. Родители баловали, а я,— как часто бывает в детстве,— больше слушался отцовского кучера, чем отца. Завидовал ему с самых первых минут сознательности. Родители ждали от меня особых талантов. А я всякое дело любил, лишь бы оно всерьез, лишь бы не игра. Ну, например, давали из игрушечных кубиков строить. Это не занимало. А вот двор подмести, настрогать палочку для птицы в клетку или заготовить для кухарки щепок на растопку — это сколько угодно, когда угодно. Мать потом, когда вырос я, называла меня «сплошною прозой». Не хотела понять, в чем тут дело. А я жаждал реально участвовать в бытии, которое так остро, так радостно ощущал. Но — погодите, не перебивайте — на фронте я получил урок.

— На фронте?

— В германскую. Меня из университета мобилизовали, сапером был. Проделал всю войну, и на Мазурских болотах тонул, и в госпитале побывал. Там я впервые встретил большевика. Кузьмин, текстильщик из Иваново-Вознесенска. Подметил отлично мои особенности и как-то мне говорит: «Из тебя, Арэвьян, будь ты рабочим человеком, самый последний прохвост вышел бы». Я был убит этими словами. Я был страшный нравственный чистюлька, мне втайне казалось — я очень хороший парень. «Почему?» — спрашиваю его. «Потому, говорит, что нету «труда вообще», да и жизни такой нету, чтоб «вообще». Трудился бы ты на заводе на хозяина, лез бы из кожи, всем был бы доволен, у хозяина любимец, а с политической стороны — оппортунист, и больше ничего, да еще, может, при случае и штрейкбрехером заделался бы. Не по дороге тебе с нашим братом».

— Это он вздор! Шпаргалка! — отрывисто перебил художник.

— Нет, это он не вздор. И я это очень хорошо понял.

Мое растворение в мире было, в сущности, мнимым. Я, в сущности, в себя замкнулся, для своего удовольствия в одиночку жил. Я чудовищно был отделен, отрезан от бытия, а я думал, что слился с ним. Вот это он мне тогда отлично объяснил.

— Ну, теперь и вы завели шарманку!

— Нет,— опять возразил рыжий.— Нет! — страстно повторил он в третий раз, выходя из обычного своего спокойствия.— Вы обязаны обдумать это, вы вникните в справедливость этого, иначе вы сами в своем искусстве в тупик заберетесь и дороги назад не найдете!

— А я и не буду назад искать — я двигаюсь вперед,— запальчиво возразил художник.— Вы, кажется, хотите мне поднести азбуку ахровцев. Эти тупицы воображают, что в политике можно делать революцию, можно скакать сломя голову, можно быть большевиками, а в искусстве надо солому жевать и чижика-пыжика повторять, потому что это, видите ли, массовому зрителю понятно. Я вам наперед говорю: если вы мне такое скажете, я вас вон выгоню из мастерской, на все четыре стороны. Надоело. Слышал. Дрался. Головы разбивал. Тупицы!

Художник-леф разволновался всерьез и хотя ни за что бы не показал этого, но страшно, до чрезвычайности обиделся на рыжего. Что-то в тоне гостя, в голосе, что-то не высказанное, но подразумеваемое говорило ему, что в словах рыжего есть намек на его, Аршака Гнуни, картины, что рыжий успел посмотреть эти картины и они ему не понравились; и стоят они оба, рыжий и художник, на разных полюсах, но рыжий воображает его мазилкой, бездарностью. Он даже лицом исказился, он задыхался от сотни аргументов, которые мог бы сейчас привести, он припомнил примеры, которыми побивал «тупиц», когда спорил с ними, не на открытых дискуссиях,— разве там ахровцы дадут говорить,— а в мастерских, у полотен, в рабочей обстановке художника. Не понимает народ простой логики.

— Понимаете вы, что живое не стоит на месте, что искусство, как все живое, расти должно, развиваться должно, а не повторять уже пройденное, не топтаться, как Вампука, на месте? Много вы понимаете в моих картинах!

Рыжий между тем встал и приподнял крышку над кастрюлей, откуда ударил вдруг горячий пар и запах вареной картошки с луком. Кончиком сломанного ножа

он захватил щепотку серой крупной соли и бросил ее в кастрюлю.

— Во-первых,— торжественно ответил он,— картошка готова. Во-вторых, вы сами спросили меня, как я ем. И я начал рассказывать вам, как я ем, а вы не даете договорить.

— Ладно. Продолжайте.

Запах умиротворил Аршака Гнуни. Он даже помог рыжему отыскать две жестянки вместо тарелок и принял из рук его благоухающую порцию блюда, которое рыжий назвал «классическим». Оба начали есть, наслаждаясь едой.

— Кузьмин тогда правду сказал. Нет «труда вообще». Вот сейчас, при советской системе, я на месте, я вправе трудиться счастливо, я не стыжусь страстно любить труд, я смею расточать себя, сколько сил хватит. И во мне все шлюзы подняты, потоком бьет сила. Кажется, хватит энергии на всю работу в Советской стране. Жадность необъятная — так сразу и стал бы зараз землю копать, камни класть, станок заводить, на сцене петь, детей учить, чертежи делать, в газете писать, булки печь.

— Может, и картины мои писать?

— И картины ваши писать. Тут, знаете, тоже все очень просто. Мы с вами из класса бывших людей, живших на прибавочную стоимость. Нас с детства не приучили уважать главные потребности человечества. Потому и мудрим мы, и путаем, и вообще не то и не так ищем. А ведь искусство — уменье видеть основные потребности человеческие, коснуться их до корней. Тогда и само искусство становится потребностью.

— Ну, а что вы считаете этой вашей главной потребностью, позвольте спросить? Хлеб, спанье, детей рожать?

— Вы, кажется, думаете, что все это очень плохо? — с удивлением спросил рыжий.— И еще, может быть, думаете — оно «устарело», стало банальным? А как же у Гете: «Лишь тот имеет право на свободу, кто завоевывает каждый день ее»? Или: «Тому вас не познать, о силы всеблагие, кто никогда свой хлеб в слезах не ел»? Это ведь не просто так сказано, это конечный итог длинной жизни мудрого человека. Хлеб — значит труд, спанье — это отдых, дети — это любовь... И еще — борьба, познанье, творчество, дружба...— Тут рыжий как-то интимней подвинулся к художнику, словно сконфуженный слишком

большой теплотой, зазвучавшей сейчас в голосе его.— Люди, ей-богу, лучше, чем о них думают. Люди всегда хотят настоящего. Возьмите хоть нас с вами — знакомы два часа, встретились на улице, по имени друг друга едва знаем, а вы привели меня в гости к себе, и говорим мы о самых для нас дорогих вещах.

— Скажите честно: считаете вы меня бездарным? — неожиданно спросил Аршак.

— Нет, я думаю — вы талантливы. Но вы еще неверно, не так живете. И потому не нашли дороги.

— Как так — неверно живу? Я искренен. Я не нарочно, я не могу иначе.

Это был самый последний аргумент в арсенале художника-лефа. К собственному удивлению, он произнес его без жара, без прежней строптивости.

— Удивительное дело,— в раздумье ответил рыжий,— когда речь идет о росте врача или инженера, человек определенно считает, что переходит от незнания к знанию, двигается, меняется, совершенствуется. Он считает положительным, что еще вчера думал так, а уже сегодня думает иначе. А вот начнешь говорить с художником — «я так устроен», «я иначе не могу», «я искренен». Да вы что — окаменели раз навсегда? Уверены, что это — вы окончательный? А учиться — ну хотя бы нашей новой жизни? Хотя бы по газете,— в газету вы, между прочим, заглядываете? И потом — задайте себе внутренне, без свидетелей, вопрос, что вам дороже, натура или манера, предмет вашей работы или заранее предрешенный подход к ней? Да и сами ли вы еще нашли эту манеру, выстрадали этот подход — тоже еще вопрос. Ни в чем нет столько подражательности, сколько в оригинальничанье, и, честное слово, легче всегда подражать именно оригинальному!

— Одно я вам заявляю,— дремотно пробормотал художник,— ахровцы — ерунда. Серятина. Мерзость. Не признаю.— От солнца или от еды, но его уже разморило и стало клонить ко сну.

— Это — пожалуйста! — согласился и рыжий. Задремывал и он, клоня на руку рыжую голову, по которой сейчас бегал пламенный зайчик солнца.

Чувствуя, что заснет, если останется сидеть, Арэвьян встал; взгляд его серо-голубых глаз обежал стены в поисках шапки на гвозде. Но художник потянул его вниз за полу амазонки. Он не хотел отпускать гостя. Он уже привык к нему.

— Садитесь, нечего! — сонно сказал он рыжему.— Некуда вам идти. Мы с вами вечером, не забудьте, на пиршестве у родича. И ночевать приглашаю — сено у меня есть, топливо есть, клопы отсутствуют. А завтра вместе на биржу. А сейчас вздремнем на полчасика. Солнце жарит. Согласны?

И оба решили, что не худо вздремнуть на полчасика. Растянулись на сене — и словно в колодец упали. Крепчайшим заснули сном, покуда солнце ушло за полдень, сперва из окна, потом, квадрат за квадратом, по плитам дворика, за ограду.

Глава вторая

УЖИН С ЗАВЯЗКОЙ

I

Между тем в доме у виноторговца Гнуни, того самого родича, к которому художник-леф собрался повести вечером рыжего, шли горячие приготовления к пиру.

С раннего утра теща, сестра, кума и десятка два соседних старух курицами налетели к нему на дворик, помогать его «половине». Главные угощения были заготовлены со вчерашнего дня. На деревянной крытой веранде, выходившей во двор обтесанными колонками и зубчатым карнизом, огромные котлы вылуженной меди, тяжелые, как гранатные обоймы, хранили выпиравший оттуда желтый от шафрана пилав и развар молодого весеннего барашка, чьи копытца и алые пятна крови розовели еще в глубине двора у отхожего места.

Древний старик, глухой сторож, носил из погреба вчетверо сложенные листы лаваша.

«Сама», засучив по локоть рукав, вынимала из жестянок с рассолом маринады, и кожа ее горела и припухала от уксуса. Низкий, как генерал-бас, тяжелый запах медвяной, ожирелой от всяких начинок и сала пахлавы стлался над кухонными столами. От него у женщин болела голова, лезли глаза на лоб, пухли языки.

В двух жилых комнатах дочки виноторговца торопились сдвинуть столы, обмахнуть со стенных фотографий пыль и перетереть несметную армию стаканов.

За стеной, в третьей комнате, пожимал плечами жилец, доктор Петросян, теребя ушную мочку,— любимейший и постоянный жест доктора Петросяна, делавший его похожим на обезьяну. Он был приезжий — из Смирны.

Он занимал фондовую комнату в доме виноторговца и платил за нее государству всего четыре рубля. Было естественно, с его точки зрения, как фунт табаку, что эти люди должны считать себя обиженными. И в защитного цвета ответной обиде доктор Петросян фыркал, теребил ушную мочку, дергал скептически плечом в сторону соседней стены. Его пациент, терпеливо отвалившись всей тушей на спинку кресла и выставив челюсть, водил багровыми глазами вслед пренебрежительным жестам доктора Петросяна, отрывавшим свои руки от дела.

Но вот в дверь втиснулась розовая Назик, растрепанная, как веник, с которым она весь день носилась по комнатам.

Что такое? Доктор Петросян не успел схватиться за мочку.

— Мы вас очень просим, доктор Петрос, майрик[1] и айрик[2], непременно, непременно к нам сегодня вечером... Ах, право, я не заметила! Простите за беспокойство!

Багровый глаз пациента поплыл за исчезнувшим в дверях фартучком. Доктор Петросян не успел перестроить свои позиции. Растерянный и умиленный, он тер на пластинке ртуть с поздним раскаянием в душе: он мысленно выбирал для семейства Гнуни торт.

К вечеру подоконники, столы в коридоре, столы на балконах, полы, где можно,— все было заставлено яствами, прикрытыми до нужной минуты салфетками, бумагами и полотенцами.

На двух длинных сдвинутых столах расположилась прелюдия к ужину — чайная сервировка. Настоящий гость не брался в расчет, на прелюдию шли только дамы и поздравители, до ужина не остававшиеся. Здесь были десятками торты, кирпичики пахлавы и миндальных конфет, варенья, невиданные на Севере,— из баклажан, розы, айвы, арбузных корок, ореха, моркови.

И к вечеру, раздобыв на майдане пару длинных, нечеловечески узких спортивных туфель, Арно Арэвьян и художник-леф медленно направлялись на пир.

Город маршировал мимо них цепочкою ранних огней в окнах домов, споривших с нестерпимым блеском заката. Пронзительные голоса мальчишек выкликали свежую газету, только что доставленную поездом из центра

---

[1] Майрик — матушка *(арм.)*.
[2] Айрик — батюшка *(арм.)*.

Закавказской федерации. Нагорье сжимало воздух, как горло,— утром солнце высасывало тысячи луж, а сейчас было холодно, и пальцы на ногах мерзли. Созвездия выкатывались на небо, подобные бильярдным шарам. В этом городе все жило «на воздухе». Кто провел в нем месяц — оставался на год, кто оставался на год — не уезжал до смерти, растворяясь в его незабываемой ясности. Человек чувствовал себя здесь мебелью, вынесенной на воздух и выколачиваемой от пыли, а потом оставляемой проветриваться.

Опьяненные воздухом, шли мимо мужчины, раздувая усы улыбкой. Их лица, подобно почтовым маркам с десятками печатей, открывали умному зрителю все многообразие прошлого, истоптанного большой дорогой кочевников, переселением народов, вечным транзитом на стыке Востока и Запада. У одних острый загиб ноздрей кверху, похожий на мертвую петлю, вытянутый вниз нос, круглый затылок брахицефала напоминал владычество гиксосов, египетский барельеф, древний народ — хеттов. У других сонная скула, скакнувшая к самому глазу, и младенческий рот выдавали монгола. Третьи были похожи на греков, на итальянцев,— с прямою линией бровей, прямым и коротким носом. И все они, разные и такие несхожие, могли признать друг в друге соплеменника — в любой части света, куда бы ни забросила их судьба. Все они были армянами.

Женщины и девушки, тоже пьяные воздухом, гуляли под руку; движения их были расчетливы, губы налиты кровью. Их тяжелая красота, вороньи крылья волос над томными щеками казались сошедшими со старинных полотен.

Художник-леф хохлился: в толпе ему было не по себе. Когда электрический свет падал на него, заостряя черты, темные кудри без шляпы выдавали своей мертвой несглаженностью не один седой волос, а лицо казалось изрытым морщинами.

Идти предстояло долго, до конца города, где начинались сады, а они не дошли еще и до центра — до расчищенной под сквер площади. Еще в сухих кирпичных особняках казенного стиля, в старом здании тюрьмы с деревянными ящиками, закрывавшими снаружи окна, в длинной каланче прошлого века угадывались черты бывшего губернского города бывшей Российской империи. Но уже веселые леса на первых городских стройках, проломы улиц, отмечавшие очертанья будущих кварта-

лов, кучами лежавший щебень и тропинки в обход ям и насыпей от снятых по плану ветхих сырцовых домишек — все это говорило о большом городском строительстве, о больших начинаниях нашей, советской эпохи. Молодой республике в ноябре пошел восьмой год.

И людей на улицах города стало гораздо больше.

Лет десять назад каждый гуляющий знал другого в лицо. Купцы ставили стулья перед своими заведеньями и садились подышать прохладой, а прохожие здоровались с ними, называя по имени,— отчество не в ходу у армян. Грохотала по булыжнику пролетка местного помещика, знатока лошадей и коневода,— сейчас нет и в помине помещика, а вместо пролетки бесшумно ползли по улице первые автомобили, да и булыжник исчез,— асфальт покрыл часть главного проезда.

Раньше почти не видно было учащихся — город имел только среднюю школу; сейчас — свое армянское студенчество, шумная молодежь, свои профессора, музыканты, актеры переполняли город. Пестрой радугой афиш были покрыты стены заборов и зданий — афиши о десятках невиданных раньше развлечений: очередного спектакля, концерта, экскурсии археологической, экскурсии общества охотников, выставок, открытия нового отдела музея, лекций, лекций, лекций... А прежде на месте цветных этих афиш скудно белела редкая серая бумажонка, извещавшая о продаже с торгов такого-то и такого имущества.

Можно было пять раз на дню пересечь главную улицу и не встретить знакомого — так выросло население города за каких-нибудь семь лет. Рыжий сказал об этом вслух.

— И все-таки очень много старья осталось,— ответил художник.— Старья, мещанства. Живучи, как полипы. К одному такому мы с вами идем. Хотите, расскажу историю?

Рыжий кивнул.

— Я сам из мещан, родом бакинец. Жили мы в Баку привольно, на базар, бывало, впятером ходили за покупками — впереди отец, как трубач, за ним старшая сестра с корзиной, брат поменьше, еще брат и напоследок я. Мясо покупали — фунтов пять-шесть зараз. Бегал в море купаться. У пристаней были привязаны лодки. Бакинские лодочники давали самые заковыристые имена своим лодкам. Как сейчас помню, преобладали такие: «Маруся-молодец», «Пушкин-молодец». Я сам на «Пушкине» катался... Однажды, слышим, приехал в Баку

перс, изобретатель необыкновенной мази ото всех болезней. Мазь эта продавалась в банках, на банке — портрет самого перса, благообразного такого, с пухлыми щеками и черной бородой, а внизу надпись: «В случае недовольства — принимаю обратно». Однако же недовольства не было. Мазь решительно помогала. Мать лечила ею нас от золотухи, отца от пьяного угара, себя от ожогов; соседка лечилась от ревматизма, другая от бездетности. Стоила эта банка с мазью пять рублей. Этой самой мази я обязан решительным поворотом своей судьбы.

Он посмотрел на шагавшего рядом рыжего, убедился, что тот слушает его внимательно, и продолжал:

— Жили мы без всяких приключений до одного воскресенья. В это воскресенье приехал к нам гость в дом. Низенький человек, сутуленький, лицо вытянутое, бледное, в бородавках, руки желтоватые. Приехал на извозчике, а за ним — амбал за амбалом. И у каждого амбала — картонки на плечах, повязанные бечевой. Мать выглянула из окна и завопила: «Михак-джан! Михак-джан!» Это был дядя Михак. Он сунул нам, детям, под нос свою желтую руку для поцелуя и стал расплачиваться с амбалами. Все мы столпились вокруг — что привез дядюшка? Стоим и облизываемся. А дядя Михак развязал одну картонку — оттуда посыпались пустые белые баночки, точь-в-точь как из-под персидской мази. Другую — то же самое! На следующий день дядя стал что-то варить в котле. А потом в кухне у нас сотнями выстроились баночки: мазь, упаковка, портрет благообразного перса, надпись, все честь честью. Не думайте, что дядюшка занялся плагиатом. Он стал возвращать персу эти банки «от недовольных» целыми партиями. Перс скрепя сердце платил, банки возвращались. Перс платил. Банки возвращались. Когда перевалило за тысячу, перс, отчаявшись, бежал, бросив в гостинице пустой чемодан. Дядя заработал на этом деле три с половиной тысячи рублей. Сотню он милостиво подарил мне «на образование». Так делались в Баку арабские сказки.

Рыжий внимательно посмотрел на художника.

— Вот почему вы в футуристы пошли!

— Ненавижу мещан,— нелогично как будто ответил художник, правильно отгадавший ход мыслей своего спутника,— все ненавижу, что связано с предпринимательством, с козлиным духом дяди Михака. Большевики еще не выкурили его. И между прочим, мы с вами идем

к одному такому — благополучно торгует вином. Двоюродный брат мой, бессмертный предприниматель, старший сын этого самого дяди Михака.

II

Семейство Гнуни встречало гостей в передней. Утомление двух дней было заметно в красноте рук женщин, припухлых веках. Шелк скрипел на хозяйке не обношенно, отекшие от стоянья ноги тяжело выпирали из новых туфель. Так повторялось в торжественные дни из года в год. Зато гости проплывали медленно, как бы рожденные в своих нарядах,— для них это был день отдыха.

Сперва явились старушки, дальние родственницы. Пергаментные личики с высохшими губами знающе улыбались. Каждая мелочь этого дня, изгибы салфетки на скатерти — все переживалось ими ретроспективно, как бесконечная анфилада комнат, уходящих в прошлое: они вспоминали. Их крашеные длинные локоны висели справа и слева из-под красивого старинного убора — кисейной фаты, щедро сброшенной с головы на спину, и нарядного, низко на лоб опущенного обруча, похожего на кокошник. Сперва осторожно перед зеркалом, двумя руками, снимался этот убор, потом уже старушки сухими ручками оправляли на себе черные шелковые кофты, брали за щеку хозяйку дома и подставляли ей тонкие свои чуть ослюнявленные губки.

— Ну, джан...

Маленьким членам дома давался ласковый подзатыльничек. И старушки, выполнив благопристойно — и сразу как бы поставив ключ в этой музыке большого дня — все обряды, установленные обычаем, чинно рассаживались вдоль стенок, обмениваясь друг с другом улыбками, разговором скошенных глаз, кивком подбородка, указательным движением бровки,— они понимали друг друга, как птицы на жердочке. Хозяйка плавала от одной к другой. Гремя новыми сапогами, из комнаты в комнату бегал, выпуча карие глаза, взволнованный наследник виноторговца Гнуни. Ему было пять лет. Он не хотел ложиться. Девочка постарше, золушка в доме, застенчиво пробиралась за ним, силясь его унять. Руки ее были растопырены, как если б она ловила курицу.

Вслед за старухами неожиданно и не вовремя пришел местный молодой человек. Все в доме знали, что он коммунист, и чрезвычайно этим гордились. Представляя

его, хозяйка держала губы особенным образом: так показывают иные гордецы револьвер, прибавляя, что он не заряжен. Коммунист служил в Наркомторге. Френч его был новешенек, ноги в коричневых крагах, непритязательное и очень юное лицо с печатью неуловимого стиля, как в игре «передавай дальше», полученное и несомое дальше, быть может непонятное самому, но бережно охраняемое, рядовое выражение солдата: «Нам дано поручение, не мешайте нам». Эта зарядка, видимая за десять шагов, решительно боролась где-то в его губах и носу с наивной простоватостью крестьянского парня.

Он поискал глазами Назик и, не найдя, вынул из кармана папиросную коробку. Хозяева знали, для чего он приходит, и приличие требовало, чтобы Назик поломалась в соседней комнате, сидя между стеной и комодом, а к мужчине вышел мужчина. Но так как мужчин еще не было, хозяйка вкрадчиво стукнула в стенку доктору Петросяну.

Стук этот был доктору Петросяну — стук в сердце. Уж полчаса он танцевал в нетерпении перед последней пациенткой, за ее спиной делая жесты душильника и гипнотизируя ее выкатившимися от ненависти глазами. Пациентка — высочайшая старуха, прямая, как тополь, с квадратным лицом, в богатой национальной одежде карабахской армянки: старый шемахинский шелк, синий и красный, расшитые рукава, атласная белая повязка на рту. Сын ее, маленький, утиного вида, забился за этажерку. Он вез свою мать с предосторожностями, как ящик с посудой, из самого Степанакерта. Старуха приехала вставить челюсть. Но как только доктор Петросян, выжимая сладенькую улыбку, подвигался к ней и двумя пальцами брал за повязку, старуха делала «хи», смешок стыдливости, и ладонью загораживала рот.

«Сукины коты,— думал в отчаянии доктор Петросян по адресу большевиков,— сдирают с мусульманок чадру, а с нашей старой гвардии, черт бы их побрал, не догадаются наклепки содрать».

— Мамаша (вот дура), майрик, мы с вами два старика, чего там, рот ведь это... (Не под юбку, старая ведьма!)

Но старуха опять судорожно делала «хи», натягивала повязку, и большие желтые веки, похожие на клюв индюка, трепетали над остановившимися глазами.

Доктор Петросян, вспотев от усилия, махнул рукой утиному человечку: завтра, завтра.

Когда он попал наконец к соседям, там уже было

полно гостей. Запыхавшийся доктор Петросян не успел купить торта. Но он столько раз покупал его мысленно, выбирал цвет, запах, размер, оплачивал его стоимость, что сейчас, входя боком в двери и привычно разглаживая усы тремя пальцами,— жест, за которым следовал общий поклон,— чувствовал себя по рассеянности человеком, приславшим торт и рассчитывающим на сугубые права.

Однако же вступление его прошло незамеченным. За чайным столом уже не было места. Озабоченная Назик, поднимая повыше стакан, осторожно пробиралась вдоль стенки. Стакан чаю предназначался красноносому старику, стариннейшему председателю пиров, местному маклеру. Когда и второй стакан проплыл мимо, доктор Петросян пробормотал «ага» и взялся за мочку.

III

Художник и рыжий, покружившись по городу, чтоб миновать чай, вошли к виноторговцу Гнуни вместе с другими солидными гостями.

Уже с балкона спешно вносились в комнату прикрытые тарелки с закусками.

Уже три человека с мешками, стоя у лестницы, развязывали мешки и не спеша вынимали оттуда инструменты — красивый старый тар, выложенный перламутром; кяманчу, чей животик свисал с нехитрого деревянного столбика и только и ждал смычка, чтоб затрястись от плача; бубны,— их взял в руки седой, безбородый перс, изъеденный рябинами. Он жмурился. Музыканты, поклонившись хозяйке длинным поклоном, прошли в комнаты.

Художник не успел даже представить рыжего. На пиры Гнуни каждый приглашенный прихватывал с собой лишнего человека и проталкивал его обычно в комнату с улыбкой знающего секрет:

— Ну-ка, поглядите-ка, угадайте-ка, кто сей?

Рыжий прошел таким способом с двумя профессорами университета. Профессора хотели полюбоваться национальными танцами и послушать сазандарей. Виноторговец Гнуни угощал лучшими в городе сазандаристами.

Вот уже музыкантов сажают — трех молчаливых и на жесты скупых людей — за отдельный столик. Назик поднесла им по стакану водки и поставила под ноги

корзиночку со сладостями, оставшимися от чая. И сазандаристы, оглядев и одобрив публику, молчаливо переглядываясь, кладут пальцы на пыльное тело инструментов, пахнущих потом человека и кожей животного.

Над столами воцарился и поплыл гомон. Каждый радостно подавал голос, умножая бессмыслицу,— увертюра настраиваемых инструментов, веселая какофония без фальши, перед открытием занавеса. «Возьмите, пожалуйста,— благодарю вас,— да знаете ли,— это действительно,— что вы, что вы»,— так пищали голоса людей, настраивавших свои глотки. Опрокидывались стаканчики, подхватывался рукой длиннейший зеленый лук из тарелки, обрызнутый водой, выбирали тамаду — и выбрали красноносого человека, ежеминутно упиравшего подбородок в грудь, словно давившего тайную отрыжку.

Женщины стеклись к одному концу стола, любопытно меряя оттуда глазами идолов мужскую половину. Пальцы их унизаны кольцами, в ушах под начесами, сделанными у парикмахеров, искрятся камни, пухлые плечи припудрены.

— Молчание,— призывал тамада, выстукивая по стакану парламентскую тишину,— первый тост!

Хозяин, виноторговец Гнуни, встал.

И как только художник увидел знакомый треугольник с бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами и этот пологий, расплюснутый лоб ростовщика в бородавках, он ощутил приступ тоски.

Оглянувшись на рыжего, он хотел было попросить его: «Держите меня и не давайте пить»,— но рыжий сидел уже не рядом, рыжий говорил с соседом, человеком низколобым, как обезьяна, а рядом с художником, неизвестно когда втиснувшись и плеща в него взрывом улыбок, сидела настоящая красавица. Полная, статная, шире и крупнее, чем он, чуть ли не вдвое. На ней не было ни единой побрякушки. Платье лиловое, шерстяное, с высоким воротом и длинными рукавами. Маленький паутинный платочек с надорванным кружевцем распластался на коленке. Щека румяная, в прядях каштановых волос. Мясистые ноздри, приподнятые,— так делают деревянных лошадок,— расширяли нос; но женщина хохотала, и ноздри хохотали с ней вместе, а над ноздрями, из-под спутанной челки, сверкали такие же, вывернутые кверху, раскрытые, бессмысленно веселые, дикие от веселья серо-зеленые кошачьи глаза.

— Кто такая? — спросил художник соседа.

Тот ответил шепотом, косясь на низколобого человека:

— Блондин в сапогах — разговаривает с вашим другом — это начканц гидростроя, а румяная — его жена.

Хохотунья услышала и тотчас же всем телом повернулась к художнику.

— Клавдия Ивановна Малько.

— Говорю и подтверждаю,— хрипло кричал, останавливаясь на каждом слове, виноторговец Гнуни,— вы все, здесь собравшиеся, уважаемые и глубоко почитаемые мною...

Он по порядку перечислял заслуги своей жены, заслуги свои собственные, с каким рублем начал, до чего дошел, чем пожертвовал революции, не жалеет об этом, видит бог, и никогда не жалел,— хрипло, с великим усилием рождались слова, и чувствовалось, что виноторговец Гнуни в этот день хочет раскрыть себя обеими руками, как старую банку с икрой, и тужится от неистовых усилий. Знакомая тошнота охватила художника.

— Условия для работы в высшей степени тяжелые,— говорил тем временем начканц, разжевывая кусок селедки.

Рыжий слушал его внимательно, положа возле тарелки большую спокойную руку с золотистыми волосками. Он почти не ел и не пил. Он и не посмотрел даже на Клавдию Ивановну. Его острый зрачок лишь раз, боком, обежал стол, чтоб вонзиться в сутулого старичка, державшего на большом носу лопатой нетвердое золотое пенсне, то и дело укрепляемое руками.

Старичок, неизвестно как очутившийся тут, был вчерашний «статистик» с биржи труда. Он медленно выбирал, шевеля губами, закуску. Вилка его внимательнейше ковырялась в жестянках. Улыбка почти бессмысленного удовольствия не сходила с губ. На голом черепе, блестевшем под лампой, лежали одинокие белые волосочки. Изредка вдруг, расслышав что-нибудь, старичок издавал отрывистый хохот, откидываясь на спинку стула и обрызгивая соседей из беззубого рта, как из пульверизатора: хэ-хэ-хэ!

— А именно? — спросил рыжий.

— Не знаю даже, как вам сказать,— начканц просасывал маринованную травку.— Например, кооператив. Жулики, бестии, то нет одного, то нет другого. Крыши

в бараках текут. Культурных удовольствий — вот разве что сюда приедешь на пару дней... Так, раз в полгода, Клавочка — она скачет. А у меня людей нет, вот дядю везу... Дядя, Иван Гаврилович, бросьте, пожалуйста, наливаться!

Старичок в золотом пенсне вздрогнул и быстро опрокинул в рот рюмку.

— Вы полагаете, он справится?

— Н-ну, все-таки свой человек, хотя бы положиться можно...

— Двадцать тысяч чиновников на бюджет одной бывшей губернии,— не много ли?

Голос ворвался в их разговор, как иногда в трубку радиослушателя входит весть из другого мира. Два человека за столом напротив делились задушевными мыслями. Один — городской старожил в длиннополом, старого покроя сюртуке, чисто выбритый, галстук бантом и кантики пахнут чуть-чуть кардамоном,— старый галстук отлеживался, должно быть, на предмет торжественных случаев. Снисходительная усмешечка так и сквозила в каждой складке его красноватого лица склеротика. Другой, толстый и безбородый, с бульдожьей челюстью и бабьим обмякшим ртом,— когда-то бойкий присяжный поверенный на юге России, а сейчас выплывший нэпманом, хозяйчиком пуговичного производства,— приехал сюда, как он тихо признавался близким по духу, «отсидеться до лучших времен». Годы шли, а «лучшие времена» не наступали, отодвигались все дальше и дальше. И толстяк, нарочно ушедший со службы, избравший себе положение попроще, понезависимей, чтоб старые хозяева, возвратясь, оценили верность и благонадежность его, начинал спрашивать себя тайком, не свалял ли он дурака, и жаловаться, что его «обошли», что «с его способностями и образованием»... Он ответил с обидой:

— Суть не в том, что люди пошли служить. Служба — благородное дело. Хорошо еще, что не погнали гуртом картошку сажать или на рудники работать... Но посмотрите, кто служит! Без способностей, без образования — а высший чин, ему учреждение вверяют!

— И все же двадцать тысяч чиновников на крохотную крестьянскую страну,— снова повторил благовоспитанный старичок, доставая откуда-то из дальнего заднего кармана огромнейший чистый, но желтоватый от старости носовой платок и внезапно сморкаясь в него так громко, что за столом вздрогнули, как от выстрела.

IV

Знаменитая зангинская рыба, в мýке выпучившая стеклянный глаз, уже стала вчерашним днем, столько стаканов ей влито вслед, столько тостов, смешных и задорных, плачущих, трогательных, растянутых, произнесено ей вслед. Из глубины откуда-то кричит хозяйка, и Назик, вытянув потную ручку из крепких пальцев жениха, улыбаясь ему черными глазками, вертлявыми, как птичий клювик из гнездышка, бежит отдаться в материнское распоряжение,— сейчас принесут на стол блюдо с молодым барашком.

Музыканты, разойдясь от вина и человеческих голосов, превосходят сами себя. Тарист рвет косточкой струны своего голубиного тара и жмурит седые брови,— хорошо, дивно воркует тар под старой рукой. Надрывается кяманча от плача, ходит ее живот танцующим животом негритянки туда и сюда, покуда летает по струнам сумасшедший смычок кяманчиста. Рябой безбородый перс осатанел над бубном. Глаза его точно вылились из орбит, нету глаз, пустые впадины стонут, истекая сладостным соком,— впрочем, это стонет голос рябого перса из тонкого, растянутого трубочкой рта,— как он поет, может сейчас оценить только он один. Нет награды такому певцу,— вздохи мечтателя Саади волнуют ему душу неиссякаемой негой, перс прижал к себе бубен, он поет белизну груди ее, воркование голоса ее, паутину волос ее, восход глаз ее,— а-ах, разбил бы бубен от исступленья певец!

— Фу, что же это за такая за музыка! — не удержавшись, вскрикнула Клавочка.— Что же это за мяуканье такое, ведь это никакие уши не вынесут! Мой муж, Захар Петрович,— здешний, он тут родился, он даже отлично говорит по-армянски. А я никак привыкнуть не могу. Вот в Москве был концерт восточной музыки, то-то смеху было, один пел такой: «А-а-а-дын верблюд, ду-у-ругой верблюд! тре-е-е-тий верблюд!»

— Да нет же, Клавочка, я тебе говорил, это пародия! Это же шутка была! — воскликнул начканц.

— Никакая не шутка, если как две капли воды! Ой, уморил он меня! — Клавочка хохотала.

Между тем хозяйка и дочери быстро очищали угол комнаты для танцев. Они носили стулья и столики, ногами подталкивая рассыпанные бумажки. Как только

освободился круг, из-за стола встала с протянутыми руками теща виноторговца Гнуни.

Старуха открывала танец. Опустив низко еще красивые веки, сжав губы, улыбаясь только наклоном щеки и уголком рта, старуха медленно плыла под музыку, то отставив пятку, то наступая на нее, и голова ее с неподвижным лицом то откидывалась, то клонилась набок. Чем дальше, тем ее медленные движения становились выразительней. Уже наклон головы как бы всю ее бросал вниз, подбородок вскидывался со старушечьей томностью, пальцы вытянутых рук играли, а за столом приостановили еду и ударяли размеренно, в такт, ладошами.

Сам тамада выскочил вторым. Перед плывущей старухой он вынырнул с лицом, так же величественно неподвижным, как у нее, прижал кулаки к груди и, пыхтя, выбрасывал то одну, то другую ногу, приседая.

Музыка дергалась все неистовей, присядка его учащалась, он то отставлял каблук, как бы глядя на него, то подворачивал и всем корпусом, то спиной, то грудью, наступал на томно кружившуюся старушку.

Это был танец любви, целомудреннейший из всех танцев в мире, без прикосновенья, без взгляда, без игры лица,— вся сила выразительности была в отброшенных вперед руках. Уморившись, старушка охнула и остановилась. Ей закричали «браво, браво», приняли под руки, и сам хозяин с почетом повел ее, красную и улыбающуюся, на прежнее место.

Между тем тамада все отбивал каблуки, то выталкивая руки вперед, то прижимая их к груди. Багровый его затылок и красный нос блестели от пота. Теперь дочь хозяина, Назик, вставши, вступила в круг.

Армянские девушки ходили в школу ритмопластики и хореографии. Они уже потеряли неискушенность жеста. Назик в легком платьице, чулочках «виктория», с пышным черным вихрем волос, повязанных сзади алою лентой, сделала томный жест, словно сходила по черепкам с музейной этрусской вазы. Поднятая вверх кисть с растопыренными пальчиками театрально взывала: «Нет, нет, пожалуйста, не подходите ко мне!» Плечико, двигаясь, говорило: «Ну так что ж, мне-то какое дело?» Это была игра дрессированного зверька, и чем горделивей поглядывал на дочку виноторговец, плативший за ученье денежки, тем скучнее становились профессора. Для них под защитой фруктовой вазы хозяин поставил особую бутылочку финьшампаня.

Профессора смаковали, со скукой отворотясь от Назик.

— Два месяца не получаем жалованья,— говорил начканц (он был в совершенном восторге от рыжего).— Если бы вы знали все эти интриги! Кричат «строительство», «строительство»,— простите, вы не коммунист? А какого черта, если сегодня дают деньги, завтра не дают денег, сегодня электрификация, а завтра электрифипакость! Иван Гаврилыч, что я тебе сказал, да побойся ты бога, ведь ты голову пропьешь!

Старик в золотом пенсне, говоря сам с собой и тряся плечи в мелком неумолкаемом хохотке, пил безостановочно все, что перед ним стояло: пиво, водку, красное, белое, дамский мускат, столовый уксус. Дрожь его пальцев, хватавших рюмку, вызывала сконфуженные улыбки соседей.

— Наклюкался до того, что с ним сидеть стесняются, а чтоб остановить старика, этого не догадались. Выдь из-за стола, Иван Гаврилыч!

Но Иван Гаврилыч махнул ему ручкой, как делают дорогим друзьям из окна вагона. И опять внимательные глаза рыжего с таинственной остротой обежали его, как бы увидя что-то, сокрытое от других. Уже он встал, словно желая подойти к старику и увести его, но тут вдруг Клавочка в преувеличенном ужасе схватила и прижала к себе его руку. Глазами она показывала на художника.

V

Бедный леф наклонил низко голову жестом бычка. Исподлобья глядел он на благообразного мещанина с красным лицом,— вот-вот бросится. Мещанин, обмахиваясь большим носовым платком, желтоватым от старости, с удовольствием слушал музыку, а сейчас, вежливенько, вполоборота поворотившись к танцующим, даже привстал немного от удовольствия, показавши старомодные фалды длинного вороноподобного сюртука.

— Сюртуки! — пробормотал леф.

В его помраченных глазах мещанин двоился, троился. Колода карт выскочила из фруктовой вазы, опадая сотней длиннополых валетов и королей в сюртуках. Сюртучишки подбирались к столу, потирая руки, брови их сближены у переносицы, усы закручиваются над вы-

вернутыми бледными губами, и носы их тоже закручиваются у ноздрей завитком, напоминающим не нос — револьвер с опущенным дулом. Сюртучишки подсмеивались, набирались в группы. Пальчиками разглаживали губы, приподымая рыжую щетинку усов, пофыркивали.

В ужасе леф отвернул голову и увидел дядю Михака, нет, не дядю Михака — виноторговца Гнуни. Он пробирался вперед через лес сюртучков. Его расплюснутый лоб ростовщика в бородавках сиял от пота. Желтые, опавшие к вискам козлиные глаза сияли тоже. Бороденка торчала перышком, и на худых плечах огородного чучела плясал пиджачишко,— виноторговец Гнуни находился в зените восторга.

Тогда художник Аршак пережил, как он потом нехотя рассказывал, превращение номер первый. Превращение номер первый заставило его дико схватить стакан и закричать через весь стол тамаде:

— Тост, тост!

Тост бедного родственника — это что-нибудь да значит!

— Художник, приезжий из Москвы,— милостиво объяснил соседям виноторговец. Все приготовились слушать, и в эту самую минуту пухлая рука Клавочки цепко схватила рыжего.

— Я увидел,— рассказывал позднее трезвый художник,— этакую лестницу из апокалипсиса, лестницу баранов и козлов в сюртуках. Женщины и мужчины говорили «бэ-э-э». У женщин с невероятной быстротой отрастали курдюки. Они качали курдюками и брильянтовыми серьгами, их крупные глаза пучились, как кукиши. Блеянье их было хрипловато. Каждый смотрел на то, что делал другой. Их задние мысли были мне видимы, как хвосты. Положительно, у всех была задняя мысль. Нет, я не могу этого описать. Уверяю вас: то, что я тогда сделал, это была прямо гениальная затея с целью самозащиты!

Он поднял стакан и провозгласил тост за дядю Михака.

Дядя Михак, по его словам, был жив-живехонек. Он воспрянул в стране — кулаком, хозяйчиком. Он мастерит свои баночки на чужой кухне, он притаился, он выкрасился в защитный цвет. Дядя Михак — вечный предприниматель, он подтачивает социализм, сидя внутри его, как червь в абрикосе. Не доверяйте дяде Михаку, обнаруживайте его, выводите на свежую воду! Узнавай-

те его по женам его,— жены дяди Михака при социализме и при чем хотите разве не лоснятся от сытой жизни, не отращивают курдюки, не источают тонкий, змеиный шип завистливости? Узнавайте дядю Михака по детям его — дети его разве не учатся пролезанию, пролезанию вперед, заполнению лучших мест, получению лучших наград? Разве не учит дядя Михак детей своих щебетать по-иностранному, стучать на фортепьянах, выдерживать вовремя экзамены, оттесняя, задвигая тех, кто ночами сидит, натруживая мозг, над книгой, кто тяжко трудился в детстве, кто еще не привык к учебнику? О, что за прибавку внесут они нам, Михак и потомство его, в цемент для здания социализма!

Именно здесь, когда одурманенные вином мозги слушателей смутно поняли несоответствие речи художника праздничной обстановке и прежде всего с грохотом отодвинули свои стулья вставшие профессора, вдруг пережил оратор превращение номер два и — запнулся!

Превращение номер два исходило от двух глазок, двух черных и внимательнейших глазок восьмилетней девочки, золушки в доме. Положив подбородок на край стола, она откинула головку и, приоткрыв рот, слушала его со всею серьезностью таинственного детского существа своего, удерживающего все силенки и помыслы на одном: как бы не заснуть и не быть прогнанной от неслыханно интересных и непонятных ей дел взрослых людей. И не то чтобы уж очень хороша была эта девочка. Напротив, она была дурненькая. Гладкие без блеска волосы зачесаны в одну косицу, открывая неуклюжую раковину большого смугловатого уха, нос у нее был длинный и глазки близко сидели у переносицы, но все эти явные признаки сходства с виноторговцем Гнуни,— в миниатюре, в детском виде своем,— поражали в ней за душу хватающей трогательностью и неповторимостью. Художник вдруг прикрыл веки руками, словно хотел заплакать. Невыносимая жалость схватила его за сердце. Он представил себе: девочка сейчас умирает, она умрет; после того что он сказал, ей нельзя жить и вырасти! — и разве должна она вырасти в дядю Михака? Мысленным взором увидел он лица советских школьников, жадно и счастливо обращенные к нему, советскому художнику, может быть воспитателю,— к нему, новому человеку...

— О, гнусно! — воскликнул тихонько из-под ладони себе самому художник, трезвея внезапно от острого чувства раздвоенности.

Но уже никто и не слышал и не понял его. Невообразимый гам стоял сейчас в комнате.

— Гадость, что такое... безобразие! — лаяли басом профессора.

— Это же, это же, ах, ты! — задыхался виноторговец, распахивая за отвороты пиджак. — На серебряной свадьбе, про дядю, про дядю родного! Наелся, напился, и я ж его, как кровного родственника! Скажите, прошу, умоляю, стоит ли еще земля на воздухе, цел ли еще мир после этого?

Но больше всего кричал и тряс головой до бешенства доведенный доктор Петросян:

— Так люди в гостях не напиваются, приличные люди за стаканом вина сидят ночь и две ночи, поют, танцуют, речи держат, никаких безобразий, никаких оскорблений. Тут уважаемые граждане собрались. Все мы работаем, жены наши работают. Хозяйка ночь не спала в тяжелой работе, варила, жарила, готовила, а вы за ее же труды — на хлеб ее плюнули! Поражаюсь, молодой человек, новейшему воспитанию!

Но тут, во всеобщем шуме и гаме, рыжий (давно уже один за другим не грубо, но и не ласково оторвавший от себя цепкие пальчики Клавочки) резкими шагами подошел вдруг к неподвижному старичку в золотом пенсне, пощупал ему голову и крикнул:

— Да поглядите же, ведь он умер!

Глава третья

УТРО

I

В школе, где училась и маленькая Гнуни, урок открылся не совсем обычным вопросом:

— Ну, так как же, дети, с чего начинается утро в нашей стране?

Школа в старом, сильно потрепанном помещении, — новое еще не достроено. Дует из-под дверей, где могла бы пройти старая крыса с выводком. Дует из окон, из щелей в стенах, из щелей в полу.

За окнами носится мартовский ветер. Облака в небе лежат комочками, точь-в-точь дешевый крем из мыльного корня для кондитерских трубочек. А за столиками, свесив вниз ноги в стоптанных чувяках, калошах, боти-

ночках поновее, три десятка ребят обоего пола впились глазами в новую руководительницу.

Старую они спровадили. Старая всхлипывала на уроках. Ее провожала в школу мамаша. В уши она закладывала вату, потом затыкала уши пальцами, кричала громче всех в классе и в учительской закатывала истерики: она оборонялась от детей.

Но сейчас, когда старая ушла, в классе нашлась ее партия. Эта партия острыми глазами следила за новой, готовясь поймать в ней тысячу смешных сторон, и с безошибочной зоркостью уже приметила: муфта!

Руководительница была пожилая, лицо квадратное, с большим лбом. Руки ее пахли дымом, не отмываемым ни водой, ни мылом,— многолетняя возня у железной печки. Одета она была без всяких претензий, но и не плохо, а муфта из старого плюша, огромнейшая, сразу удивила ребят. Плюш на муфте до того обносился, что уже не осталось ворсинок, только желтели отполированные временем крупные редкие нитки. Подкладка висела из муфты подшитыми, но все же бахромчатыми кусочками.

Муфта была набита, и руководительница положила ее возле себя с такой осторожностью, словно там были все ее драгоценности. Оппозиция начала строить догадки: «живой кот, она его с собой носит», «новорожденный ребеночек», «теплые вязаные штаны», «чай с самоваром и булками».

Но тут предположения сразу были прерваны, и оппозиция против желанья взята за шиворот неожиданнейшим открытием урока:

— С чего в нашей стране начинается утро?

Раскрыв рты, ребята принялись догадываться, покуда маленький человек, встав с места, не выпалил: «С домов». Один его чулок, подстегнутый к резинке английской булавкой, неизменно срывался и скользил к башмаку, ножка была красная и вся в синяках и царапинах от бесчисленных похождений. Для мальчугана — самого маленького в классе — дело было яснее ясного. Дом принимает людей ранним утром на службу, в школу, в лавку. С самого раннего утра он должен прибираться, готовиться, раскрывать ставни, протирать окна. Но объяснить это в двух словах, когда весь класс смотрит на тебя, не так-то легко. Мальчик ограничился кратким и загадочным:

— С домов! — Потом прибавил для девочек только

еще одно пояснительное слово, закруглив его туманным жестом в воздухе: — Снаружи!

И сел на место.

Руководительница подождала еще некоторое время и собрала неуверенные ответы.

Девочки: «с умыванья и одеванья», «с доброго утра», «с первого урока», «с жаворонков», «с восхода солнца». Мальчики: «с извозчиков», «с хлебной торговли», «с вокзала»,— последнее означало, по-видимому, вокзальные часы, по которым сверялись все часы в городе, но тут же сосед шепнул: «Дурак, там московское время, а у нас собственное»,— и представитель вокзала взял свой ответ обратно.

Руководительница сидела в несомненном волнении. Она затеяла опыт на свой страх и риск,— старые руки ее слегка похолодели. Там, дóма, лежали учебники, по которым еще велось преподавание,— и она была в ужасе от них. Авторы учебников, порывая со старой методикой, еще не овладели новой,— материал был сух, примеры надуманны, скучны и непонятны для ребят, а главное — в них не было живого дыханья новой советской действительности.

Эти книжки, казалось ей, ничего не могли дать детям: ни знания, ни настроения, ни образов, ни чувств. Они не будили мысль. Они портили детям язык, и родной и русский.

Как-то она проговорилась об этом ответственному лицу, заглянув по делу в его кабинет, и тот ответил ей скучноватым голосом, не глядя на нее и карандашиком отбивая по столу:

— Нельзя же в конце концов, товарищ. Мы получаем директивы, весь Союз учит по этим учебникам, там сидят настоящие головы, а вы — старый человек, дореволюционный педагог. Вас посылали на курсы, для чего вы переподготовлялись? Ваша критика для нас не может быть авторитетна. Да, наконец,— он вдруг оживился, потому что вспомнил очевидное доказательство,— никогда еще дети не учились с таким наслажденьем, как в наших школах. Что это доказывает? Если б учебники были, как вы выражаетесь...

— Не в учебниках дело,— ответила она тогда с полным отчаяньем,— учатся, потому что новые, замечательные ребята пришли в среднюю школу! Учатся, потому что мы творим уроки, на Севере по крайней мере. Там учителя работают, как артисты, от урока к уроку, на-

конец, там в виде реакции на зубрежку и лабораторный метод и дальтон-план, общественная работа, детям зубрить на дом не задают, все проходится в классе. А у нас четыре часа держат детей в школе, раздеться негде, приучить к аккуратности негде, шкафчика для калош нет, печей нет, через четыре часа вторая смена в коридоре землетрясение устраивает, кончить не успеешь,— что мы им в эти четыре часа даем?

— Довольно, товарищ! — Ответственное лицо встало, раздув усы. Это случилось в его учреждении впервые. Отсутствие прецедентов делало его беспомощным. И старая учительница стала кочевать между биржей труда и комнатой, разделяемой ею с племянницей.

Она проговорилась сгоряча. Ей совсем не хотелось потерять место, прослыть реформатором. Но уж так бывает с человеком: жест, вырвавшийся у него невольно, как парус, надутый ветром, становится вдруг его двигательной энергией.

Днем и ночью, лишенная работы, она собирала мысли и силы к сраженью. У стратегов — завоевание вселенной. У нее, старой учительницы Ануш Малхазян,— первый «лабораторный урок» для второй группы... И сегодня, побывав до урока в учительской, она уже знала, что препятствий множество.

Вот что означал ее немного дрожащий, но громкий и необычный для ребят вопрос: «С чего в нашей стране начинается утро?»

II

Подождав ровно столько времени, сколько нужно, чтоб исчерпать «ответоспособность» класса, она мысленно осмотрела и как бы взвесила эти ответы. Они были именно такие, какими могли быть. Ни один не ответил: утро начинается с гудка на фабрике, с пастушьей свирели. Потому что фабрик в городе было еще мало, фабрики стояли недавно выстроенные, новенькие, редкие, как зубы во рту ребенка, небольшой группой за городским вокзалом. А земля пока не начала посылать сюда, в столицу, детей бедняков, тех, кто знает пастушью свирель и сам был пастушонком. Перед нею была детвора городских ремесленников, садовладельцев, мелких служащих. Но старая учительница знала — они будут расти вместе с ростом их родины; и надо пробудить в них любовь к ее

росту, умение видеть и чувствовать этот рост и желание в нем участвовать.

— Ребята! — начала она звонко и дотронулась до муфты; таинственная эта муфта вдруг словно ожила, и дети уставились на нее в ожиданье.— Вот представьте себе — это наша страна. Земля поворачивается к солнцу, и на этом боку, где у нас была ночь, наступает день. Солнышко начинает захватывать нашу сторону, сперва все самые верхние ее точки, потом то, что пониже и еще ниже. Ну-ка, ребята, ежели это у нас Армения, с чего солнышко начинает?

— С Масиса! — крикнул тот самый маленький мальчик, который раньше кричал «С домов».

Руководительница улыбнулась ему. Положительно он ей нравился.

— С Масиса, это верно, мальчик, но Масис ведь сейчас не в нашей стране. Ты не знал? Масис — в другой стране, в Турции. А у нас тоже есть высокие горы — Арагац и другие горы, пониже. Вот давайте-ка прогуляемся вместе с солнцем по всей Армении, посмотрим, как и с чего в каждом месте начинается утро.

Она все держала муфту перед собой, но ничего из нее не вынимала. Только в таинственные недра муфты скользнула ее собственная рука и по мере надобности придавала муфте нужные очертанья. Тут-то и оправдала себя старая муфта с желтовато-бурым обглоданным плюшем. Руководительница говорила, а вместе с губами двигались на столе желтые волны, то выпрямляясь, то горбясь, и левой рукой подсобляла себе рассказчица, указывая на очертанья муфты.

— Вот на самом верху солнце лизнуло горные вершины. Там еще лежит снег. Это хороший снег, он поит Армению водой, дает пищу рекам, ведь Армения страна сухая, воды у нее мало, а без воды не вырастет хлеба, не будет травы, нечем кормить себя и скотину. Солнце пошло ниже, на горные склоны. Здесь нет деревьев. Нет и жилья. Но летом здесь густая, хорошая трава, а потому сюда выгоняют кочевники свой скот. Эти склоны так и зовутся пастбищами, яйлаками. На все длинное лето приходит сюда кочевник, и не один, а с семейством. За десятки верст, даже за сотни он пригоняет худой, за зиму отощавший скот, занимает кочевку, годами считавшуюся его местом. В арбах он привозит одежду, посуду, семья его живет под арбой или в шалаше, и так он проводит все лето, пока не придет август, а с ним первые

холодные ночи. Это место, дети, называется пастбищной зоной, и люди занимаются тут скотоводством. Пониже лежат их деревни, куда они возвращаются на зиму.

Тут муфта зашевелилась опять, как живая, и рука вытянула из нее коробочку — не коробочку. Когда дети, тесня друг друга, столпились вокруг столика, Ануш Малхазян уже расправила на нем модель крестьянской хижины-землянки. Два столба в земле, дверь между ними, внутри очаг и дыра в потолке для дыма; за перегородкой — помещенье для скота. Одна за другой вынимались из муфты игрушечные вещички: прялка, дубовая люлька, чтоб сбивать масло, плетеные блюда, кожаные сандалии. Высоко живут скотоводы, далеко до них и далеко им до других людей, и вот они все, что нужно, делают себе сами.

Но солнышко бежит вниз, вниз от скотовода, туда, где потеплее и где уже есть деревья. Это зона садов. Тут растут вкусные и полезные вещи: виноград, персики, абрикосы, груши, гранаты, грецкий орех, инжирное дерево, айва и много другого. Жителям здесь уже скот держать невыгодно, есть ему нечего, гонять его на пастбище далеко, а земля нужна под плодовые деревья и виноградники. У людей тут сады, много садов, и каждый ходит за своим садом, перекапывает, поливает, лечит, если деревья заболеют, чистит от гусениц и жуков. У каждого осенью больше плодов, чем нужно ему самому в пищу. Излишки он везет в город и продает; учится сушить фрукты, делать из винограда вино и водку. За проданное он получает деньги и покупает на них в городе все нужное: одежду, посуду, инструменты. Здесь люди живут теснее и больше знают, больше видели, чем скотоводы. Они часто бывают в городе, отдают своих детей учиться. Но солнышко бежит еще ниже, и вот оно доходит до ровного места. Тут, детки, горам конец. На ровном месте проведены железные дороги, лежат города, и земля тут родит еще более нужные вещи: она родит хлопок, из которого делают бумажные ткани, родит рис, пшеницу, ячмень, табак и другие злаки. Это зона хлебопашеская, и сейчас, ранним утром, крестьянин встает, чтоб чистить заржавелые за зиму инструменты, готовить соху и борону, заготовлять для запашки зерно.

Эти крестьяне тоже часто бывают в городе, им нужны городские товары. Откуда же город достает все эти товары? Городу, чтоб люди в нем могли жить и питать-

ся, нужно много хлеба, масла, овощей, мяса, а в обмен на это он должен дать крестьянам и садоводам инструменты, посуду, материю. Когда-нибудь я вам расскажу, откуда все это берется и как мы начали строить свои фабрики и заводы, а сейчас, дети, еще два слова об одном друге и товарище солнышка. Покуда оно бежало сверху вниз,— и он бежал с ним тоже сверху вниз. Этот друг и товарищ солнца — вода.

Здесь учительница передохнула. Уже давно в коридоре трещал звонок. Длинная фигура ее коллеги, Сатеник Мелконовой, взволнованно маячила перед дверью класса, клоня стриженную по моде горбоносую голову с длиннейшими на ушах побрякушками к замочной скважине. Лихорадочные глаза Сатеник Мелконовой, всегда обведенные темными кругами, блестели от любопытства. Но в замочной скважине ничего не слышалось, кроме смутного гула голосов.

Муфта, как замученное животное, лежала сейчас на столике перед учительницей. Недра ее опустели. Бахромка безжизненно вывалилась. А дети, столпившись попрежнему и не желая расходиться, протягивали к ней щупальца-руки. Каждый хотел дотронуться до нее и узнать, нет ли в ней еще чего-нибудь.

— С завтрашнего дня, дети, весь класс делится на три зоны. По две скамьи, считая от стены. Знаете, что должна делать каждая зона? Завести у себя коллективное, общими силами, хозяйство. Я дам вам книжки, картинки, бумагу, клей, карандаши, и больше вы не должны ни о чем спрашивать, покуда не сделаете, что нужно. Пастбищная зона должна приготовить вот такую модель хижины, как у меня, кибитку, потом вырезать и раскрасить стадо — барашков, коз, коров, буйволов, ишаков, лошадей. Хозяйство должно иметь свою конторскую книгу с подробной записью, из чего оно состоит.

Скотоводы в восторге запрыгали. Им досталось самое интересное. Но четыре передних скамьи громко запротестовали. Деревья надо рисовать в тетрадку, а не вырезывать, учить разные названья, и домиков не склеивать, а читать гораздо больше,— так выяснилось при подробном объяснении учительницы. Четыре скамьи решительно не пожелали такой несправедливости. Они объявили, что не хотят двух других зон и присоединяются к скотоводам. Но скотоводы цепко держали модель хижинки. Пусть передние скамьи занимаются своим делом, у них в зоне и без того много людей.

Ануш Малхазян слушала, трепеща от удовольствия. На лице ее, впрочем, ничего не отражалось.

— Вы забываете, ребята, что про первые две зоны еще не кончено! У них будет машина, трактор,— когда подучитесь, я дам вам ее склеивать. Они будут ездить в город. Имейте в виду, я — город. Вот на этом столе,— она опять положила руку на муфту,— я устраиваю город со всеми городскими вещами. У меня тут базар будет, фабрика будет, мельница будет...

— И кино?

— И кино и аптека. Ну, кто хочет из двух передних зон перейти к скотоводам, пусть переходит. Решайте.

Соблазн ездить в город победил. И только один маленький мальчик с опущенным на башмачке чулком решительно встал и пошел к скотоводам. Городские дома надоели ему. Он захотел нарисовать лошадь и взялся вести в конторской книге лошадиные дела. Узнав, что его зовут Суриком, учительница дала свое согласие, и на большой грифельной доске было написано:

«Сурэн переходит из хлебопашеской зоны в пастбищную зону».

Дела было еще так много! Дети решили для каждой зоны выбрать цветной значок, чтоб не перепутываться на первых порах. А звонок в коридоре уже перестал звонить, перемена кончилась, и Сатеник Мелконова с вытянутым лицом проследовала в свою группу, досадливо растягивая коротенькую, по колено, и узкую юбочку из трико. Встретив в коридоре подругу, она дернула плечом.

— Сумасшедшая Малхазян делает с детьми, что взбредет ей в голову, она уже раз вылетела с места, теперь разведет тут свои затеи, и все группы начнут бунтовать, не дадут заниматься. Лабораторный метод, подумаешь. Все отлично знают лабораторный метод. Она не ездила дальше Тифлиса, что она может показать им нового?

Подруга ответила:

— Посмотрим.

У Малхазян лежал еще наготове рассказ про воду, но она поняла, что сегодня о нем нечего и думать. Дети требовали подробностей про зоны. Тогда она разделила по группам свои записки, вырезки, газетные и журнальные статьи, фотографии, статистические отчеты — все, что собирала, разыскивала, списывала, срисовывала в течение долгой безработицы, и показала, как пользо-

ваться этим материалом. Были выбраны письмоводители, статистики и завхозы.

Тихо и торжественно возвращалась она домой. Муфта ее почти опустела. Руки лежали в ней и судорожно сжимали одна другую.

Войдя во дворик, она увидела привычную картину развороченного и по-городскому тесного людского жилья: внизу на трех веревках радиусами от балкона колыхалось свежепостиранное белье. Толстая жена советского служащего кричала на продавца керосина, стоявшего со своими бидонами и кружкой. Чад от мангалки вместе с синим дымом возносился к небу, распространяя вкусный запах печеного мяса. Дети — их было пятеро — носились, крича, по дворику, и вылитая сизая помойка, стеклея на камнях, примешивала ко всему свой нудный запах гниющего пара.

Надо было пройти сквозь все это, добраться до крутой деревянной лестницы и долго карабкаться во второй этаж, где учительница Малхазян жила в одной комнатушке со своей племянницей, или, чтоб сказать точнее, ютилась у своей племянницы, инструктора Цека, товарища Марджаны Малхазян.

III

Еще в дверях она увидела, что племянница ее стоит неподвижно посреди комнаты, свесив вдоль платья руку, сжатую в кулачок. На тетушкины шаги она как бы отмахнулась от глубокого раздумья и вскинула голову. Две пары глаз встретились. Обе женщины, привыкнув отгадывать друг друга с первого взгляда, тотчас же поняли, что каждая из них взволнована и у каждой есть многое на душе, о чем нужно рассказать другой. Но тетка была экспансивней племянницы, и по молчаливому сговору ей всегда принадлежало первое слово. Снимая в углу калоши, она уже говорила:

— Марджана, я сейчас провела пробный урок.

— По лицу вижу, тетя, что хорошо.

Учительница улыбнулась, повесила на крючок пальто и уже только после этого, со свежей влагой в глазах и в носу, к которому она поднесла теперь свежий от холода носовой платочек, подошла к племяннице, задушевно поглядывая на нее.

— Ты обедала? Садись к столу, я тебе все подробно расскажу.

Марджана села к столу, но ни тетка, ни она не прикоснулись к еде. Разгорячась, тетка перескакивала от одного предмета к другому. Гримасы коллег в учительской при ее появлении, мальчик с опущенным чулочком, злющие улыбочки Сатеник Мелконовой на прощанье, замечательный урок про воду, который она не успела провести, три зоны, коллективное хозяйство — все это сливалось в одно бурное повествование, украшенное взлетами жестикулирующих рук, похожих на ветки хвороста, пожираемые все усиливающимся пламенем пожара. Если б теперь заглянула незамеченной в комнату какая-нибудь из завистливых коллег учительницы Малхазян, то-то была бы она довольна и побежала бы пошушукаться с кем следует, выкатывая круглые глаза:

— Самомненье, дорогие мои! Что она воображает о себе, какие рожи строит! Ну и учительница, прямо шут гороховый, а про нас-то, про нас-то! Базарная торговка так не тараторит, как эта молчальница затараторила.

Но злых свидетелей в комнате не было, а Марджана слушала и понимала не то, что лилось у тетушки с языка, а то, чем была охвачена тетушка, что она провела сейчас, в этот день своего торжества, после многомесячной подготовки, и от чего, как отработанный пар, струилась теперь ее разбуженная энергия потоком необдуманных слов.

— Не увлекайся, тетечка, они тебе еще ножки будут подставлять.

Да, учительница знала это. Но когда под ногой есть тяга, когда знаешь, что ты встал хорошо и тебя везет теперь, везет именно туда, куда надо,— мы еще поборемся, милая моя, за настоящее-то дело! Взяв вилку и ножик, она приподняла глубокую тарелку, под которой лежала вчерашняя холодная курица, и спросила Марджану:

— Начнем, а?

Минуты две они ели в глубоком молчании, и задумчивость Марджаны, легшая на ее красивых бровях тихим каким-то облаком, все еще не разрешалась ни единым словом признанья. Она аккуратно разжевывала пищу и глотала ее мелкими кусочками, почти не глядя на то, что ест. Пальцы ее подносили ко рту такие же маленькие корочки хлеба, и тетка видела, что в пальцах нет удовольствия от еды, нет его и в губах и что Марджана совсем не голодна, вернее, ужасно сыта, если не от хлеба, то от чего-то, что стоит у нее комочком поперек

горла. Но не такая девушка Марджана, чтоб задавать ей вопросы.

Учительница зажгла керосинку, поставила чайник и собрала грязную посуду, выглядывая на полках, что осталось с утра непомытым.

Комната их служила предметом постоянной и всеобщей зависти. Два маленьких окошечка выходили прямо на плоскую крышу, укатанную песком и асфальтом. Здесь стояли два ящика с зеленью и зимние горшки с цветами, выставленные на солнце. Отсюда прямо им в комнату сияли две снежные вершины Масиса, сегодня окутанные клочьями тумана, предвещавшего ветер и бурю.

Чисто побелена была комната. Маляр в свое время осведомлялся у них, как сделать побелку, просто или с мотивчиком, и, увидя мельком лицо Марджаны, не ответившей на вопрос, вдруг про себя решил сделать с мотивчиком и сделал: под потолком, опоясывая комнату, шли золотистые разводы, похожие на павлиний хвост. Краска, правда, скоро вылиняла, но все же розовое сияние осталось под потолком, где у других людей скапливаются паутина и копоть. Тетка спала на кровати, племянница на красивой тахте, покрытой «мутаками» — длинными валиками подушек из полосатого красного шелка.

Да, милейшая у них комнатка, надо сказать правду. Тетка подумала, а племянница произнесла, и опять мысли их совпали на одном предмете.

— Тетя Ануш, останешься ты теперь одна в этой комнате. Я утром узнала в Цека. Меня в уезд посылают.

Марджана не сказала, что этого перевода в уезд она добивалась сама. Тетка сильно подозревала это. Сказать по совести, лучшего выхода сейчас нельзя было бы придумать. Сердцем, смотревшим на людские страсти с высоты своего женского, давно отжившего жизнь возраста, Ануш Малхазян представляла себе положение племянницы совсем с другой стороны, нежели это сделала бы женщина помоложе. Ей казалось, что самолюбие во всей этой истории — главное. Марджана болезненно горда; ее ударили по самолюбию, оскорбили, и надо теперь, чтоб зажила рана.

— Этот тип скоро раскается, Марджик, вот увидишь!

Что-то молнией прошло по лицу девушки. Не следовало так говорить.

— Ты меня прости, дорогая. В уезде, конечно, тебе больше будет работы, чем здесь. Таким, как мы с тобой, в деревне больше дела, чем в городе, говорила и повторяю это. Вот у меня эти ребята; ведь все, что я им в школе дам, семья истребит. Ведь это чьи дети? Мелких собственников, кустарей, лавочников. Когда еще у нас тут рабочий класс подрастет! А там, в уезде,— завидую тебе,— будешь целину поднимать. Каждый раз, как ты по деревням ездила, такая возвращалась свежая, бодрая, любо было глядеть на тебя. Нет, право же, завидую тебе...

«Впрочем, что же это говорю я ей, пошлости какие»,— перебила она себя мысленно. И горячо колыхнулось внутри: «Ребят своих обидела, ребята хорошие». Как у нее всегда бывало в такие минуты, она схватилась за свою муфту, валявшуюся не на месте, и села с муфтой к себе на кровать.

— А знаешь, Марджик, удивительный это был тогда человек на бирже!

И на этот раз старая учительница говорила из глубины души и без всякой задней мысли:

— Помнишь, я тебе рассказывала, рыжий, в разбитых очках? Странно, право, как взгляну на муфту, вспоминаю его. Удивительно он про мою муфту сказал. Непохожий такой человек, вот бы тебе с кем познакомиться!

Они обе лежали теперь и отдыхали,— одна со своей муфтой на кровати, другая спиной к ней на тахте. Учительница уже забыла про невзгоды племянницы и со счастливой улыбкой повторяла самой себе интересный урок про воду: как бежит вода сверху и как люди пользуются ею. Сперва только для питья, пьют и скот поят; потом для садов, огородов, полей, но сады, огороды, поля не могут сами подойти к реке, надо, чтоб вода подошла к ним,— и люди научились делать каналы.

Как делаются каналы, плотины, шлюзы; как человек регулирует пропуск воды сквозь шлюзы; как деревенский «сторож воды», мираб, распределял ее поровну, кому сколько нужно, по маленьким канавкам — арыкам...

Но люди, поделив землю, никак не могли поделить воду. Одному мираб недодаст, другому передаст. Стали мирабы, как попы, брать потихоньку за воду подарочки, кто больше даст, тому и воды отведет больше... Рассказать, как в старину были смертные бои между деревнями, как, бывало, крестьяне убивали друг друга из-за

воды. А вода течёт и учит: нельзя меня делить, я слитная, единая, будьте и вы слитные, тогда всех напою равно. Расскажу детям, как вся нижняя зона сорганизовалась в артель. Не стало теперь прежних мирабов: отдали мираба в музей...

А потом еще дальше про воду: как люди вздумали использовать ее силу, сделать, чтобы она служила им своим движением. А для этого нет лучше армянских речек, потому что это сильные речки, они текут с высоких гор вниз... Тут маленький рассказ про мельницу, и можно даже сделать модель мельницы, поставить ее в школьном дворе на канаве... Колесо, турбина, главный принцип...

Потом экскурсия на гидростанцию, понятие об электричестве.

Ах, смутно, неясно знала сама Ануш Малхазян про электрическую энергию и про то, как строятся станции. Это было ее самое слабое место. Вздыхая, она вспоминала, как выискивала всюду книги и не было таких книг. Как спрашивала у спецов, и не умели ответить спецы, не находили простых и образных слов, того, что нужно ей и детям.

— Марджик, ты в какой уезд поедешь?

Но племянница ничего не ответила и даже не двинулась. Должно быть, заснула. Руки, ноги и всю себя она подобрала под вязаный платочек, растянутый над нею, как панцирь.

IV

В это же самое утро Клавдия Ивановна Малько вышла из дому, чтоб исполнить поручение мужа своего, начканца.

Клавдия Ивановна шла мелкой поступью, притопывая каблучками. К большому ее телу очень шло мелкое — и дробный шажок, и посаженная у губ искусственная маленькая родинка, и мелкие зубы во рту, и кудряшки по самые брови, и особенно эти две открытые дырочки ноздрей, поднимающие нос вверх, как у деревянных лошадок. Даже в полном одиночестве Клавдия Ивановна суживала зеленые глаза в постоянном смешке и хохоточке, словно невидимые руки щекотали ее где-нибудь под мышками. Поводя пышными плечами и рыбой плескаясь в неудержимых, щекотных улыбочках, постукивала она по мостовой, замечая, как одеты идущие

впереди женщины и что выставлено на окнах. Мысли ее на улицах были всегда одинаковы: «Вот бы мне такое пальто» или: «Вот бы мне такого мужчину»; теплеющие зеленые глаза все пробовали на себе, приближали, снимали, высчитывали.

Муж зарабатывал так мало, прибавки его считались рублями. У Клавдии Ивановны не было дорогих платьев, не было вкуса, не было портнихи. Она душилась дешевыми фиалками, напоминавшими валерьянку, разбавленную китайским чаем. И все же, когда она проходила, большим своим телом рассекая воздух и блестя в волосах гребешком с мелкими камушками,— шляпы Клавдия Ивановна не носила ни зимою, ни летом,— от нее как бы шел теплый ветер, необыкновенно душистый теплый ветер, обласкивающий, опархивающий, обегающий встречных. Ежась в приятном холодке, оглядывались ей вслед мужчины. Отлично понимая силу свою и словно хвалясь ею, Клавдия Ивановна вскидывала на встречных глаза, которым на гидрострое, где служил муж ее, завистницы дали прозванье «бесстыжие».

Город, обдаваемый ветром и пылью, дыбился неказистым туфом плоских построек. Казалось, не было в нем защиты от ветра и пыли, и плоские серые постройки, выпираемые нагорьем под самое небо, пузырями лопаются от разреженного, пустынного воздуха, беспрепятственно в них разгуливающего.

Кутаясь в пальто, пряди каштановых волос по ветру, Клавдия Ивановна вступила под сень базара и проходила его, ища, где посуше. Как и множество других людей, ей подобных, она видела тут лишь место, где иногда можно купить дешево и все есть, что нужно, а иногда — ничего не найти, как вот сейчас, когда вздорожал хлеб. И винила то продавцов, то большевиков. Между тем базар, откуда рассасывались по городу в плетенках предметы ежедневной необходимости, открывал думающему человеку интереснейшие вещи.

На корточках, свесив тяжелые ватные штаны, у высоких корзин и кувшинчиков сидели армянские и курдские крестьяне, и загорелая их кожа на щеках, обтягивавшая косточки скул, блестела. Глубокими впадинами мерцали натруженные, красноватые от дыма глаза; выражение их было ново для наблюдателя. Еще недавно по одному взгляду могли вы определить степень доверия, точней — недоверия сельчанина к городу. Защитная маска простоватости, под которой — ответная насторо-

женность: если ты «не обманешь — не продашь», то и я обхитрю тебя, притворяясь обманутым. Но сейчас исчезла, оттаяла настороженность. Сельчанин вскидывал на вас, городского, глаза с открытою мыслью в них. Он видел большую пользу от города. Он узнавал своевременно, чем живет мир, что совершается в стране, в республике, в уезде. Газета приходила к нему, в глухие места, вместе со звоном колокольчика местной почтовой брички. Город вел большие дела, он строил, он втягивал сельчан в работу, и с новым чувством шел сейчас на базар крестьянин, погоняя перед собой ослишку с курджинами, шел полный вопросов, любопытства, ширившей сердце мысли, что время — движется, не стоит на месте, подходит перемена,— еще неизвестно, какая она, перемена, но для него, для бедняка, хуже не будет, а может, и лучше будет.

Артели тогда еще можно было пересчитать по пальцам. Но уже многим в деревне, кто научился читать газету, ясно было, что городу мало хлеба, что не угнаться с крохами хлеба, добытыми на клочках земли дедовскою сохою, дедовским серпом, дедовскими цепами да досками на гумне, влекомыми потною лошадью, чтоб обмолотить зерно,— не угнаться всем этим за новою городской силой, растущими фабриками и заводами, учреждениями и домами, силой, не знающей удержу в росте. Кулак в эти дни осмелел и воспрянул. Он читал своими глазами, слышал своими ушами,— а слухом, как водится, земля полна,— что в далекой Москве нашлись такие, по кулацкому разумению, «мозговитые» товарищи, которым ясно — без него, без кулака, не обойтись советской власти. Придет она к нему, кулаку, на поклон. Товарный-то хлеб-батюшка у кого? У него, у кулака, под спудом. А без хлеба какая тебе, скажем, индустриализация в городах? Вот и кланяйся, большевик, кулаку: не бедняк-разиня, у которого ячменная лепешка да пустое лукошко, выручит тебя из беды!

Но, с другой стороны, и бедняк в деревне стал больше думать. Он тоже знал свое. Вон абаранцы, самая беднота в республике, начали на ноги вставать, а чем? Артельным молочным хозяйством, сыроваренными заводами, построенными советскою властью высоко в горах. Раньше, бывало, толпились они, абаранцы, у глиняного забора на базаре, за гроши отдавая себя в батраки, куска хлеба зимой не видели, траву с соломой жевали. А нынче не спускается вниз абаранец, и туговато кулаку

с наемной силой. Знал армянский крестьянин и многое другое из газет. На помощь артельному, коллективному хозяйству отпустила советская власть в одном только нынешнем году свыше шестидесяти миллионов рублей. Значит, кулацкие-то защитники не очень в чести в Москве. И внимательно следил в деревнях крестьянин за тем, в какую сторону повернет перемена...

А покуда базар жил своей жизнью. Старухи курдянки продавали мацун, кислое молоко буйволихи, и деревянными от старости, негнущимися пальцами обирали у горлышка кувшина остатки белой жидкости. Хлеб был дорог, и все вздорожало,— тихие куры со связанными вместе лапами, равнодушные к смерти, свисавшие у продавца головами вниз; белое буйволиное масло, обернутое крупным капустным листом; мед в кадушках, бараний жир, даже пряности за отдельною стойкой. Сколько их было тут, пряностей, еще неведомых на далеком Севере: красные стручки перца, мелкие, высохшие и связанные в ожерелье; плоские, овальные семена тмина, мягкие и черные; серые корешки имбиря, о которых говорил продавец покупателю, непременно взявши из кучки один корешок и начав его со вкусом прожевывать на языке, что корень этот, в союзе с натопленным маслом или бараньим жиром, излечивает от грудной простуды, кашля и насморка; сухая травка рехан, заготовленная с осени для того, чтобы сдобрить похлебку, а рядом — сухие стебли тархуна, мяты, толченый чабрец, красная пудра толченого барбариса, черный настой гранатного сока для шашлыка. Все это с каждым днем дорожало. У розовых луж возле прилавка, за которым ловко кроил мясник баранью тушу, дрались, рыча, собаки. Городские амбалы — носильщики с деревянной приступочкой за спиной — ловили покупателей. Поймав, они накидывали приступочку на спину, подхватывали на нее свою ношу и, поддерживая ее толстой веревкой, не торопясь, разбредались по городу.

«Нет,— думал обыватель, шагая по лужам за своим амбалом,— где-то там, в России, может, и установился новый порядок. Но у нас он не удержится. Верен народ старому обычаю. Силен обычай. И чем, скажите, плох этот обычай? Авось как-нибудь стороною обойдет время наши места...»

V

Не думая, не гадая, что в этот час утра к ним шествует Клавдия Ивановна (художник уже позабыл, как пригласил ее вчера в гости и даже нарисовал на бумажке дорогу в «мастерскую»), оба новых приятеля сидели на своих сенничках, собираясь идти на биржу.

Художник был хмур и заспан; хмель тяжело бродил в нем, воспоминания мучили его.

Рыжий давно уже встал, умылся в арычке и даже — к тайному раздражению Аршака — проделал все утренние упражнения шведской гимнастики. Он успел, впрочем, и в городе побывать, запасся хлебом, куском овечьего сыра, вскипятил воду в кастрюльке.

Но художник, хоть и прожил пять лет в Москве, не жаловал утреннего чаю, особенно с похмелья. И рыжий, сидя на сенничке, один прихлебывал из своей жестянки. Словно по сговору, оба молчали о вчерашнем. Словно по сговору, оба,— как если бы и не было вечернего пира у виноторговца,— продолжали свой прежний разговор об искусстве.

— Натуру вам нужно,— рассуждал рыжий, откусывая хлеб с сыром.— Приглядитесь к живой натуре. Меняется человек, меняется выражение человека. Тут и подсматривайте современность.

— Очень милый совет, если принять во внимание, что за натуру надо платить по рублю в час. Кроме того, натура, которую я оплачу, натура профессиональная — столько же изменилась, сколько эти вот камни. Она сидит с выражением, с каким у нас, в Строгановском, в двадцать первом году сидели. А может, и в десятом и в восьмидесятых прошлого века.

— Осенью я ходил пешком,— продолжал как ни в чем не бывало рыжий, отставив кружку,— всю страну исходил. Очень красив народ, когда наблюдаешь его в работе. Труд тяжкий, раньше сказали бы — каторжный. В Даралагязе видел, как землю от камней очищали,— очень похоже на выкорчевыванье. Подкапывают со всех сторон камень, ломом подпирают его, а он в земле отлежался, прочно сидит, как корень,— и когда поднимут его, земля гулко так крякнет, словно зуб вытащили. Этих камней сотни, тысячи на гектар. Я наблюдал выражение лиц. Нет чувства тягости у людей, вера в завтрашний день появилась, чувство, что на себя работают.

— А послушали бы, как советскую власть честят.

— Нет, они не честили. Или еще одно — грация. Народ удивительно грациозен, те, кто в горах живет. Видели вы, как они прыгают из арбы буйволу на ярмо и сидят там на корточках, спиной к дороге, лицом к арбе? Попробуйте так — не сумеете. Вот если б я был художником, я подсмотрел бы это новое выражение в народе, то, что еще словами нелегко объяснить, нужных слов, пожалуй, не подберешь, а художник без слов передаст, он зажжет это, поймает, задержит, покажет другому, заставит заметить, задуматься,— и это будет великое искусство. Будь только у меня талант, ручаюсь...

— За кого это вы ручаетесь?

В отверстии глиняного заборчика стояла, улыбаясь, Клавочка. Она была в восторге, что наконец разыскала их и что рыжий тут тоже. Кошачьи глаза ее с любопытством бегали по пыльному дворику, безглазой коробочке сырца, земляной крыше и веревке на дворе с висящими штанами в полоску. Вскрикнув от ужаса, художник выбежал из дому, как заяц, подхватил несчастные штаны и опять молниеносно удрал в дом.

— Ха-ха-ха,— хохотала Клавочка, закидывая голову,— вот чудак, чего вы стесняетесь? Чудак человек, да что, я штанов не видела?

Рыжий вышел навстречу, учтиво поклонился ей и отодвинулся, давая дорогу. Он указал на бревно жестом, каким придвинул бы мягкое кресло. Ветер вздымал пыль и колол щеки. Но гостей принимать приходилось на улице.

— Не совсем понимаю,— сказал рыжий.

В Клавочке так и метнулась странная, ей непонятная радость. Клавочка раздувала рваные ноздри. Вот он стоит перед ней, этот большой, спокойный, учтивый человек с разбитыми стеклами в очках, с рыжими вьющимися волосами над крутым лбом, и она опять видит его замечательный твердый подбородок, его крепко сложенные красивые губы и эти его руки — Клавочка видела их во сне, честное слово.

С дрожью обрадованного животного она выхватила из кармана сложенную записку и тотчас же отвела руку за спину.

— Чего не понимаете?

— Как вы могли нас разыскать?

— Да я бы с завязанными глазами нашла! Ведь он мне вчера план нарисовал, вы не видели,— она кивнула в сторону домика,— описал, куда идти, сколько шагов,

где завернуть, где повернуть. Рекомендовался знаменитым художником, обещал с меня портрет написать. Рисует он? Вы мне правду скажите!

— Товарищ Аршак Гнуни большой художник,— серьезно ответил рыжий.

Но художник уже вышел из домика, приглаженный, помолодевший. Глаза его сияли: он никак не ожидал. Он не верил себе.

— Клавдия Ивановна, Клавочка, молодец, что пришли. Умница. Я вас писать буду. На выставку попадете.

— Ну-с, я иду на биржу...

Но тут, прерывая болтовню лефа и кидаясь в сторону рыжего, Клавочка вдруг вытянула из-за спины руку с запиской.

— Куда же вы? Досказать не даете. Час целый хожу по камням, туфли топчу, а вы уходить? Муж мой вам записку написал, вот нате, читайте. И если вы только вздумаете уходить, я тоже уйду. Любезные какие. Дама к ним в гости приходит, а они!

Рыжий развернул записку. Он перечитал ее дважды. Начканц гидростроя, напоминая вчерашний разговор, просил «выручить и принять место архивариуса, место, конечно, маленькое, жалованье гроши, но если товарищ, насколько он понял, безработный, интересуется «электрофипакостью» — выехать надо сегодня же, дорога и подъемные»... Необходимость идти сегодня на биржу неожиданно отпала. Осталось собраться, на что рыжему требовалось пять минут.

— Муж велел спросить, как вас зовут,— ах, неужели вы соглашаетесь? В дыру такую на шестьдесят рублей? Я ужасно рада, если вы соглашаетесь. Оригинально как, имени-фамилии не знают, а на службу берут. Еще велел муж спросить, записаны ли вы в союз?

— Он агитатор,— сказал леф.

Пока рыжий читал записку, а Клавочка юлила, художник установил самодельный мольберт и, натягивая полотно, ходил вокруг Клавочки, приглядываясь к ней острыми глазами профессионала. Он чувствовал холодок и покалывание в пальцах — предвестники работы. Великое нетерпение овладело им. Шагая туда и сюда, клоня голову, заглядывая сбоку, спереди, сзади, он как бы брал Клавочку на прицел, не вытерпел, выхватил гребень с камушками, вскрикнул с восторгом «гадость какая» и назад воткнул.

— Ай! — рассердилась Клавочка.— Ведь этак сло-

мать можно. Только какой же он агитатор, если его на конторскую должность приглашают. Ну, что это, вот теперь он уходит куда-то и так и не ответил. Все вы с вашими глупостями!

— Клавочка, сядьте. Займите позу старого мира. Рыжего вы не трогайте, рыжий абсолютно для вас недостижимая мечта.

— Вот еще чепуха-то!

— Недостижимая, говорю вам, мечта. Миф, идеал. Вы на меня обратите внимание, я восточный мужчина... Сидеть надо терпеливо. Вся суть в терпении. Это еще что там у вас за дрянь на щеке, чем вы ее намазали, чернилами, что ли?

— Родинка,— неуверенно сообщила Клавдия Ивановна.

Рыжий ушел все-таки. Правда, через неделю она поедет к мужу и увидет его. Но сладостное возбуждение, похожее на наркоз, проходило, как тепло от солнца, зашедшего за тучу... Впрочем, настоящее солнце именно сейчас и выглянуло, залило дворик, татарский домик, Клавочку, ее каштановые, стоймя начесанные волосы и бархатную куртку художника, а вместе с солнцем неожиданно воротился рыжий.

Он даже как будто прибежал в странной поспешности. Бежать — это не шло к нему. Сунулся куда-то за стену. Художник подмигнул Клавочке, почесал себе углем щеку.

— На часы прибежал посмотреть!

— На часы?

За двориком на ровной площадке стояла в земле одинокая палка, и тень ее ходила по вычерченному кругу. Арно Арэвьян устроил солнечные часы, потому что других часов у них не было. Поглядев, он крикнул художнику: «Четверть двенадцатого»,— и опять ушел, на этот раз прочно.

Непонятные чувства мучили Клавочку. Солнечные часы доконали ее. «Независимый какой,— думала она про рыжего,— часы палкой устроил!»

— Но все-таки вы объясните, почему агитатор?

Художник вглядывался, отступал, пыхтел. Как всегда при работе, страшная сосредоточенность мешала ему взяться за дело, и он вынужден был отводить ее в десятке лишних движений, во вздохах, подобно тому как выпускают из машины чересчур конденсированный пар. Вот наконец главный толчок урегулированной энергии.

Пальцы бросили уголь, схватили кисть. Левой рукой искал художник нужный ему кусок разбитой палитры. Глаза приняли страшное выражение, губы приказывали: цыц, ни гугу, сиди теперь смирно!

Через четверть часа Клавочка, втянутая в круг его напряжения, ослабла и мелко зевнула. Ей не терпелось: что там такое нарисовал художник.

По смягченному и все еще очень бледному его лицу Клавочка видела: он счастлив и доволен. Теперь можно было поговорить. Не отряхивая мелких капелек пота и вдруг ощутив учащенное свое сердцебиение, художник как бы подбежал к старту.

Первая волна творчества, огромный пережитый подъем, сходила на нет, но уже он знал, что вещь будет и начало положено. Теперь его движения сделались более свободными, не страшно было упустить, потерять. «Я работаю, работаю,— мельком бросилось в голову,— в сущности, есть только это в мире. Как давно этого со мной не было. Слава богу, слава богу!»

— Ну-с, Клавочка, можете пошевелиться. Что вы такое — еще неизвестно. Выражения в вас, о котором рыжий сказал,— нема. Нету. Не может быть. Но зато наоборот получается. Старый мир готовится в атаку. Бдите, товарищи! Внимание! Осторожность! Здесь угроза. Банка с бактериями. Тоже искусство, черт побери!

— Я сидеть не буду, если вы такие гадости бормочете! Вы меня за кого принимаете? — вдруг всполошилась Клавдия Ивановна, густо, по-настоящему краснея от самолюбия.— Вы привыкли, наверно, со всякими натурщицами. Я вот мужу, Захар Петровичу, скажу, он вам разницу объяснит.

Она даже попытку сделала встать, хотя на бревне под солнышком было сейчас так уютно и успокоительно. Художник кинулся к ней, удерживая ее локтями. Она пофокусничала еще, повертела плечом, потом любопытство взяло верх. Ей захотелось узнать, сколько он зарабатывает. Нисколько? Вот новости! Значит, рыжий наврал, что он большой художник. Ах, этот рыжий! Странный мужчина. Одет плохо, пиджак, верно, на американке купил. Очки разбитые, полтинник стоит новое стекло вставить,— даже полтинника у человека нет. На улице с ним показаться совестно.

— Вы в рыжего врезались, Клавдия Ивановна, вот в чем дело.

— Я?! В рыжего?! — Она ахнула от возмущения и

тотчас же опрокинулась в мелком бисерном хохоте, словно рванула веревочку и бусы посыпались.

Хохот дал ему новые мысли. Кисть заплясала в руке, и опять страшные глаза, тяжеловатое сопение, опять шаг к полотну, шаг обратно, и эти творческие, переносящие взгляды от натуры к картине, от картины к натуре, человеческая камер-обскура, весь вздыбленный, взъерошенный, вытянувшийся магнетизм безошибочного жеста. Тише, тише, он заклинал и молил ее глазами. Вернее, он не обращал на нее никакого внимания. Его сопение раздражало Клавочку: как будто нельзя сдерживаться или сопеть тише, про себя!

Она вдруг вспомнила далекое прошлое, восемь лет, десять лет назад, свою первую беременность и первый аборт. В родильной, куда привели ее дожидаться, стояла женщина в рубашке. Она деражалась руками за железную спинку кровати и как-то странно изгибалась всем телом. Живот у женщины ходил ходуном.

— Рожает,— объяснила санитарка,— садиться не желает, всяк по-своему.

Худое лицо женщины блестело от пота, волосы спутаны и мокры на лбу, выражение лица рабочее, как вот теперь говорят — трудящееся, и она, изгибаясь туловищем, деловито-сосредоточенно сопела. Глаза ее скользнули по Клавочке, и видно было, что глядят мимо, во что-то внутри себя, в глубину производимой работы. Вот если б Клавочка умела мыслить и обобщать, она задумалась бы над этим сходством. Но ей было понятно только внешнее.

— Сопит, как роженица!

Досадно и как-то брезгливо сделалось Клавочке, как тогда, при взгляде на рожавшую женщину. Вот она ни разу, ни разу не довела себя, ни разу не допустила себя до родов,— фигура осталась и здоровье,— здоровья не занимать стать, а дураки трудятся, выламывают нутро и...

Тут художник, весь побледнев, скосил глаза на нее. Последняя тайна вещи, неуловимое выражение, сущность вот этой машинки с дырочками, музыка флейты, душа Клавочки, идея, содержание, название картины, дуновенье последней тайны предмета, установка на цель или на причину, атака старого мира,— все равно, черт побери, как назвать, все равно, лишь бы схватить это, перенести, оторвать ему голову!

Взъерошенный, как петух, почти прыгая, бешено воззрился художник на мелькнувшее в Клавочке выраже-

ние, и яростно забегала кисть по полотну, а мурашки побежали по позвоночнику.

— Ах, мать честная! — взвизгнул он вдруг тонким голоском, наивульгарнейшим тоном.— Довольно! Не переборщать!

Бросил кисть, схватил с мольберта картину и побежал в домик. Когда возвратился, вид у него был обмокший, распаренный, руки он вытирал тряпочкой, жирной от скипидара. Глаза сияли обыкновенным, всегдашним своим блеском, и шутом гороховым он захлопотал вокруг вставшей с бревна Клавочки.

— Великая вещь — натура, Клавдия Ивановна. Спасибо, что дали поработать. Кончу картину, конфеты вам поднесу.

— Вы лучше чего-нибудь посущественней поднесите. Конфеты и без вас купить можно!— практически рассудила Клавочка.

Глава четвертая
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

I

В облаках пыли подъезжали к вокзалам линейки, фаэтоны и деловитые комиссариатские машины.

Так часто ездили тут одни и те же люди с одними и теми же портфелями, что носильщики знали их всех в лицо.

Путь из столицы Армении в Грузию, почти единственный железнодорожный путь на всю республику, напоминал по бесчисленным отъездам и возвращениям, по шмыганью всех сортов людей, обходившихся без чемоданов и соскакивавших со ступенек вагона торопливо и рассеянно, словно сходили со ступенек жилья своего, путь этот напоминал отчасти железнодорожное следование портфелей и командировок между Москвой и Питером.

Изредка ругал какой-нибудь новичок несносный поездной состав: «Что же это у вас вагонов приличных нету?» Или же пожимал плечами на неуважение кондуктора к ночному времени, потому что входил кондуктор в любое купе и дергал за любой предмет, будь то нога или рука спящего пассажира, и как бы вносил с собою обязательную бессонницу, деловитую сноровку человека, выполняющего в служебные часы служебный долг. Оттого, может быть, и привыкли все следовавшие от одной

столицы к другой проводить эту ночь как бы на ходу и даже засиживаться до позднего часа в буфете, огороженном углу жесткого вагона с маленькими деревянными столиками не то пивной, не то погребка.

Под шум и дергание износившегося состава по износившимся рельсам здесь, в скудном свете красноватых лампочек, толстый буфетчик-грузин качался за стойкой, небогато украшенной пожилыми твердыми курицами, сыром, зеленью и всякого рода бутылками.

Посетители мало интересовались едою: в руках официанта непрерывно вертелся пробочник. За стойкой на полу для людей непьющих задыхался от пара толстый самовар. А мимо, с воем и свистом ночного ветра, со скрежетом вагонов, пролетали пустынные станции, как мячи, подкинутые к небу. Казалось, вокруг этих станций нет ничего: ни земли, ни людей, ни быта, и сваями, выносящими их над пустотой, проносились мимо столбы.

При посадке жизнь скапливалась у жестких бесплацкартных вагонов, где место доставалось с бою. В этот день, как обычно, туда кинулась, давя друг друга, волна пассажиров попроще, путешествующих с детьми, женами, корзинами, двугорбым курджином на плечах, мешками, жестяными бидонами и всем прочим скарбом.

Единственный мягкий вагон оберегался кондуктором, и пассажир в него шел крупной рыбой, не густо, без суматохи. На этот раз, впрочем, маленькая заминка произошла от деревянной дамской картонки, застрявшей на незначительное время поперек дороги; и покуда носильщик протаскивал ее в двери, а кондуктор, привстав на ступеньку, больше для виду подгонял ее ладонью, несколько пассажиров устроило необычный для мягкого вагона затор.

Тут были как раз те, кто ездит часто и по делу. Все они были знакомы друг с другом, и даже успели надоесть друг другу, встречаясь на всяческих заседаниях. Две-три фуражки инженеров, военная шинель, кепка, еще кепка, котелок; когда последний в этой кучке, ничем особенным не примечательный, защищая перед собой молоденькую женщину с саквояжем, помог ей подняться и прыгнул сам, торопливо приблизилась к мягкому вагону еще одна пассажирка.

В руках у нее были целых два чемодана, по виду не очень легкие. Короткая юбка открывала высокие, сшитые по-мужски, сапожки. Пальтецо на девушке раскрылось на ходу, и длинное полосатое кашне, распустив-

шись, почти касалось платформы. Уже она собралась вскочить и подбородком протянуть зажатый во рту билет кондуктору, как, поднявши глаза, увидела на площадке вагона пару: молоденькую женщину и взявшего ее под руку мужчину во френче, ничем особенно не примечательного.

В ту же секунду, даже четверть секунды, чтоб быть точным, девушка рванулась и от кондуктора и от поезда, но лениво прозвучавший в воздухе второй звонок заставил ее броситься, путаясь ногами в кашне и роняя плечи под тяжестью вещей, к отдаленнейшему вагону.

Она успела вскочить на ступеньку. Прижавшись головой к чугунным перилам, она, задыхаясь немного, втаскивала обе свои вещи на площадку и уже в этом отчаялась, когда чья-то рука приняла их сверху и помогла ей взобраться.

— Благодарю вас,— сказала девушка, подтягивая кашне вокруг шеи. Больше она ничего не прибавила, и по лицу ее было видно, что экспансивность не в ее характере, что эта странная поспешность и бегство из одного вагона в другой никак не вяжутся с ее привычками и что теперь от нее не дождаться ни одного из естественных восклицаний вроде: «Вот ужас, чуть не опоздала», «Насилу добежала»,— и тому подобное.

В жестком вагоне, набитом бесплацкартною публикой, было тесно. Не глядя, она уселась в первый же свободный угол, ногой прижала свои вещи и вдруг с горячей краской на лице как бы охнула про себя и крепко прикусила нижнюю губу. Так бывает с человеком, когда он неожиданно вспоминает что-нибудь очень стыдное и хочет отмахнуться от воспоминания, как отмахиваются от боли, махая в воздухе ушибленным пальцем. Прогоняя воспоминание, девушка даже головой тряхнула, даже руки к ушам подняла, словно собираясь взять себя ладонями за щеки, но тут же и опомнилась, и прежнее выражение, с каким она стояла на площадке, снова вернулось на ее лицо. Все эти быстрые движения ее внутреннего существа наблюдал с интересом рыжий.

Он сидел возле нее в своем дамском пиджачке и все в тех же спортивных туфлях, закинувши ногу на ногу, спокойно оперев спину о жесткую спинку дивана, обе руки по привычке в карманах. Его разбитые стекла, тускло поблескивавшие под косыми лучами заходящего солнца, опускались и поднимались вместе с качанием вагона. Когда девушка опустила приподнятые руки и,

совладав с собой, кинула взгляд на соседей, он отметил про себя: «Красивые брови».

Между тем девушка внимательно осмотрелась вокруг. Семейство джульфинских тюрков сидело перед ней. Две мусульманки, откинув ситцевые чадры, держали на коленях, у раскрытых грудей, полуспящих ребят. Классическая их поза — утомленно раздвинутые ноги, широчайшие юбки, складками свисающие между колен, тонкие смуглые пальцы, охватившие голенькие тела младенцев,— делала их похожими на иконы богоматери. Возле них, подняв ногу по-турецки на лавку, а другую свесив, старый азербайджанец мохнато глядел перед собой из-под бараньей шапки. Глаза у него были мечтательные, точь-в-точь как у армянского крестьянина, примостившегося внизу между лавками на двух крепко увязанных мешках. Из соседнего отделения шел запах лука и вина.

Дверь внезапно стукнула, и девушка так резко вздрогнула, что рыжий перестал качаться. Белокурый человек в коричневом свитере прошел мимо, посвистывая. Он не глядел ни на кого, но прищуренный глаз на рябоватом лице тотчас же привычно отпечатывал в памяти каждую мелочь: мешки под крестьянином, два подозрительно раздутых курджина на полке, корзины с яйцами, слишком уж четко выглядывавшими из сена,— это был агент ГПУ по борьбе с персидской контрабандой.

Когда он прошел, девушка вынула свой билет. Подержав его с минуту в руках, она, видимо, решилась, повернула голову к ближайшему соседу и на этот раз увидела рыжего, хотя солнце било ей в глаза. Его разбитые очки и внимательное лицо с добродушным носом что-то смутно ей напомнили. Сдвинув брови, девушка протянула ему билет.

— Я хочу поменяться с кем-нибудь, кто едет до этой станции. У меня мягкое место. Но мне по некоторым причинам надо остаться в жестком. Можете вы помочь мне?

Рыжий принял билет, и девушка видела, как он близоруко поднес его к разбитым стеклам. Потом, встав с места и заложив место небольшим сверточком, ни слова не говоря, пошел к соседнему отделению. Девушке было видно, а потом слышно, как он — левая рука в кармане, правая с билетом поднята — вопросительно, со смешною учтивостью обращался с предложением поменяться. Его голос все удалялся и удалялся.

Но вот он снова стал приближаться. В повторных вопросах его звучал некоторый юмор. Вернувшись, он пожал плечами, вынул левой рукой из кармана нечто вроде кошелечка, сшитого из клеенчатой тетрадной обложки, и опустил туда пальцы.

Девушка нетерпеливо глядела на эту большую, спокойную руку, золотившуюся в солнечных лучах. Рукава, слишком короткие, открывали молочно-белую, как у женщины, кисть. Он достал наконец свой собственный билет и молча передал его соседке. Билет был как раз до нужной станции.

— Так чего ж вы!

С удивлением она следила, как он приподнял свой сверточек и вытянулся, чтоб достать шапку. Фалдочки его странного, в талию, пиджачка смешно оттопырились, приподнялись, и ей стала видна облезлая металлическая пряжка на штанах. «Чучело какое!»— мелькнуло у нее в мыслях.

— Контроль сейчас пройдет,— вежливо объяснил рыжий, достав наконец шапку.

И направился к выходу.

II

С ловкостью акробата он проделывал путь, только что в обратном направлении пройденный агентом. Поезд был полон, набит до отказа. Один за другим перед ним раскрывались вагоны, и словно книгу о жизни своей страны, разделенную на главы, читал он, минуя их.

Если б сейчас вот, пользуясь случаем и насильственным ничегонеделанием, чья-нибудь терпеливая рука раздала всем едущим анкеты, а потом собрала их; и если бы грамотные, натрудив за себя карандаш, обслужили и тех, кто не силен в письме, чтобы не оказалось анкет незаполненных,— тогда статистик легко и просто поймал бы экономические закономерности, причину отливов и приливов людей из столицы в столицу, точную подоплеку того, что делается в этой стране, и того, что, быть может, не делается в ней. Но терпеливой руки и анкеты не было, и никто лишний раз не имел повода выругаться «бюрократом».

Только острые зрачки рыжего и его серо-голубые маленькие глаза прокалывали на булавочку своего внимания всех, кто ему встретился, да пересекший этот путь агент запомнил, что следовало ему запомнить.

Деревенские меняли место не в одиночку: семьи мусульман из пограничной полосы передвигались в Азербайджан; крестьяне из самых глухих местностей Армении, доев ячмень и выждав дорогу, расползались по местам, где нужны рабочие руки. Их крепкие спины, их буйволиные сандалии, сквозь дырочки подвязанные к ноге веревками, их широкие плечи, коричневые от загара лица и ястребом опущенный отощалый нос, в очерке своем хранивший своеобразное, хищное благородство,— это был особый тип армянина, горный тип, приближавшийся к курдскому. Опустив голову, сидели переселенцы на скамьях и на мешках, слушали, как любитель какой-нибудь бродил осторожно и медленно косточкой по тару, да смотрели от нечего делать на свои руки, то на поднятую вверх ладонь с ссадинами и набухшими темными занозами, то, повернувши ее, на загорелый тыл с миндалинами длинных ногтей.

Служащие с женами раскладывали на лавках цветные одеяла, выбрасывали поверх подушки, и перед ними на столиках качались медные чайники или же просто жбанчики с проволокой вместо ручки. Они ехали на стройки, на заводы, и тоже семьями, и весь свой домашний уют везли с собой на новое место, заполнив верхние полки и десятки мест в багажном вагоне.

По плацкартным вагонам пробегал в белом фартуке помощник буфетчика, насупив сросшиеся у переносицы брови. Он жонглировал стаканами чаю, щедро разбрасывая их с подноса по столикам и окуная в них оловянную ложку с потребным количеством сахару.

Прогуливались худощавые граждане с подобранными на манер английского короля брюками. Эти были одиноки — жены их оставались дома. Худощавые граждане наизусть знали все станции, им не надо было даже в окно взглянуть, чтоб произнести название, и следование их было самое незначительное: они останавливались в Эчмиадзине, Сардарабаде, Улуханлу, чтоб тотчас же, помахивая небольшим чемоданчиком, скрыться в недрах вокзала. Это были маклеры, путешествующие виноторговцы, подрядчики, неунывающие частники. Они стаями кидались в места, где расширялись вены бюджета,— шло крупное строительство, готовился пуск завода.

Рыжий все шел и шел, угадывая, где его будущие сослуживцы и кто едет вместе с ним на гидрострой. Но вот он попал в шумящий, как улей, вагон, где кондуктор,

посмеиваясь, прислушивался к своим пассажирам, заинтересованно и не без почтительности просунув голову в дверь.

Рыжий пробормотал «виноват», что, впрочем, с одинаковым успехом он мог бы сделать и перед деревянным чурбаном. Протиснувшись боком и пронеся свое ловкое тело сквозь тесноту людской гущи, он тотчас же поднял брови, говоря себе «а!».

Так и есть, это были неизбежные по всему пространству Союза счастливые птицы железных дорог, чьи регулярные перелеты скопом, чей радостный гомон и озабоченность, чьи руки, занятые листовками, книжками, брошюрками, блокнотиками, галдеж с повторением одних и тех же слов, охваченность могучим единством темы вставали, казалось, вскипающим перпендикуляром к монотонному продвижению колес, словно река, бегущая вдоль русла, вдруг переметнулась через него прямо вверх, над гигантской плотиной. Это была делегация, одна из бесчисленных, ехавшая в столицу Союза, на съезд, тоже один из бесчисленных.

Рыжий вспомнил чью-то прочитанную филиппику против обилия съездов, подписанную наркомом («Семашко»,— припомнил он), и протестующе сложил губы в улыбку. Протест относился не к съезду — к газетной филиппике.

На делегатов стоило посмотреть. Деревенского можно было тотчас узнать по принаряженности, по необычной для него чистоте и новизне одежды, торжественности и даже прямизне, с какой держался он возле других. И волосы его, подстриженные и помытые, лоснились чинно и радостно. Городской, напротив, щеголял нараспашку потертой ежедневной одеждой, заплатками, даже несчищенными пятнами. Он вез с собой профессиональную грязь на руках, жаргон производства или же учреждения, и его радость проскальзывала лишь в некоторой задорной, безобиднейшей, впрочем, заносчивости, Он брал опеку над деревенским. В стране, где крик о всеобщем обучении, как ответным эхом, встречался стоном: «Школу дайте»,— где не хватало учителей, помещений, учебников,— съезды были громадной школой для взрослого, фильтром, всасывающим, перерабатывающим и выбрасывающим население по местам с сотнею новых навыков, сведений, с единством полученного метода, с веселой зарядкой к труду, с расширенным горизонтом и неутомимой охотой поделиться всем этим.

Рыжий шел дальше, обуреваемый фактами своего вагонного шествия.

Но когда он вступил на новую площадку и перед ним, качаясь боками, лязгая, стуча железом, вырос новый вагон, окрашенный в желтую краску,— мягкий,— мысли его вдруг вернулись к молчаливой девушке с красивыми бровями.

От кого или от чего убежала она из мягкого вагона?

III

Здесь были молчание и относительная тишина. Из открытых дверей синеватыми облачками шел папиросный дым.

Мужчина, ничем особенным не примечательный, давно уже вошел со своей молоденькой спутницей в купе, где два молчаливых человека, один в штатском, другой в военной форме, макали носы в газету. Подняв голову, они вошедших узнали, и военный кивнул, а другой произнес товарищеское «ага» и даже «эге», что в применении к спутнице вошедшего прозвучало, как «ого-го, брат».

Очень хорошенькая, с прекрасным цветом лица, бархатистыми щеками, юная, плотненькая, она куколкой уселась у окна, тотчас же сняла перчатки, поглядела на ногти свои и, откинув борт сумочки, стала припудривать себе подбородок, с обезьяньей быстротой, кусочком розового бархата, глядя глазами барашка в откинутое зеркальце.

Мужчина, ничем не примечательный, сел рядом, вынул портсигар, взял папиросу, потом предложил соседям.

— В Тифлис?

— В Тифлис. Ее к матери везу!— легонький кивок в сторону женщины, подхваченный ею как приглашение. Он не сказал, впрочем, как и соседи не показали, что знают о вызове его в Тифлис, центр Закавказской федерации, со специальным отчетом. Смутное чувство тревоги, похожей на тошноту, прятал он и от себя, и особенно от жены, ничего еще не знавшей об этом.

Защелкнув плоскую пряжку сумочки и подвинувши на глаза букольки стриженых волос, осторожно, как если б они были искусственные, молоденькая его спутница наклонилась в сторону двух спрашивающих.

Ее вступление в разговор произошло так мягко и неприметливо, что даже и вспомнить, какими словами

и при каких обстоятельствах влился в беседу ее очень подвижной, открытый и дребезжащий от качания поезда голосок, не мог бы никто из сидящих в купе. Бойко, с большим облегчением для мужчин, хорошенькая женщина вела болтовню, а спутник ее курил папиросу за папиросой, с притворным наслаждением следя за собственными жестами заправского курильщика, помогавшими ему казаться спокойным. Но тревога прорывалась все же. Нервным жестом он закрывал и раскрывал сухо трещавшую между пальцами спичечную коробку, отводил левой рукой дым от себя и указательным пальцем правой руки беспокойно отряхивал папиросный пепел прямо под ноги. За спиной его по грязному бархату сиденья полз клоп.

И в наружности пассажира было что-то, напоминавшее клопа на бархате: сухощавый рисунок плеч и груди, военная выправка, тугой воротник, подпирающий суховатые, гладко выбритые щеки; суховатые волосы бобриком, стриженные аккуратно и с проседью на висках, впечатление жилистости, подобранности, авторитетности, и тут же распущенный рот, мясистый и бесхарактерный, и загнанная глубоко в глаза почти трусливая растерянность.

Но человек знал себе цену. Не глядя на раскрытую в коридор дверь, он видел, как публика из других купе, прогуливаясь по коридору, заглядывает сюда, будто невзначай.

Одни бегали глазами по его спутнице, другие разгдядывали его самого.

Негусто, бильярдными шарами, откатываясь и набираясь, они уже несколько запрудили коридор, когда еще одна примечательная пара, энергично проталкиваясь, прошла в купе.

Это были юркая личность типа секретарей и старый немецкий писатель, член одной из многочисленных иностранных делегаций, посетивших в этом году наш Союз. Юркая личность, проталкиваясь бочком, вела писателя в фарватере, и то, что она проплывает не для себя, а для оберегаемого на буксире беспомощного человека, делало ее нахальство законным и непреодолимым.

Бедняга писатель был стар, глуховат и до крайности утомлен. Его заграничный костюм говорил о бедности, скитаниях, неудачах у себя на родине. Лицо холерического типа, с мешками под глазами, болезненно раздражено: он устал ездить с вокзала на вокзал, из дома в

дом, устал от феерического перелета по деревням, городам, аулам, заводам, промыслам, где приходилось выслушивать и произносить речи, жать руки. Писатель был благовоспитан по-старомодному, он казался уступчивым; эта уступчивость удесятеряла и облегчала чужую словоохотливость, каждый думал, что убедил и подействовал, и чем больше думал каждый, что убедил и подействовал, тем более копил в себе писатель упорную ответную силу протеста — закон противодействия, одинаковый для мостов и для людского общения.

Юркий человек между тем очень мало заботился о настроении своего патрона. Он шустро ринулся подбородком в дверь, охваченный волнением: знакомить великих мира сего. Подхалимство — одна из бескорыстнейших способностей души человеческой! Нервно юля подбородком и как бы вторгаясь им в высшую для него сферу, юркий человек был сейчас бесконечно утешен и обласкан, как маленькие дети, принятые в игру больших.

Тучный немецкий писатель пожал руку суховатого мужчины во френче, соседи сдвинулись, и писатель сел против него внушительно и с уважением зараз,— так привыкли на Западе относиться к лицам официальным.

А из дверей, налезая на юркого человечка, уже стеной надвинулись соглядатаи: почтительно послушать, как и о чем будут разговаривать.

IV

Немецкий писатель говорил по-русски. Выговор у него был твердый и слегка шипящий — признак славянина. Человек во френче старался говорить по-немецки, и его глуховатый, носовой выговор, ударения на окончаниях даже там, где не нужны они, с головой выдавали азиата. Юркий, захлебываясь, переводил:

— Wenigstèns,— в нос, крепко обрушиваясь на последний слог,— венигсте́нс, по крайней мере хорошо ли показали вам нашу молодую социалистическую страну?— спрашивал тоном хозяина, но, правда, очень редко бывающего дома, человек во френче.— Венигстенс, по крайней мере видели вы наши фабрики, коньячный завод, новые кварталы? Едете ли вы сейчас в Ленинакан или на гидрострой?

Роль хозяина была исчерпана. Человек во френче откинулся на бархат и тотчас же стал нервно дергать ску-

лой и кончиком уха, борясь с мелкими клопиными укусами.

Юркий вставил, радостно давясь словами, что как же, объехали и видели, и еще поедут, если понадобится, но тут именно писателя и взорвали скрытые, накопленные им без выхода пары протеста. Тщетно силился он унять дрожь кончиков пальцев, искавших по карманам носовой платок. Говорить было неприлично, не принято, и все-таки он говорил, его твердый шипящий рот брызгал слюной, усы щетинились, и казалось, что слюна и усы пахнут чем-то не нашим, а заграничным, вероятно запахом второсортной берлинской сигареты.

— Я видел,— сказал писатель и тотчас же, подняв брови, оглядел всех, приготовясь к сопротивлению,— я видел отшень многой. Стройщийся дома, новый фабрики, постановку нового дела,— какова плавка базальта у вас, в вашей стране, нового, но и у нас, в нашей стране, старого.

— Какого же вы, геноссе...

Но поднятый вверх палец писателя остановил человека во френче.

— Я говорю, и я хотшу сказат,— начал писатель, отчеканивая,— вы, да, вы начали делать вещи и начали очень много говорить, что делаете вещи. Но мы очень давно и очень хорошо делаем вещи, и мы об этом молчим, мы уважаем свой время. Приезжая к вам, мы, европейцы, ищем видеть не вещи, а новый принцип, очень новый принцип, очень новый для нас принцип. И — о, что ж я могу видеть в вашей стране, господа, если вы разрешаете мне сказать правду? Я видел много-много мест, много-много людей. Но я мало видел уважений к человеку. Если мы мешаем работать, это есть неуважение к человеку. Вы собираете людей в разные места делать вещи, и что происходит потом? Потом у вас начинают,— подряд, подряд, rings herum,— мешать этим бедным людям, тормозить этим бедным людям, сердить этим бедным людям...

— Кто такой?— шепотом спросил в коридоре один другого.

— Синдикалист, кажется...

А писатель, волнуясь и портя речь, продолжал:

— Чем мешать? Чем тормозить? Чем сердить? Jawohl, я очень знаю чем. Я скажу очень подробно чем. Место работ есть фронт. Люди работ есть в данное время сольдат, Soldaten. Начальник работ есть в данное время командир. Первый вопрос: вы собирал людей,

надо им хороший фураж, хороший корм, иначе их энергия не даст максимум,— и везде я наблюдал ревизия, ревизия, ревизия кооператив, потому что везде был недочет, недочет, недочет кооператив. Лучше делать сначала хорошо — и после хорошо, чем сначала плохо — и после ревизия. Второй вопрос — кого слушать людям? Много хозяин — нет хозяин. Один бедный работник работает,— у него восемь, девять, десять командир: инженер командир, директор командир, рабочий комитет командир, рабочий инспекция командир, охрана труда командир, уездный исполком командир, рабочий печать командир, приезжие люди командир, тогда рабочий тоже хочет быть командир и пишет доносу Гепеу, кричит и делает себя выше всех. Один пугает другого, другой пугает третьего, работа в одну сторону, работа в другую сторону, и все идет плохо, все очень идет плохо, время, силы, деньги идет больше, чем надо. Я это видал, я это слышал. Есть правил: хочешь приказывать, учись слушаться. У вас все хотят приказывать и никто не хочет слушаться.

— До сих пор заграничная печать нас в другом винила,— снисходительно ответил человек во френче.— Выходит, по вашим словам, у нас анархизм какой-то дикий, а вовсе не диктатура. Полнейшая свобода, не так ли?

— Нет, о нет! Один другому мешает, и один другому боится.

В коридоре давно уже толкали друг друга локтями. Спецы, сняв пенсне, сконфуженно перетирали их,— спасительный жест, неизвестно с какого времени введенный в употребление. Один рыжеусенький, полноватый ехидно шептал соседу, пофыркивавшему в платок:

— Валаамова-то, а? Заговорила, а? Кормили, поили, возили...ха-ха! Хронометражистов забыл, ей-богу, забыл хронометражистов... Что? Ты не знаешь? На Волховстрое у нас... умора, потеха была! Прислали порцию несовершеннолетних с часами и карандашиками, стоят у тебя за душой, записывают: полминуты встал, минута поднял, сорок секунд чихнул, минута перевернул, две минуты глядел... Для чего ты говоришь? А что я в мыслях читаю, для чего? Хиромантия — для чего? Мало у нас фантазии, лишнюю ко...командную высоту выдумать?

Он хрюкнул. Пришепетывая, другой инженер, постарше, с элегантною выправкою путейца и очень алыми из-под пышных усов губами, почтительно поддержал немца,

обращаясь главным образом к человеку во френче:

— Нам в работе очень мешают приезжающие. Туризм нового типа. Это, конечно, может быть, хорошо, интерес не к природе и древностям, а к хозяйству, но это очень убыточно для государства. Мы обязаны всякому давать транспорт, предоставлять помещение, снимать нужного человека с производства, чтоб ходил и объяснял, и потом, знаете, каждый рабочий чувствует в приезжем начальство и обязательно начинает жаловаться, много выдумывает. Производительность труда в такой день, безусловно, падает, а таких дней у нас...

— Четырнадцать в неделю! — крикнули из коридора.

Странное выражение мелькнуло на лице человека во френче, мелькнуло и мгновенно исчезло. Но и в короткое мгновение поймал это выраженье военный. В ответ он пристально взглянул на человека во френче. Он не сводил с его лица своих глаз полминуты. Взгляд его говорил,— непонятно для посторонних, но явственно для партийца:

«Докатился! Уж не радуешься ли дурацким речам чужого? Репликам старых спецов? Уж не видишь ли тут подтверждения своим выводам — развинтившегося, вконец оторвавшегося, выдохшегося, чужим ставшего слюнтяя? Смотри, докатишься до потери партбилета!»

Человек во френче не глядел на военного, но он угадывал и ощущал этот взгляд по смутному томлению под ложечкой, по желудочному какому-то беспокойству; уж не раз за последние дни это физическое беспокойство посещало его, и врачи ссылались на «диафрагму». Военный повторил во взгляде только то, что он высказал ему вчера в кабинете. И то, что едет военный в одном с ним поезде и тоже в Тифлис, усиливало тревогу человека во френче.

Скользнув взглядом по соседу в штатском, он не встретил помощи. Сосед в штатском, закрыв глаза, спал или делал вид, что заснул.

Тогда он принял официальную позу; привычная сухость наметилась в сдвинутых бровях его и подобранных губах. Он вскинул глазами в окошко, поискал глазами на столике,— как бы ища журнала, или газетки, или чего-нибудь во внешней природе для перемены разговора,— жест, вполне обязательный для окружающих. Но в журнальчик углубилась его молоденькая, искренне скучавшая жена, а в окне проплывало сейчас, озаренное молодым месяцем, снеговое седло Масиса. И пустынней-

шая земля вокруг, истоптанная, с залежалым в морщинах снегом, дышала, казалось ему, в окно все тем же тревожным запахом. И крестьяне, провожая глазами поезд на станциях, глядели на него, как опять же казалось ему, пронзительным взглядом военного.

А писатель, не встретив ожидаемого отпора, уже снисходительно приводил примеры неуважения к людям, сильно напирая на то, что и сна не уважают у нас, и будят в поездах спящих людей то дерганьем, то стуком, то разговором, то даже метаньем вещей с верхней полки прямо тебе на голову... И, наконец, хлеб. Возвысив голос, он развел пухлыми руками.

— Такой большой страна, и хлеба нет!— Он даже советовать начал:— Дать свободу крестьянская инициатив,— иначе откуда же хлеб?

Военный сложил газету и всем корпусом повернулся к писателю. Но прежде чем он успел заговорить, как, видимо, собирался, в коридоре уже заговорил кто-то другой звонким и юношеским голосом. Это был рыжий. Он не заметил движенья военного. Он пробирался к дверям купе, учтиво прося извиненья. Руки он сунул в карманы — жестом оратора, говорящего на ходу. И военный, с любопытством скользнув по нем взглядом, дал ему говорить.

— Вы, простите меня, ничего не поняли в нашем новом мире,— начал рыжий.— Вы хотели увидеть у нас новый принцип. И все время глядели на него, не видя. Новый принцип нельзя увидеть старыми глазами, старым способом оценки. Вам кажется, мы все друг другу мешаем, мы не разграничили своих функций. Но как иначе построить новое общество? Как найти меру? Ведь вы ее не найдете в кабинете, не напишете на бумажке: ты, директор, оттуда — досюда, ты, рабочий, отсюда — дотуда. Это совершенно невозможно, ведь мы все — члены единого общества, мы еще мало знаем нашу практику, не накопили ее, не успели проделать. Заходя за пределы работы друг друга, мы помогаем найти меру, установить реальное равновесие. Вы еще сказали, что мы неэкономно относимся к человеку, к расходу его энергии. И вот этот товарищ инженер поддержал нас, привел пример с приезжающими в гости на производство, мешающими работе посторонними людьми. Он назвал это неверным словом — туризм; но это совсем не туризм. Это опять новый принцип — один из видов всеобщего обученья. Мы, правда, теряем в одном. Но мы выгадываем в другом. Эти

миллионы новых интеллектов, которые пробудила революция, подняла, активизировала,— они хотят знать, знать то, чему ни в какой школе не научишься, да и не хватит школ. У нашего Наркомпроса — Наркомата просвещения — огромный бюджет; в вашей стране о таком бюджете и мечтать не могут, но он для нас катастрофически мал по сравнению с тем, что требуется. И вот каждое предприятие несет у нас накладной расход на обученье, на просвещенье масс. Заводы, фабрики, стройки — объекты такого бесплатного наезда. Массы учатся в них, как в музеях, в библиотеках, в школах. И руководители наши, инженеры, хозяйственники, как и рабочие и крестьяне, тоже ответно учатся, должны учиться от приезжих, от их присутствия, их критики, их похвалы, их требовательности.

Он передохнул немного и закончил:

— Вы вот сказали: Европа делает вещи дешевле и лучше нашего. Да, но ведь Европа делает вещи, а мы делаем вовсе не только вещи! В этом вся суть!

— Не вещи? Так что же вы делаете?

— Мы делаем *плановую* вещь, уважаемый херр! Разница? Разница огромная, колоссальная. На каждой фабрике, на каждом строительстве, в каждом производстве, которое вы у нас сейчас посещаете, выделывается, или обрабатывается, или строится вещь плюс наше новое общество, плюс профсоюз, плюс броня подростков, плюс клубная работа, плюс производственное совещанье, плюс контроль, плюс учет, плюс план! Вещь плюс план — это сверху, вещь плюс контроль — это снизу. Вам кажется — десятки хозяев, но вы ошибаетесь: десятки факторов, а не хозяев — и единая мысль партии. И то, что каждый фактор расширяется за счет другого, это и есть борьба за меру, борьба за систему, борьба за новое общество. Вот новый принцип, который вы искали и не нашли,— хозяйство без собственника! Не десятки хозяев, а десятки факторов, и люди, как их представители,— увлекательный мир, а вы посетили его и не увидели!

Он умолк неожиданно, как начал, и, словно смутившись, отступил назад, в коридор.

— Спор двух беспартийных,— точно формулировал в дверях тот, кто раньше на взгляд определил немца: «Синдикалист, кажется». Но молодежь в коридоре, поддавшись заразительной интонации рыжего и блеску его очков, теснее налегла на плечи равнодушных, и красные

щеки, блестящие глаза, полураскрытые рты поощряли: так его, дуй его, крой по-нашенски!

Тут и вступил в разговор военный. Рыжего он слушал в пол-уха, сразу же, с первых слов его угадав приблизительно все, что тот сможет сказать. А мысли его, в продолжение всей речи рыжего, были заняты иностранцем. Он видел отлично, что вспышка писателя, вызванная усталостью и непривычно быстрой сменою впечатлений, имеет на самом деле другие, более глубокие корни. Писатель, видимо, слышал и про правый уклон, и про вредную бухаринскую теорию врастания кулака в социализм, и про споры о пятилетнем плане, на составленье которого дана была директива три с лишним месяца назад, в начале декабря, на пятнадцатом съезде партии. Может быть, знал писатель и о других вещах — вредительстве группки инженеров в Донбассе, связи их с бывшими хозяевами, за спиною которых действовали некоторые государства. И, уж во всяком случае, знал он о трудностях с хлебом, о сопротивлении кулаков, об отказе их сдавать товарный хлеб по государственным ценам.

Военный не был большим экономистом, не был и очень ответственным работником. Но он был честный член партии, страстно ей преданный, и ненависть поднялась в нем на того, кто сидел сейчас, отводя глаза в сторону, перед ним в купе, на ничтожного человечка, перебежавшего в такую минуту в лагерь трусов и отступников. «Слушай, слушай,— думал он про себя с презрением,— слушай, как немецкий попугай повторяет словечки мерзавцев. И кто информировал этого попугая — у нас или за границей?»

Но когда заговорил он, и следа нельзя было подметить в его спокойном, простом лице этой мгновенной вспышки ненависти.

— Вы, должно быть, знаете, товарищ, что мы начинаем сейчас пятилетний план строительства социалистической индустрии в нашей стране? Это будет огромное, не виданное нигда в мире строительство. Мы уже строим, построили мы немало. И при таком размахе промышленности, намного увеличившем рост городов, при таком развитии социалистической индустрии — наше сельское хозяйство опирается все еще главным образом на мелких единоличников-крестьян. Артелей у нас, где мы можем применить большую технику, трактор, комбайн — и в результате собрать больше зерна,— артелей у нас еще очень мало. В стране нашей работает сейчас на

земле не меньше пяти миллионов сох,— заметьте, не плугов, а ветхозаветных сох. Может ли это удовлетворить нас хлебом? Нет. Что надо сделать, чтобы мы могли двинуть вперед сельское хозяйство так, как двинули промышленность? Выход один. При социалистической промышленности должно быть и социалистическое сельское хозяйство, вместо маломощных единоличников должны быть сильные и мощные коллективные хозяйства, где будет место для трактора и комбайна. Тогда мы получим и хлеб в нужном количестве. Именно в эту сторону и направлены наши усилия. А вы предлагаете назад пятиться, к отсталому кулаку, к старому кулацкому хозяйству? Разве совместимо это: социалистическая индустрия, передовой рабочий, хозяин своих заводов — и рядом кулак, темный частный собственник? Несовместимо, товарищ. Совет ваш никуда не годится. Приезжайте к нам через два-три года — увидите, как много будет у нас хлеба. Изучая нашу страну, одно надо крепко помнить: нам трудно, потому что мы идем вперед. Трусов, которые нас назад тянут, мы сметаем с нашей дороги. И потому, что мы вперед идем, с каждым шагом мы, наша страна, становимся все сильней и сильней.

Он умолк и подождал, посмотрев вопросительно на писателя, захочет ли тот ответить. Но немец, уже порядком утомленный и перенесенный вдруг речью военного в атмосферу слишком большой серьезности, не захотел отвечать. Он улыбнулся гармонической улыбкой равнодушного, в сущности, человека, мало уже во что верящего и не способного ни очень защищать свое, ни очень отвергать чужое, и прекратил спор, как останавливают велосипед: соскочил и как бы пошел с ним рядом.

— Куда мы теперь будем, что мы теперь смотрим, геноссе Влипьян? Гидрострой? Хорошо, очень хорошо. Обещаю вам (наклон лысой головы в сторону рыжего), обещаю вам, любезный доктор (о, уж конечно рыжий был доктором философии!), посмотреть вашими глазами на гидрострой плюс новое общество! И обещаю вам (наклон в сторону военного) приехать через три года покушать хлеба из ваших «колькозов»!

V

Пассажиры медленно разошлись. В коридоре опустело. С грудой тюфячков и подушек прошел старый седой проводник, которого все называли Акопом. Но и Акоп

звал многих своих пассажиров коротко, по имени, переходя на теплое армянское «ты». Он и сейчас стоял все время вблизи дверей, с живейшим интересом прислушиваясь к разговору, и вернулся к делам своим лишь после прощальной реплики немца.

Этот старый, сутулый человек в серебряных очках с ваткой на переносице служил здесь, кажется, со дня основания дороги. Он мог бы рассказать о старой забастовке александропольских — ныне ленинаканских — железнодорожников, мог бы подробно ответить, кто и куда едет в его вагоне и по какому делу едет. Он знал в лицо чуть ли не всю республику. И когда восхищенная молодежь, обступив его, стала спрашивать:

— Дядя Акоп, кто это сейчас так хорошо говорил — в военной шинели?

Он с таинственной осведомленностью, заведя вопрошателей в тамбур, назвал имя и добавил:

— За назначением едет.

И тут же по адресу человека во френче, понизив голос до шепота, сообщил, подняв свои очки на лоб и приблизив губы к самому уху любопытного,— что «у этого дела плохи, очень плохи».

Агент в коричневом свитере высунул голову из купе — он оказался соседом рыжего — и крикнул:

— Акоп, неси постель!

И старый проводник заторопился из тамбура.

Рыжий, молчаливо пришедший в купе, молча сидел на месте. Час был поздний, вечер сгустился за окном в чернильно-черную ночь, увял в облаках нежный ободок полумесяца, и только звезды были видны, если прижать к стеклу лоб и долго глядеть в темноту.

Он привык рано ложиться, и так как место его было нижнее, терпеливо ждал, покуда Акоп расстелит на верхней полке постель для агента и тот заберется к себе. Но агент поставил на столик бутылку, развернул салфетку с сыром и яйцами, вынул сложенные вчетверо листы белого плоского хлеба, лаваша, соленые огурцы и зазвал рыжего, а потом и Акопа к столу.

Акоп звал агента тоже по имени, Мишей. Крохотный металлический стаканчик Миши по очереди обошел всех троих.

— В нынешний год делегаты часто к нам ездят,— начал разговор Миша, похрустывая огурцом в зубах,— были настоящие, рабочие, дружеские к нашему государству. А этот писатель ума не нажил. Пустой.

— Пожилого человека не надо бы взад-вперед таскать,— отозвался Акоп.

Рыжий молчал. Он рано встал, весь день бегал, и ему неодолимо хотелось спать. Но спутники его привыкли к вагонной бессоннице, они сделались частью ее, и сна не предвиделось.

— Куда путь держите?— полюбопытствовал Миша и, узнав, что на гидрострой — служить,— не отставал:— Хорошая, значит, служба,— прогоны в мягком. Рублей, верно, на триста?

— Нет, я свой жесткий билет на мягкий обменял.— Арно Арэвьян замялся. Ему не хотелось говорить о незнакомой девушке.

Но тут вмешался проводник Акоп. Хитрая, всезнающая улыбка тронула его губы. И неожиданно сон прошел у рыжего, ему вдруг стало интересно, как в раннем детстве. Акоп, не торопясь, заговорил:

— Не иначе — с Малхазян обменялись. Я ее видел. Она в мягком ездит. Она совсем было вошла, билет мне протянула, но тут...

Тррах — шлепнулась с верхней полки пустая бутылка; замигал, как от удара, электрический свет,— это дернули со всей силой колеса. Стаканы на столике опрокинулись, остатки вина струйкой потекли вниз. Поезд остановился.

— Это чего? Это затормозили на полном ходу,— забормотал Миша.— Вы меня подождите, я узнаю! Сбегаю!

Он круто побежал по коридору, пока рыжий рукавом вытирал окно, запотевшее от дыханья. Было непроглядно темно.

Говорят, изобретут люди новые двигатели — без шума, свиста, копоти, пара. Говорят, придет новая, стеклянно-чистая пора, когда раскинется небо, протертое, как оконное стекло на пасху,— и контуры вещей, краски их обозначатся с невиданной ясностью и яркостью. Ведь сошла же многовековая копоть с тучных соборных куполов наших и с золоченых крестов в эпоху голодного безвременья, когда стояли фабрики, не дымили и не коптили воздух. Но мне, признаться, жалко будет век громкого дыхания, век копоти и пара. Жалко огромных труб, чьи колоннады говорят о рабочем районе, жалко дымной акварели неба, тронутой сизью, и тревожных городских закатов, замутненных копотью, а еще больше жалко пронзительных ночных гудков паровоза, маневрирующе-

го по путаным колеям и отводящего паровую душу в исступленном, разобиженном, будящем крике,— всегда на á-á-á.

Так или около того думал и рыжий, расплюснув нос на стекле. Весь этот мир уже отходящей в прошлое техники лежал сейчас за стеклом, будя черноту светом и звуком. Армянское нагорье, широкая степь Ширака еще не были пройдены, еще предстоял впереди буйный ветер холодного Ленинакана, за которым волчьими стаями скалились пограничные горы.

Еще дальше путь должен был вступить в ущелье, прославленное на весь Союз красотой и особыми трудностями, с какими его прокладывали.

Инженеры в бесчисленных докладных записках писали об этом ущелье: «Перегон с тяжелым профилем». Красивые слова у техники! И правда, в прямом своем смысле, профиль у этого ущелья, изрытого Бамбак-Чаем, был красив тяжелой красотой, как иногда у воздушной красавицы отяжеляет лицо нос с горбинкой. Рассеченные горы лягут справа и слева от него кровавыми ломтями базальта. Низкорослые деревца побегут по скатам, плоская армянская крыша исчезнет, ее сменит треугольник и черепица. Торжество инженерного гения — полотно — там свивалось и расплеталось змеей, вползая в жерло туннелей, возносясь акведуками, пролетая кружевным мостом. Таков был Лори-Бамбакский уезд Армении, о котором мечтал Арэвьян, разглядывая непроглядную темь за окном.

Он видел, впрочем, как бегали черные фигуры людей, мигая фонариками. Безостановочно стучал под вагоном молоточек, пробуя его кости. Бам-бак, бам-бак.

Он схватил шапку и вышел вслед за другими пассажирами.

Поезд стоял почти в воде; с неба текло. Не разобрать было выражения лиц, освещаемых фонариками, но в мундире и пуговицах, в сапогах и запахе, в повадке и в опыте было у всех суетившихся профессиональное единство. И вся дорога, поблескивавшая желтыми точками сквозь мартовскую слякоть, раскрывала в этой мокрой ночной росе отрывистыми словами, фигурами смазчика, сцепщика, машиниста, в раскачивающейся их походке и в едкой машинной моче, окипи дегтя, керосина, отработанного пара — особый железнодорожный мир, мир вечной бессонницы, во всей необыкновенной его деятельности. Что-то случилось, встревоженные пас-

сажиры уже знали — случилась катастрофа: впереди товарный наскочил на товарный, очищают полотно. Особое дорожное сладострастье, какое охватывает человека, когда случается что-то, мотало пассажиров в темноте от вагона в вагону, наливало их голоса беспокойством, и оно же, вдруг охватив рыжего, понесло и его к отдаленному жесткому вагону. Но тщетно ходил он по лужам взад и вперед и заглядывал в темные окна — девушки с красивыми бровями нигде не было видно.

Продрогнув в своей «амазонке», рыжий не без грусти повернул обратно.

— Это, это черт знает что такое! Да вы поймите, третий раз за месяц!— Частник, с отвороченными на манер английского короля брюками, приподняв воротник, стоял в луже и негодовал.

Из темноты вынырнул мелкий взъерошенный человечек с губами, отстоящими друг от дружки, как плохо подобранная крышка; он принялся объяснять:

— Дежурному по станции в телефон звонили, спрашивали: готовы принять осьмнадцатый нумер? А дежурный говорит: «Готовы»,— а сам спать пошел!

— Ах, скажите пожалуйста, спать пошел!

— Да это бы ничего,— вмешался смазчик,— это бы вовсе ничего. Стрелочник не дурак, стрелочник слышать должен — идет поезд прямо на запасной, где у нас четырнадцатый стоит. Ему бы стрелку-то, стрелку перевести. Стрелку перевести — и все ничего.

— Так чего же он, стрелочник!

— Стрелочник?

— Ну да, чего же он, спрашивается?

— А стрелочник... Не было его, стрелочника, на месте. Стрелочника не было, и не слышал.

— Ужас!— Частник так и вскидывался коленками, брыкаясь от не разделенного ни с кем негодования.— Сам нарком проезжал, ревизию делали, и вот так последствия!

Темная фигура кондуктора подвинулась ближе. Усищи кондуктора зашевелились. И не понять было, говорит ли он всерьез или дразнит испуганного частника.

— Дак что стрелочник!— Бас его прозвучал внушительно.— Что это он, дурак, заладил: стрелочник, стрелочник. Машинист на паровозе имеется? Имеется. Глаза у машиниста есть? Есть. Машинист видит — семафор занятый путь показывает,— тут тебе затормози, останови машину, и обошлось дело.

— Ну и что же машинист?— с неопределенной надеждой вопросил частник.

— Машинист?

— Да, дядя, машинист, я спрашиваю.

— А машинист,— кондуктор сплюнул в сторону и разгладил рукой усы, эдак ладонью вправо и ладонью влево,— машинист, мил человек,— подумав, ответил он,— машинист выпивши был, вот тебе и машинист.

Неизвестно, какое восклицание было в запасе у слушателя. Заглушил его пробегавший мимо черный, как уголь, истопник. Остановясь, чтоб заткнуть вылезшую из сапога штанину, он услышал речь кондуктора и решил внести свою посильную долю в импровизацию:

— А машинист, один, поезд затормозит? Затормозит, спрашиваю? На то кондукторская брихада имеется. Закон — кондукторской брихаде под уклон во все глаза гдядеть. Если чуть что, кондукторская брихада за тормоза хватается.

— Ну,— впился в него частник,— ну, так чего же?

— А то и чего,— набилась, я тебе скажу, кондукторская брихада в один вагон да и задрыхла!

— Вай, это можно ума лишиться!— взвизгнул вдруг, теряя свою интеллигентность, частник.— Вай, что вы говорите! И мы едем, кушаем, пьем, спать ложимся. И у нас дома семейство! И возможно — так всегда поезда ходят: дежурный спит, бригада спит, машинист пьян, стрелочник гуляет...

Он замотал руками и наткнулся на рыжего.

— Вай!— вырвалось у него снова.— Вы слышали?

Рыжий взял его под руку и повел вдоль полотна; его чуть знобило от свежести и от одиночества, оттого, что вставали из мокрой тьмы эманации невыполнимых, необъяснимых желаний.

— Слышал. Они разыграли вас. А эти аварии — они до тех пор, пока... (он оглянулся, поднял правую руку и широким жестом раскинул ее) пока тут у нас всего четыре состава ходят и один запасной путь. Срок дайте, удесятерим составы, нанижем поездов, дежурный каждые пять минут слышать будет: «Принимайте номер такой-то, принимайте номер другой»,— когда времени не будет спать, у нас крушения исчезнут, из памяти испарятся...

Частник тревожно вслушивался, прижимая рукой бумажник.

И скоро заснул поезд, а наутро пошел, и, как ни в чем не бывало, зажило полотно своей жизнью.

Опять всасывал каждый производственный участок часть пассажиров: прыгал партиец в сапогах, вылезал с портфелем хозяйственник, железнодорожники с простоватыми лицами, с копотью в носу и на пальцах, вынимая из карманов пакетики или конверты, адресованные по начальству, относили их вместе с привязанной за спиной посылочкой,— постоянная и бессмертная «оказия».

Инженеры и техники, горняки, узнавая друг друга, здоровались. К ним с улыбочкой — отблеском схваток былых и будущих — подсаживались профсоюзники. Эта публика следовала дальше рыжего — на станцию Аллаверды, где черными извилинами труб, рогами допотопного мамонта, на фоне крутых, еще оснеженных гор, вздымался медеплавильный завод.

Словом, все потекло, как надобно.

И только агент не успел дослышать, с кем рыжий обменялся билетом. И только рыжий не успел дознаться, от кого или от чего убежала из мягкого вагона девушка с красивыми бровями.

Глава пятая

ГИДРОСТРОЙ

I

Только к самому вечеру подошел опоздавший поезд к станции. Никто приезжих не ждал, и мосье Влипьяну пришлось раз десять забежать, крутя головой, к начальнику станции, припугнуть телеграфиста крепко составленной, то тут же назад отобранной телеграммой, горячо поговорить с молчаливыми крестьянами, обладателями подвод, а писатель, устало морщась, сидел в это время, раскинув плед на коленях, в грязном станционном помещении и тоскливо думал о несварении желудка, нарушенном режиме и необходимости пить слабительное.

Не дожидаясь и не расспрашивая, рыжий между тем шел по Чигдымскому шоссе вверх, делая чудовищно большие шаги. Он забирал пространство ногами, как легкие зигзаги мяча берут его под собою, отмечая точки касанья упругими взлетами. Кентаврическое наслажденье движением, словно едешь сам на себе, как на лошади, было одним из приятнейших для Арно Арэвьяна.

Не видя людей, он не стыдился быть нежным. Его губы сложились в смешную и умильную гримасу. Маленькие глаза под разбитыми стеклами сияли нежной и сочувственной радостью. «Звездынька,— думал он, нелепо и чувствительно сокращая слово, вскинув разбитые стекла очков кверху,— милая, миленькая...»

Вечер сиял тысячью звезд в небе, контуры гор стали отчетливы, воздух налился глубокими ночными запахами, пахло вокруг все, что днем неощутимо для пешехода, накрытое дорожной пылью,— гниль в овраге, грибки на древесной коре и самая эта кора; но гуще и слаще всех пахла земля органическими испарениями, сотней частиц, разминаемых под ногами и ютящихся между крепкими песчинками, подобно капелькам меда между твердыми стенками воска. Все это знал и любил рыжий, чувствовал с благодарностью, потому что он был одинок и неразделенное наслаждение природой получил в дар вместе с одиночеством.

Впрочем, уже на втором повороте одиночества его стало условным. Мертвых дорог не бывает, и Чигдымское шоссе жило в этот час своей жизнью.

Тихие копыта волов ступали из темноты — жестом, каким ходишь шутя на руках,— осторожно пятерней пальцев; их головы мотались темными пятнами из-под ярма. Тонкий силуэт кнута, стоймя воткнутого в сено, возникал вдруг на зеленоватом небе. Кучер спал, уткнувшись лицом вниз; дыханье его, ночной сон человека, входило в глубину ночной симфонии как необходимый ее спутник. Еще сильнее вставал сон над круглыми темными кучами обозов, припертых к горному откосу; неподвижность их наливалась высоким смыслом покоя: оглобли были закинуты на козла; ярмо уткнулось в землю, колеса осели, припертые щебнем; распряженные волы спали в позе египетских сфинксов или жевали тихонько, прислонясь к кустарнику. Шел мимо неожиданный человек, не разглядеть было, кто и какой он. Близость его в этом ночном мраке воспринялась рыжим почти физиологически,— как, не видя и не глядя, чувствует собака собаку.

Доверяя больше ногам, чем глазам, Арэвьян уверенно сокращал дорогу и догнал, уже беря последний подъем на вершину каньона, чигдымскую наемную линейку. Тройка сытых лошадей везла ее, позванивая бубенцами; над пассажирами, в тесноте сидевшими спина к спине, болтался высокий балдахин «крытого верха», и кучер

кричал «нно!» таким резким, крикливым голосом, что даже ночь вокруг показалась светлее.

Среди пассажиров была и Марджана, закутанная в кашне, с прижатыми к бокам локтями. Рыжий видел на станции, как она озабоченно переговаривалась с молодым парнем и как понес парень куда-то ее вещи, а сама она легкими шагами, спеша за ним, переходила мостик.

Он выступил из темноты и поднял руку.

— Место есть?

— А куда тебе?

— До гидростроя.

— Садись.

Линейка была полна, но рыжий прыгнул на подножку, подняв над головой свой сверточек, и, не дожидаясь ворчанья пассажиров, ловко втиснулся между девушкой и невидимым человеком в брезенте. Марджана, пуская его, приняла руку, и теперь он сидел с ней бок о бок, занеся руку над плечом ее, в неудобной и напряженной позе.

Ему хотелось, чтобы она признала его и заговорила первая. Но Марджана молчала. Между тем человек в брезенте сделал попытку зашевелиться. Он высунул из капюшона голову. Он-то уж, во всяком случае, признал рыжего, признал бы среди миллиона людей.

В темноте его усилия заговорить оставались незаметными, но возня локтей раздражала соседей. Этот парень был худ, брезент его выпачкан бензином, руки непропорционально велики для туловища. Если б было светлее, по некоторым другим признакам — копоти в носу, черным ногтям, воспаленной глазной сетчатке и обветренности кожи на скулах — опытный человек угадал бы в нем шофера или автомеханика.

— Я извиняюсь...

Классически неграмотное слово потухло, как плохо зажженная спичка.

— Послушай, придержи локти,— заворчал сзади толстый чигдымский гражданин.— Ты не один едешь.

— Я извиняюсь, вот они должны меня помнить. На бирже, третьего дня... они речь произнесли.

Марджана вспомнила тотчас же слова своей тетки о смешном рыжем человеке на бирже. Она внимательней взглянула на соседа и встретила блеск его разбитых очков. Обращаясь к толстому гражданину, человек в брезенте между тем продолжал:

— Хорошо они про машину сказали. Шофер я... Эх,

едем вот на трех лошадиных силах, сидим боком, а была бы машина, да руль в руке...

Прерывая его, сверкнули из темноты два ярких глаза автомобиля. С петушиным ревом прошла мимо эластичной, бесшумной лакированной крысой, вильнув кузовом, пустая машина; это за писателем послали из гидростроя на станцию.

— А был бы руль в руке...— он продолжал говорить, раздражая соседей. Усилие слушать мешало ночной тяжести их тел, мешало покою, дергало слух. Но каждому лень было сказать: «Замолчите». Беспокойный шофер сообщил о безработице, смерти жены, непорядках на бирже, чигдымском тесте, о различных системах автомобиля, о службе в России.

— Вы тоже на гидрострой?— тихонько спросил рыжий соседку. Та наклонила голову.

— Жену вот забыть не могу,— упорствовал человек в брезенте.— Еду, гляжу на звезды, ночь хороша, и думаю про себя: где она, где жена моя, есть ли что на том свете или правду говорят большевики: религия — дурман. Трудно, очень трудно потерять близкого человека. Скажите мне,— продолжал он, настойчиво поворачиваясь к рыжему,— как, по-вашему, есть личное бессмертие или полное исчезновение, был человек и пропал человек?

Рыжий ответил:

— Разве непременно нужно личное бессмертие, чтоб не пропал человек?

Спины ехавших сзади шевельнулись — людям стало интересно слушать.

— И в каком возрасте должен он получить это бессмертие? Ведь он себя одинаково любит и ребенком и стариком. По-моему, если уж представлять себе вечность, так в виде...

— Ну?

Рыжий помедлил немного, он задумался.

— Бессмертие — это всеобъемлющая память,— сказал он,— отложи себя в мире, отработай честно до предела, и это не может исчезнуть, и память человечества навеки тебя удержит,— если не сразу, то постепенно придет к тебе. Ведь это факт: миллионы лет прошли, а мы постепенно восстанавливаем даже работу моллюсков, мы историю земли вспомнили, ихтиозавра вспомнили. Неужели работу человека не воскресит память? Ведь она же в материи отложится, эта работа.

Но рыжего не поняли на линейке, и человек в брезенте, вздохнув, стал смотреть на звезды.

Линейка остановилась. Извозчик слез и, подойдя к нагруженному кузову, молча отвязал багаж.

Марджана расплачивалась, и рыжий нащупал в кармане монетку. Им предстояло идти с полверсты вниз, вещи Марджаны он связал и перекинул через плечо.

Девушка же взяла его сверточек. Без любопытства и не бунтуя, принимала она это совместное путешествие, и пальцы ее равнодушно лежали на свертке, не прощупывая сквозь бумагу, что везет странный рыжий человек в пакетике. Он легко понес тяжелые саквояжи, ступая за нею большим и сильным телом. Он молчал, чувствуя молчание ее как обязательство. Он только раз, когда она оступилась, быстро и крепко взял ее под руку и тотчас выпустил, почувствовав неприязненное одиночество этой равнодушной и неохотно отданной руки. Так они шли, все ускоряя шаги, почти бежали на белый огонь городка. Первый барак наплыл на них квадратиками освещенных окон. Тогда девушка остановилась и взяла свои вещи.

— Вы сказали про память. Но память — проклятая вещь, проклятая,— внезапно произнесла она, подняв глаза на внимательные стекла спутника.— Много есть такого на свете, о чем лучше не помнить. Фальшь, например. Ну, прощайте. Сюда я только на сутки, больше, может быть, и не увидимся. Благодарю вас.

II

Первый строительный участок расположился в три яруса по косогору.

В самом низу, где шумела речка Мизинка, работала сейчас третья смена, и оттуда шел яркий свет; повыше темною тенью стояли бараки, плохо пригнанные, слабо освещенные; красноватые лампочки здесь часто выкручивались, вызывая грозную ругань коменданта. Заглянув в окно, вы могли бы увидеть полутемные углы общежития, койки со свернутым в трубку одеялом, одиночество голых, ничем не украшенных стен, полы, еще влажные от мытья, железную печку с обугленным поленом и возле — недосушенный сапог или обмотку. Здесь жили сезонники, их холостяцкий быт пахнул недоеденным куском ячменной лепешки, принесенной с собой из деревни, и тощая курица заходила сюда со двора, вертя

головой, хотя оставляла курица больше, чем подбирала, к великому раздраженью уборщиц

Ярусом выше были бараки семейных, тут жили мастера, механик, монтер, партийная и профсоюзная интеллигенция. На окнах висели занавесочки, тюлевые гардины. Приподнятый край их открывал картину жилья, устроенного прочно. Сюда свезли из города железные кровати, тюфяки и венские стулья. На стенах висели шитые крестиками дорожки, и чистая бумага украшала полки, где ярко блестели сковороды и кастрюли. Семейная кровать с обилием подушек и пестрым стеганым одеялом выдавала простейшую правду жизни; и еще не спали дети, возившиеся, приподнимая голые задки, на полу и лежанках.

Здесь уже был некоторый устой, перед бараком остро пропитанная земля стеклела в помоях,— утром была стирка,— влажно болтались в воздухе протянутые между столбами веревки.

В одном из окон мелькнула голова человека, читавшего книгу. Он двигал губами, два бледных сероватых уха малокровно топырились под ладонями, державшими голову. Глаза человека опущены, черная с подпушиной борода, когда вбирал человек передними зубами в рот нижнюю губу, покусывая ее, вставала дыбком, волосок к волоску, на круглой впадине подбородка. Нервно дернулись желваки,— это он почувствовал на себе взгляд рыжего через окно,— впрочем, рыжий был уже далеко, он шел наверх, описав ровный полукруг вдоль всего косогора.

И когда вернулся наверх, к той самой линии бараков, с которой начал свой пробег по участку,— рыжий очутился в верхнем ярусе, где находились конторы, домик начальника участка, клуб, жилье старших технических служащих. Здесь он обдернул на бедрах свою «амазонку», поправил очки на носу и двинулся в контору.

Начальник участка, Левон Давыдович, сидел за стеклянной дверью, лицом к окну, спиной к двери. Спина Левона Давыдовича была выразительней его сухого, щукой вытянутого книзу лица. По спине угадывался путеец, спина имела выправку. Плечи полого спускались вниз, шея ловко двигалась в чистом крахмальном воротничке, и только дергавшаяся под тужуркой ключица выдавала нервозность Левона Давыдовича. Собачий день выдался сегодня. Утром он поругался с председателем месткома. В обед грузовик привез из Чигдыма

необыкновенную женщину с ветхим клеенчатым портфельчиком — народного судью. Вечером предстояло присутствовать на суде над проворовавшимся рабочим, то есть, по мнению начальника участка, не признававшего никаких общественных функций на стройке,— жестоко терять время; и вот сейчас, наконец, в эту самую минуту, ожидал он вдобавок европейского гостя, о котором возвестил телефон со станции.

В такое неподходящее время для представленья за спиной Левона Давыдовича кашлянул кудреватый с проседью мужчина в черной кавказской рубашке, с ремешком вокруг талии, начканц Захар Петрович. Он держал за локоть рыжего.

— Нет, это ваше дело, подчеркиваю — ваше личное дело,— Левон Давыдович почти вскочил со стула. В другое время он сказал бы совершенно иное и прежде всего разглядел бы нового служащего. Но сейчас он думал о скандальном поведении месткома в конторе, о дерзостях, выслушанных в присутствии рабочих.

— Я не уполномочивал вас, Захар Петрович, на такой рискованный способ приглашения служащих! У нас каждый день неприятности, вы сами слышали. Согласуйте, если хотите, с месткомом... Но имейте в виду — я ничего не слышал, не знаю, не принимал. Нет, нет, оставьте разговор до согласованья с надлежащими органами!

Он схватил фуражку. И только сейчас встретился с веселым взглядом рыжего. Этот взгляд поразил его своей рассудительностью, смешанной со странным и почти добродушным юмором.

— Разумеется, архивариус нам нужен...— вырвалось у него против воли. Но тут же, досадуя на себя, начальник участка вышел.

Десятком огней светились вокруг бараки, сноп белого пламени стоял над руслом Мизинки, весенний воздух был чист, но Левон Давыдович злился. Крепким сердитым шагом промаршировал он вдоль конторы и, чтоб сократить путь, решил идти через соседний барак, где жили конторские служащие.

Тут, однако же, раздраженье его усилилось. В коридоре барака было не прибрано: ослежен пол, забрызганы красные трубки огнетушителей, кадка в углу полна мусора, жестяной рукомойник пуст, а в переполненной шайке под ним несчетное количество папирос. Левон Давыдович не знал, что запустенье здесь было предна-

меренным. Барачные дамы забастовали с утра. Ни одна из них не вымела коридора, не вылила шайки, не вынесла мусора. Причина тому крылась в комнате № 4, где жительствовал начканц.

Частые отъезды его жены, Клавдии Ивановны, взваливали на соседок тяжкие повинности коммунального характера. Уборщица барака для служащих была сегодня выходная. В такие дни жены служащих выполняли чистку по очереди. Но выходило как-то так, что как раз в эти дни жена начканца отсутствовала. А тут изволь и мести и мыть, пока ходит и сорит окурками чужой мужчина, не сват, не брат, грязными сапогами по общему коридору, побрякивая кавказским пояском на черной шерстяной рубашке и никогда не отвечая на поклоны или вежливые «здравствуйте».

Правда, и присутствие Клавочки сулило соседкам мало приятного. Каждая имела тут мужа, сына или зятя. Тайное женское чутье возвещало им об опасности, заключавшейся в присутствии Клавдии Ивановны, в шелесте юбки ее, пахнувшей валерьянкой и китайским чаем, топоте туфель ее, сношенных сбоку, взлете волос ее, медных на солнце, сдобном и рассыпчатом голоске ее, умевшем заговорить кого хочешь, а уж смеха Клавдии Ивановны не переносила ни одна женщина в бараке.

И не работала Клавдия Ивановна ни для себя, ни для мужа, белья не стирала, держа по месяцам скомканным где-нибудь за корзинкой или же шкафом; чайные чашки ополаскивала водою из рукомойника, забывая их вытереть; обед брала из столовой, или возьмет горшок мацуна и ест с мужем из крынки, сыпля в нее сахарного песку нерасчетливо,— социальная угроза бараку была в поведении, во вкусах, во внешности Клавдии Ивановны, и если брился муж или сын перед зеркальцем да не шел утром в пропахшее аммиаком отхожее место, а спускался куда-нибудь вниз, под незаметный пригорочек,— значит, теплый ветер весны проносился по коридору, теплое безумие опархивало огнетушители рваными шарфиками Клавдии Ивановны, значит, пожаловала она сама из города на участок.

Такое же глухое чувство тревоги испытывала и «первая дама» участка, жена Левона Давыдовича, «мадам», как звал ее муж, говоря о ней с кем-нибудь третьим.

Левон Давыдович долго работал в Бельгии, и жена

его была бельгийка. «Мадам» была старше мужа, в волосах ее, собранных под шелковую сетку, проступала седина. Она жила в двух комнатах, где прохладно блестел фарфор на полках, мерцало серебро, сине-белый отлив полотняных салфеточек говорил о добротной стирке и глаженье. С двух темных фламандских картин на стене дышали влажные языки легавых, застигнутых художником на охоте над пойманной дичью,— Левон Давыдович был охотник, он собирал охотничьи картины и старинные кавказские патронташи. В обед стол накрывался так, как нигде нынче: хрустальные подставочки, три сорта ножей и вилок; лиловый датский фарфор на белоснежном полотне скатерти, множество графинов и тарелочек, чье назначенье постороннему оставалось тайной.

Вошедший гость в предвкушении блюда приятно провел бы полчасика за разглядываньем сервировки. И гость был бы жестоко обманут. Весь гидрострой знал бельгийскую кухню «мадам». Ее безжизненные супы вошли в поговорку. Вареная курица с запахом розы и лаванды, одинокая на блюде, в окружении пяти-шести твердых и непроваренных картофелин, пугала воображенье инженеров и техников, изредка приглашаемых на обед. Скупость царила здесь, хлеб резался бумажными ломтиками, крошки собирались в жестянку на пудинг.

Придерживая тонким пальцем с рубиновым перстнем занавеску, «мадам» глядела с сухою и ревнивой горечью в окно на мужа,— он вышел только что из соседнего барака.

— Мари,— сказал Левон Давыдович, появляясь в дверях,— вот тебе новость. Приехал немецкий писатель, настоящий, знаменитость. Его надо принять как можно приличней. Займись этим. И кстати... скажи ты, пожалуйста, кому-нибудь в соседнем бараке, чтоб убрали грязь. Это невыносимо, я штрафовать буду!

Он повысил голос до тонкого визга, потому что заметил кривую, многозначительную улыбку «мадам» и знал ее смысл так же точно, как полную для себя невозможность пускаться в опровержения; знал он также и свойство своего характера — длить неприятные минуты, почти наслаждаясь их гибельным действием. И сейчас, вместо того чтобы уйти, он несколько раз повторил: «Штрафовать»,— потом сел в столовой, явно мешая жене и мучительно желая ее реплик, ссор, неприятностей, чего-нибудь, что поставило бы наконец точку над всеми несчастьями сегодняшнего дня.

III

— Н-ну!— сказал начканц, как только Левон Давыдович вышел.— Ну и ну! Пиковый валет, придется нам с вами идти к председателю месткома.

Он с величайшим огорченьем оглядел контору.

Архив, только что привезенный сюда из города, в совершенном беспорядке валялся на полу. Бумажки, не вшитые в дела, перемешались и кашей ползли с полок, оседая под тяжестью брошенных сверху папок. Конверты с вырезанными кем-то марками, зияя дырами, кое-как перевязанные бечевой, кирпичами стояли вдоль стен. Пыль лежала густыми пятнами, снятая лишь сомнительным пожатием чьего-то сапога.

— Вот извольте видеть,— на вас вся надежда была! Во-первых, два языка, во-вторых, добрая воля. Поищите-ка человека на ваш оклад со знанием русского и армянского. А теперь я вам прямо скажу: ничего не выйдет. Знаю я местком.

— А вы, Захар Петрович, сходите все-таки,— посоветовал конторщик Володя, предвидя неприятную нагрузку для себя самого,— ревизия будет — достанется и вам и месткому. И без того в конторе чихают, как на табачной фабрике, а я, заранее вам говорю, я этих бумаг, просите не просите...

— Молчи!— оборвал начканц.

Он хотел выругаться, но тут заметил выразительный взгляд рыжего. Рыжий глядел на бумаги — и, черт побери, как он глядел на них! Старый библиотечный маньяк мог бы глядеть так на партию переводных романов, где совершаются убийства, сыщик бродит по страницам, замедляя развязку, он и она избегают друг друга, чтоб истомить любовью читателя, словом, где есть все специи для вкусной приправы серенькой и обыкновенной жизни.

Не довольствуясь взглядом, рыжий вдруг подошел к пачке конвертов и взял ее, как берут покупку. Положив на стол, он развязал веревку и стал перебирать конверты, разглядывая их, приподымая к очкам и смахивая с каждого пыль. Ловкие пальцы вытаскивали бумажку, она легко и приятно разворачивалась,— от конверта к конверту шла длинная повесть.

— Знаете что?— сказал рыжий, встретив прищуренные глаза начканца.— Будь только возможность, я бы вам это даром разобрал. Захватывающее чтение. Но сейчас, если так надо, идемте в местком.

Когда оба они вышли и в конторе стало сонно и тихо, Володя нерешительно выбрался из-за стола, где он вяло полировал себе длинный грязноватый ноготь на мизинце. Володя считался красавчиком, огромнейшая шевелюра у него низко свисала на лоб, рогами испанского мериноса закручиваясь над приятными глазками; Володя носил френч и комнату свою украсил портретами киноактрис. Он подошел к пачке с конвертами и любопытно взглянул на первый. Потом, почесываясь, вынул из конверта листок и прочитал его.

— Ерунда,— сказал себе Володя, бросая листок поверх конверта,— фокусничает, цену набивает. Ерунда,— повторил он почти обиженно.

И все-таки, возвращаясь к столу и полированью ногтя, неприязненно, навязчиво, с каким-то беспокойством он продолжал думать о зажегшемся взгляде рыжего и о словах его. Что же могло быть интересного в переписке насчет пятидесяти бочек цемента?

Между тем во втором ярусе начканц и рыжий ходили от барака к бараку, ища председателя месткома, и наконец узнали, что он пьет чай в соседнем бараке, у завскладом Косаренки.

— Своя компания,— просвещал рыжего по дороге начканц, впрочем, очень тихо и оглядываясь, не слышит ли кто.

Здесь два мира делились, им предстоял спуск за враждебный ему, начканцу, кордон. Наверху, в конторе, каждого из этого чуждого мира наградили тайными кличками и с каждым велась политика. Председателя месткома, Агабека, хорошего коммуниста, звали в конторе «вредным». Секретаря ячейки, молчаливого и очень молодого, совсем недавно приехавшего на участок, наоборот, снабдили наклейкой «безвредный», а в разговоре с приезжими прибавляли еще: «Секретарь у нас подготовленный»,— потому что приехал он прямо с партийных курсов. Завскладом Косаренко, в прошлом моряк из Архангельска, именовался «отчаянным». Еще один коммунист, Степанос, бывший учитель, получил прозвище «дьячок».

Все четверо, они сидели сейчас в душной комнате Косаренки, где пахло чем-то очень уютным и семейным — от высоких перин, от чая, от пара, от смазных сапог и разморенной на печи гречихи. За столом, кроме них, были гости: Марджик и необыкновенная женщина с клеенчатым портфельчиком — чигдымский народный судья.

Женщина была худощава; длинные глаза ее косили чуть-чуть; горбатый нос, тонкий и смуглый, говорил о характере и делал профиль ее похожим на арабскую лошадку. Очень широкая в бедрах, она сидела красивой позой женщины, которая никогда не думает, как ей держать себя и куда деть ноги. В этой счастливой и очень редкой у женщины особенности чувствовать свои ноги, как руки — двумя добрыми друзьями,— было что-то мужское и независимое. Марджик поместилась возле нее, облокотясь на стол, и, несмотря на свои пыльные мужские сапожки, упершиеся в подножку стола, казалась женственней, чем элегантная и слегка надушенная соседка.

Они говорили о предстоящем суде, перед смуглой женщиной лежал блокнотик, исписанный мелким, тончайшим бисером армянской вязи. Карандаш она держала наготове, как револьвер,— стук в дверь заставил ее вскинуть раскосые глаза на входящих.

Появление начканца и рыжего было необычайно, и в ту же минуту в комнате все замолчали, даже дети Косаренки прекратили возню.

Трудная обстановка сложилась в те дни на участке. В необъятной стране нашей то был крохотный и очень глухой уголок, десятком километров отдаленный от ближайшей станции; а эта станция, тоже глухая и маленькая,— целым днем железнодорожного пути отдалена от республиканской столицы; а самая эта столица — в семи днях пути от центра советского государства. Лишь на девятые сутки сюда завозили московскую газету. И все-таки, как и всюду, как и в других, еще более глухих уголках, жизнь отражала здесь одни и те же черты и факты, переживаемые всею страной. То был тяжкий год; все темные силы, казалось, поднялись в том году для яростного сопротивления большевикам. В генеральных штабах Англии и Франции готовились к новой интервенции против нас. Бежавшие за границу старые хозяева русских шахт и заводов продавали иностранцам родину и подкупали продажных специалистов. Враги народа, отколовшись от партии, смыкались с агентами иностранной разведки, поднимали на советскую власть кулака и проходимца. А на маленьких сравнительно стройках, подобных Мизингэсу, все это отражалось по-своему,— в осмелении старых служак, для которых новый строй казался временным и обреченным на провал, в борьбе их, явно и втихомолку, против новых сил на

участке — профсоюза, партийной ячейки; в склоках и дрязгах местных «дам», в наушничестве, клевете. К тому же многие проекты, составленные наспех, задерживались в центре, где шли работы по составлению первого пятилетнего плана, а это влекло за собою задержку и прекращение кредитов, что еще больше сгущало и осложняло положение.

Прежде чем заговорить, начканц отдышался. Рыжий использовал передышку по-своему: он внимательно обвел стеклами всех, кто сидел за столом. Степаноса, или, по-конторскому, «дьячка», он уже видел: два бледных уха были ему знакомы по голове в окне, читавшей книгу. У Степаноса было доброе сероватое лицо с бескровным большим ртом, густо обросшим бородкой. Когда в раздумье закусывал он нижнюю губу, бородка его вставала волосок за волоском, как у ежа. Ходил Степанос в длинной одежде старинного сюртучного покроя. Голос у него был приятнейший, без хрипоты. На участке Степанос заведовал клубом и ежемесячно составлял сам, размножаясь на десяток подписей и меняя шрифты, обстоятельный номер стенной газеты под названьем «Луйс»[1]. Косаренко был красен от чая, а белые ресницы и брови, мукой посыпанные на лицо, еще сильней оттеняли его красноту. Кожа у Косаренки казалась выеденной от множества крупных желтых веснушек. Расстегнув ворот, он сидел перед клеенкой, мокрой и облепленной кусочками хлеба, держа на коленях такого же красного и беловолосого, такого же разморенного от духоты и пара голенького сына, Ванятку.

Секретарь ячейки допивал свой стакан в задумчивости, едва взглянув на вошедших. Рыжий мельком увидел его чистенький френч, яркие желтые штиблеты, значок в петельке, густейшие черные брови толщиною в два пальца и остановил глаза на последнем из сидевших, председателе месткома, или, как сокращенно звали его здесь, «месткоме» Агабеке.

Местком Агабек был горбун. Он привстал навстречу вошедшим. Его руки, лежавшие на столе, были несмываемо черны еще с той поры, когда Агабек был кожевником и мял вонючую кожу. И все же что-то обаятельное, что-то завораживающее было в той силе страстности

[1] Луйс — свет *(арм.)*.

и напряжения воли, какая, казалось, жила в небольшом и хрупком теле этого человека. Зелеными глазами горбун недоверчиво уставился на начканца.

— Мы к вам по делу, товарищ Агабек,— проговорил начканц вкрадчивым голосом,— такое пиковое дело,— архив в конторе видели? Я три дня мотался, не мог найти архивариуса, одного биржа дала — умер, другого взял — вот он самый, разрешите согласовать, провести и все такое прочее как можно скореичко. А то наедет ревизия, а грамотному человеку с этими бумагами...

Не успел он докончить фразы, как неожиданно вмешалась Марджик:

— Вот, Степанос, вам и помощник! Вот и конферансье на вашем дивертисменте! Это отлично, что вы зашли, товарищ.

Рыжий благодарно улыбнулся ей: Марджана оказывала ему, сама не подозревая, огромную услугу. Агабек нервно заколотил ногою под стулом,— вопрос разрешался, в сущности; он не нашел, что сказать сейчас,— включение нового человека в штат казалось солидным и всеобщим делом, о котором начканц поднял голос, только и всего. Именно так почувствовал положение и Захар Петрович. Он придумал хитрейший ход, каким умная женщина подкидывает мужчине чужого ребенка.

— Так вы с ими, товарищ, приканчивайте скореичко, а у меня дело ждет.

И, подмигнув рыжему, он пошел было к двери, потом обернулся, сделал поистине вдохновенное лицо и выбросил козырь, покрыть который нечем было никому из присутствующих:

— А насчет жалованья, друг любезный, честью прошу, не жалуйтесь и товарищу Агабеку лишних забот не сочиняйте,— контора, заранее говорю, больше не даст. Кого хотите спросите — тарифная ставка, они вот сами в колдоговоре выработали.

Он даже руками развел,— дескать, навязываете людей, так уж и отвечайте!

Чувство меры не позволило ему, однако же, насладиться плодами своей политики. Он тотчас же вышел, прихлопнув дверью, и только на воздухе позволил себе триумфальную улыбочку. Недаром уважали начканца Захара Петровича, недаром ценили его в управлении, и сам начальник участка советовался с ним в тугих обстоятельствах. Щуря свои монгольские глаза, он кру-

то вышагивал по косогору, и серебряные наконечники кавказского пояса бормотали у него по бокам: талейран, та-лей-ран.

IV

Секретарь ячейки аккуратно допил свой чай, встал с места, подтянул френч книзу и очень густым голосом, таким же, как его брови, сказал:

— Ну, пока.

Марджана вопросительно посмотрела на него. Они еще не договорились, как лучше начать собранье: с митинга или прямо с суда. Странный человек! Сидел весь вечер молча, а как пришло время подать голос — вот тебе и подал голос. Она видела блеск его начищенных желтых штиблет, когда он шагнул к вешалке, чтоб снять нарядную клетчатую кепку. Словно чувствуя на себе ее взгляд, он обернулся к ней.

— У меня занятия с комсомольцами, я, может, успею зайти попозднее.— Сказал и вышел.

Косаренко подвинул рыжему освободившуюся табуретку. Это был хороший, товарищеский жест, и рыжий сел, принимая обстоятельства себе на пользу, но, впрочем, ничуть не лукавя и не видя политики. Ему попросту было хорошо, он согревался от мартовской стужи, присутствие Марджаны казалось прочным, а главное, один человек заинтересовал его, крепко и всерьез заинтересовал,— Агабек.

— Чайку?— спросил Косаренко.— Жена, Акулина Ивановна, попотчуй.

Рослая и светлая жена Косаренки, с гладко зачесанными волосами, молча поставила стакан и придвинула к рыжему блюдечко с колотым рафинадом.

— Не нравится мне ваш секретарь,— сказала судья мелодичнейшим голосом.

— Секретарь у нас аккуратный парень,— возразил Косаренко, и нельзя было разобрать, говорит он всерьез или шутит.— Зайдите к нему — стенки сплошь занавешены, щеток сколько хотите — для зубов, для костюма, для шевелюры, для желтых штиблет, для черных штиблет. Я ему говорю: женись! А он отвечает: «Беспорядок разводить, что ли?»

Но Степанос насупился. Не нравилась ему манера обсуждать товарища за спиной, а тут еще чужой человек. И чем плох секретарь? Прежнего сняли за не-

опытность, а этот в Москве на курсах учился, литературу выписывает, у него полное собрание Ленина в переплете. Зайдешь — журнал на столе, отчеты со съездов...

— Подготовленный, одним словом,— опять вставил Косаренко, и совершенно нельзя было понять: ирония в словах Косаренки или честный, всеми разделяемый трафарет.

— Будет,— вдруг негромко проговорил Агабек.

Сразу все замолчали за столом. Смеющееся лицо судьи стало серьезно. Косаренко кивнул жене, Акулине Ивановне, и та приняла от него Ванятку.

— Вот, товарищ, об чем речь,— продолжал Агабек, повернувшись к рыжему,— клубный день у нас сегодня, программа выработана уже с неделю, но только приходится ее расширить. На участке у нас случился постыдный факт. Покража государственного имущества.

Как только он произнес эту фразу, все сидевшие за столом взглянули на него, и раздробленное вниманье стянулось.

— Совершил покражу рабочий. Правда, не кадровик, а сезонник, из местных крестьян.

— На половинных началах,— пояснил Степанос.

Но вопросительные очки рыжего остались недоумевающими. Рыжий не знал, что это за штука — «на половинных началах». И тотчас же в каждом из сидящих за столом вспыхнул интерес к вещи, которую нужно было объяснить другому.

— Замечательное явление это «на половинных началах»,— сказала судья, блестя раскосыми глазами.

Не так давно она исписала мелкою вязью целую страницу блокнота по этому поводу.

— На половинных началах,— проговорил Степанос,— живут бедняки в Армении, наш Лорийский уезд в этом отношении один из первых. Предположим, у вас есть кусочек земли и нет скота, нет инвентаря. Богатый сосед берет вашу землю, он обрабатывает ее, засевает, жнет и дает вам за землю половину урожая. Это и называется «на половинных началах».

— Обратите вниманье!— вмешалась судья.

Глаза ее блестели, опадая к вискам; она необыкновенно похорошела. Каждый интеллектуальный подъем красил ее так, как других красит чувство. Еще недавно, записывая его в блокнотик, судья наслаждалась оригинальностью вывода:

— Какой изворот происходит в крестьянском хозяйстве! По-нашему, это бедняк, но в сущности... да, в сущности ведь он не бедняк, а рантье, мелкий собственник, получатель дохода! Он землю за проценты взаймы дает!

— Ну, закатили!

— Я вам говорю, мелкий земельный собственник! У него недвижимость, он получает с нее доход, а сам ничего не делает, сам большей частью идет на приработок в город, имеет тридцать — пятьдесят рублей в месяц. Почему я должна считать его бедняком? Почему он не помещик? Нет, погодите, погодите, ваши возражения мне лучше вас известны, я хочу, чтоб вы поняли мою мысль,— он имеет чистый доход с находящейся где-то там недвижимости, ему каждый год аккуратно поступают мешки пшеницы или ячменя, точь-в-точь как помещику... Какая же это крестьянская жизнь?

— Бог знает что за ерунду ты несешь, Арусяк!— недовольно вмешалась Марджана.

Судья была старой ее приятельницей. Свойства капризного ума судьи были известны Марджане. Она знала, что подруга ее очень мало дорожит тем, что можно назвать целью мысли, конечной установкой ее. Но доро́ги мысли, всякие, кидающиеся в глаза, привлекали ее неудержимой потребностью бега, как тысячи тропинок, неизвестно куда ведущих. Ступать на эти дороги, на все, сколько их ни попадется, было сильнейшею страстью Арусяк. Оттого, может быть, тихая и замкнутая Марджана немедленно вывешивала на них аншлаги. Она говорила подруге: ерунда, чушь, фантазия, хотя многое из того, что придумывала Арусяк, не было ни ерундой, ни чушью, ни фантазией.

Степанос следил за спором двух женщин снисходительно. Ни за что не признался бы он в этом самому себе, но они были для него «всего только» женщинами — существами не вполне ответственными за свои рассуждения, которые всерьез принимать не следует: пережиток, еще им в себе не искорененный. Раскладывая по столу большие, плоские сероватые руки, принятые только что от разглаженной бороды, учительским тоном намеревался Степанос дорисовать им картину бедняцкого хозяйства.

Но тут опять вмешался Агабек, совершенно игнорируя женщин и Степаноса. Зеленые глаза его смотрели на рыжего:

— Так вот, приехала судья из Чигдыма, и нам тре-

буется провести в один вечер суд, митинг и концерт. Об этом тут и было говорено, когда вы пришли. Товарищам трудно приходится, а я полагаю, соединить это можно. Но вопрос в том, как соединить?

— Я не могу суд делать зрелищем и отодвигать его в концертное отделение!— тотчас же подала реплику судья.

— Тебе не следовало звать меня и выдумывать мой доклад,— тихо сказала Марджана,— прекрасно можно было обойтись без него.

— Одним словом, каждый другому помеха,— резюмировал Степанос,— кроме того, неудобно как-то: на что именно звать рабочих? Больше трех часов они сидеть не станут, и то от силы. На концертное же отделение каждый пойдет, но и тут у меня заминка. До вашего прихода я говорил товарищам, что необходимо убрать нашего конферансье.

— А кто у вас конферансье?

— Володя-конторщик,— сказал Косаренко,— есть такой, с шевелюрой.— Он сделал волнообразный жест пальцами со лба к носу, и рыжий тотчас вспомнил унылого «мериноса» в конторе.

— Тип этот неподходящ. Попробуйте заместо его, сможете?

Но рыжий не сразу ответил, потому что он серьезно обдумывал дело.

— Вот что я предложу,— снова выручила его Марджана,— объявим общее собрание,— оно и без того необходимо,— на участке сейчас немец, писатель. Надо немцу показать рабочую общественность. На общем собрании поставим вопрос о воре. Можно так: со стороны общественного урока, что ли, первое воровство, тревожный факт, несознательность рабочего, ворующего у себя, в своем хозяйстве,— дадим зарядку в зал, пусть это будет переходом к суду. Поручите мне вместо доклада. Выборы из зала — обвинитель, защитник, свидетели по желанию. После суда конферансье скажет о приезжем госте, потом несколько слов по-немецки... Есть немцы-рабочие?

— Латыш-мастер есть, он по-немецки говорит.

— Валяйте латыша-мастера. А там и концерт.

Рыжий глядел на Марджану. Но девушка уже замолчала; подперев голову, она думала о чем-то, опустив ласточкой красивые бровки.

— Ишь ты,— сказал Косаренко — видать, выйдет

дело. Ну, как наша программа, Агабек, годится, а?

— Кой с кем посоветуюсь насчет иностранца,— допускать ли его до наших внутренних дел,— уклончиво ответил Агабек.— Набрехает своим.

— Напротив,— подмигнул Косаренко.— Смотри в открытую,— ничего не прячем. Они и во сне такого не увидят, как наш пролетарский общественный суд. Расскажет — за нас сагитирует.

Не стал Агабек терять времени. Вынув черными крепкими пальцами часы из кармана, поглядел на часы, сверил, идут ли, и кончил голосом твердым, не поддающимся на душевные чувства:

— Айда, Степанос, объявляй общее собрание. Иди и ты с ним, товарищ, в клуб, готовься к программе. Гони, Косаренко, публику из комнаты!

V

Сияя любезнейшей улыбкой, «мадам» вышла встретить гостя на самое крыльцо. «Мадам» была в старом мягком шелку, шурша падавшем до полу: моды кончились для нее днем выезда из Бельгии. В ушах ее и на пальце горели настоящие благородные рубины, окруженные мелким алмазным блеском. Сухое и породистое лицо было сейчас приветливо — она радовалась возможности поговорить на жестком немецком языке, принять настоящего благовоспитанного человека.

Но когда немецкий писатель, тяжело дыша, поднялся на последнюю ступеньку и усы его раздвинулись ей навстречу, «мадам» испытала легкое разочарование. Безошибочным чутьем она поняла: «Этот не из общества». Поредели нитки на швах его рыжего пальто, воротник неприятно лоснился, главное же было не в этом, а в чересчур ярком и нечистом блеске старых глаз, окруженных мешочками, и запахе табаку, несомненно третьесортного, и пуговице, подшитой недавно и неаккуратно.

Улыбка ее убавилась, как убавляют огня в керосинке.

И писатель, привыкший у нас к товарищеской простоте отношений, смутился и засутулился вдруг, словно попал к себе на родину. Неприятно усмехаясь, он поцеловал руку хозяйке и боком шагнул за ней в двери.

Положение спас Левон Давыдович, мало понимавший в тонкостях. Он пригласил к чаю старого глухова-

того инженера, состоявшего у него в помощниках. Инженер напряженно прислушивался, держа ладонь горсточкой возле правого уха. Густые красивые шторы плотно закрыли окна, свет падал сверху неровными пучками, оттененный пестрой бахромой абажура. На скатерть легли кудрявые тени.

«Мадам» раскладывала варенье на блюдца, тихо позванивая ложечкой, чай пахнул густо и крепко, писатель водил вопросительно глазами, не зная, каким тоном надлежит здесь вести беседу. Влипьян отсутствовал. Пригласить его Левон Давыдович попросту позабыл.

— Мы сами недавно из Европы,— начал хозяин,— многое мне тут непонятно, многое пошло назад. Да, да, именно назад. Года за три до войны Россия начала богатеть и расти технически. Она пыталась трестировать, синдикализировать, гналась за концессионерами. Я работал тогда в Бельгии. Этот процесс был заметен из-за границы. Сейчас мы брошены лет на тридцать назад: есть что-то дикарское, грубое, мелко-нахрапистое во всем этом, как война босиком, именно босиком.

— Но, вы чересчур резки,— с запинкой ответил писатель. Он вспомнил вагонный разговор.— Новые общественные формы даром не достаются.

— Ах, новые общественные формы! Уверяю вас, многие тут только делают вид, что верят всем этим вывескам. Не вижу я этих новых форм,— от них я бежал пятнадцать лет назад в Бельгию: та же полная неразбериха, кого слушаться, вечная боязнь окрика, и кричит первый, у кого есть глотка, первый попавшийся. Одни стараются угодить больше, чем от них требуется, другой прикидывается лицом значительным, важней, чем он есть, как в торговле, в работе, в ремесле — утруска, усыпка, передача или недохват, недовесок; ни в чем,— понимаете, ни в чем,— нигде, никакой меры...

Старый инженер, откашлявшись, вступил в разговор:

— Я всегда утверждал, что инженер во время работы есть хирург...

— Ах, Александр Александрович, сейчас речь не о том,— наклонилась к нему хозяйка. Но он не услышал ее.

— ...есть именно хирург с ножом в руках. Не говорите хирургу о жалости к человеку, когда он должен резать. Не говорите инженеру о жалости к рабочим, когда от него требуется строить.

Гастрольная фраза была окончена, и старик замолчал.

Легкая и унылая скука определилась на лицах.

Писатель слышал здесь почти дословно свои собственные рассуждения,— что-то, однако же, странное происходило в нем. Там, в вагоне, он сознавал себя глашатаем истины, здесь... но, быть может, навязчивый взгляд хозяйки на его шевелюре, да, не совсем хорошо поседевшей шевелюре, следы дешевой парикмахерской краски; ее понимающий взгляд,— далась дамочке пуговица! Unglaublich[1], однако, несомненно, «мадам» вздрагивает ноздрями, как швейцарский блюститель порядка, у которого спрашиваете вы на улице название отеля: «С абсентом или без абсента?» Черт возьми, какое вам дело, пьющий вы или нет? Ну да, он выпивал у себя на родине; горькие минуты, когда вас травят, одиночество, неблагообразие бедности: платите хорошие деньги — кто станет пить дешевую дрянь? Дальше, дальше от прошлого, но взгляд толкает его в грудь, в лицо, в голову, толкает назад, за пройденную черту. Он тяжело поднимается с места...

Общество, то самое общество, что извергло его, вышвырнуло на улицу, виноват — попросту не приняло, держало перед входною дверью и словечко «дома нет»,— общество сидело сейчас перед ним, сияя породою тонких черточек, блестя алмазною россыпью на скрещенных пальцах, вздымая из брюссельских кружев змеиную худобу шеи и проницая его змеиным взглядом. Не vornehm, ага, не vornehm![2]

— Я хочу здесь говорить русская речь!— взволнованно произнес писатель, чувствуя дрожь всего своего старого тела.— Великая, свободная, универзальная русская речь. На мне, на мне... на меня странно кажется, как вы сидит тут и говорит тут мелкий чужой слова. Вы говорит дикар,— о, это позор говорит дикар, имея быть сын великой страны, великого универзального дела. Нет, мое сердце слаб, волненье ядовит меня, я покидай общество...

Он совершенно не был готов к тому, что случилось. Он сознавал: это истерика. Но уже отступать было невозможно, и мельком, в преувеличенном забытьи, он различил искаженное ужасом лицо глуховатого инженера, каменный лик «мадам», чайный стол...

Театрально приподняв руку к сердцу, писатель склонил голову и вышел в переднюю.

---

[1] Невероятно *(нем.)*.

[2] Благопристойный, приличный; почти непередаваемый эпитет особенной формы светского «хорошего тона», «порядочности» *(нем.)*.

Молча стоял Левон Давыдович, держа в руках пальто его. Писатель несколько раз попадал руками в подкладку, он уже страдал, он ждал помощи, чтоб разрешить экзальтацию во что-нибудь обыденное и спасти положение. Однако же Левон Давыдович ему не помог. Он раскрыл дверь, принял писателя под руку и свел по ступеням.

Клуб ярко сиял огнями,— там готовились к общему собранию. И в полном безмолвии Левон Давыдович повел писателя в клуб, чтобы сдать его мосье Влипьяну.

Александр Александрович, одеваясь,— он тоже не стал пить чай,— белыми губами шептал «мадам», что из этого может выйти скандал и что писатель — советский агент.

— Возьмут под наблюдение, корреспонденцию просмотрят, захотят придраться — тысячи способов... Я старый человек, смерти не боюсь...

Но, говоря это, старый человек опадал в своем стареньком пальто, и холеные усы путейца мокрели от ужаса.

Когда Левон Давыдович вернулся к себе, столовая была уже пуста,— посуда перемыта, сервировка убрана, весь этот конфуз большого дня, неудачный наряд, исчез по шкафам и ящикам, чтоб холодно померкнуть в старой клеенчатой скатерти, оставшейся на квадратном столе.

«Мадам» притушила свет, оставив гореть лишь одну лампочку, как делалось у них на ночь. Полуоткрытая дверь мерцала голубым светом,— там, на большой заграничной кровати, голубые шелка одеял вставали полярными глыбами, и белый медведь, распластав все четыре лапы, лежал внизу ковриком.

— Мари!— сказал муж.

— Все это глупости, Леон, глупости, не расстраивайтесь. Хотите, я вам скажу причину? Старый бродяга понял, что я его раскусила. Уверяю вас, он не комильфо. Этот грязный человек на жаловании у большевиков. Александр Александрович тоже так думает.

— Ах, не говори мне про Александра Александровича!

— Но, милый друг, у меня есть глаза. Он красился, как актер, и эти мешки, эти зубы,— обратили вы внимание на его зубы?

Хрустя пальцами, Левон Давыдович ходил по комнате.

При чем тут зубы? Боже ты мой, при чем тут зубы,—

все-таки из Европы приехал человек; месяц, два месяца, полгода назад он видел здоровую и культурную жизнь, мог рассказать, что есть нового,— Берлин строится, как новорожденный, все эти подробности, ах, все эти подробности! Почему одному человеку не поделиться с другим, при чем тут зубы, черт возьми!

Тихой тенью, все еще стройная, старомодная, в длинной юбке, «мадам» прошла перед ним, стараясь коснуться его спиной. Тихий и острый свет сиял в зрачках ее, красивых в эту минуту. Она знала — минута была ее. И Левон Давыдович остановил ее так, перед собой, привлекая слегка эту сухую и негибкую спину. Он заговорил уже совсем неубежденно, в затылок ее:

— С утра, понимаешь, с утра все эти бесчисленные раздражения, человек, естественно, устает... Я, может быть, наговорил лишнего, но надо же понять, войти в положение. Нет, стой так, одну минуту. Я не могу идти в клуб в этом состоянии. Александр Александрович дурак.

Мари стояла, чувствуя руку мужа на талии, и потом сделала шаг к спальне, крепко держа эту руку. Так она вела его за собой, не слишком поспешно, потому что каждая женщина знает своего мужчину.

Глава шестая

СУД НАД РАБОЧИМ

I

Рыжий шел вслед за Степаносом по узенькой тропке в клуб,— и снова развернулся перед ним залитый огнями участок. На звездном небе, облегая с двух сторон ущелье, мягкими контурами темнели горы, внизу невидимо ворчала речка Мизинка.

Степанос, обернувшись, остановился. Разговаривая, он всегда приближал лицо к слушателю,— привычка, укоренившаяся с детства,— у него был тугоухий отец.

— Недостатки у себя видим,— заговорил он приятнейшим голосом, разнесшимся в тишине вечера.— Это полезно, конечно. А вот главный факт забываем. Год назад ничего тут не было, у меня у самого здесь, пониже, дядю волки задрали,— должно быть, захотел воды напиться и спустился с шоссе. Год назад наш лорийский крестьянин не знал, куда ему идти на приработок. Бедняки с января сидели по деревням без хлеба.

А сейчас поглядите, сколько их у нас на работе. Конечно, еще нелегко с ними, привык у кулака шею гнуть, старается урвать побольше, наработать поменьше. Ведем с ними воспитательную работу. Сезонник — трудный народ. А все-таки года через два какие из них специалисты выйдут, да и сейчас уже видна перемена.

Рыжий глубоко вдохнул воздух. Слова Степаноса своеобразно доходили до него в этой гулкой, звездной темноте и тишине, перекликаясь с тихим потоком собственных его мыслей.

Вот непочатый океан труда — великого, нового, освобожденного, возвышенного, на каждом, на самом, казалось бы, ничтожном участке. Воспитывай, формируй человека — в себе и других,— терпеливо учи отсталого; изучай, измеривай, рой и застраивай землю; осиливай, взнуздывай, направляй мятежную речку. Десятки, сотни профессий нужны,— одни закончат свое, другие начнут свое. Дни, месяцы, годы заполнятся работой. Найдут себя люди, найдут свое место в жизни. И вырастет станция, красавица, родник новой энергии в помощь человеку...

— Кажется, нехитрое дело строить,— продолжал говорить Степанос, теплыми глазами окидывая не очень еще казистый, приукрашенный темнотой участок.— Небось всюду строят, капиталисты строят, буржуазия у себя понастроила, у них денег уйма. Но вы поглядите, при нашей бедности, без ихней помощи — ведь мы куда идем с вами? В клуб. Критикуем себя,— а клуб-то построили? Спектакли местными силами ставим. Больницу построили? Врача пригласили? А стройке еще и году нет. Этого вы у них никогда не увидите. А какие у нас комсомольцы тут есть! К сезонникам в бараки ходят, газеты им вслух читают. Нет, мало мы еще свое добро ценим.

Из барака, освещенного лампочкой, вышел сгорбленный человек и остановился, услыша их. По виду это был старик, в обношенном донельзя тулупчике, в облезлой бараньей шапке, в обмотках, повязанных веревкой, и в лорийских деревенских сандалиях из недубленой кожи. Он стоял, сгорбившись, придерживая пальцами — обращенную из приличия концом внутрь, к ладони,— вонючую цигарку, и поднял навстречу Степаносу лицо в улыбке, растянувшей его беззубый рот.

— Здравствуй, Шака́р,— остановился возле него

Степанос,— ты что тут стоишь? Иди в клуб, там митинг и музыка будут. Обязательно иди.

— Здравствуй,— ответил старик.— Я пойду, пойду.— Он кивнул несколько раз головой, продолжая улыбаться.

— Беднейший из бедных,— заметил Степанос, когда они уже подходили к клубу.— Сторожем у нас при бараках, с первых дней стройки. Семья наверху, в деревне. А ведь уже интересуется делами стройки, привык. Я вас тут оставлю, вы посидите, пока начнется, и обдумайте, как к делу подойти. Программа концерта висит на стене, спишите ее себе. Карандаш имеется?

Карандаш у рыжего имелся.

Между деревянными табуретками, полом, стенами, полками желтого и еще не загрязнившегося шкафа было тесно и холодно, было похоже на лес. В этом лесу из желтого дерева — маленькой каморке для актеров — возле клубной эстрады и сел рыжий, уткнув подбородок в руки, а локти в колени,— классическая поза мыслителя. Программу — длиннейшую, где приглашенные из уездного центра артисты чередовались с местными любителями,— он уже списал для себя в блокнот и полчаса, оставшиеся до общего собрания, провел, раздумывая, как все это остроумней связать.

Откуда, в какой среде, в каком классе зародился особенный тип подтрунивающего человека, именуемого конферансье? И как прижился он сейчас на советской эстраде?

Ночные бары, влажная дрожь тротуаров под яркими фарами, фрак с потертыми фалдами, непременная замша ботинок,— человек, вогнанный клином меж зевотой зрителей и неудачей эстрадного номера, помесь шута с официантом — сам неудачник, несомненный неудачник,— таков конферансье ночного Парижа или ночного Берлина. Нужно ли это советскому зрителю и для чего? На Западе конферансье был выдуман как момент отстранения. Серьезное стало стыдно — и понадобился конферансье. Брать всерьез зрелище, быть заинтересованным Запад стыдится, стесняется, не имеет наивности. Для юмора над самим собой, снимая ответственность за удовольствие, превращая чувство в позу и бытие в условность, дергается на эстраде промежуточный человек, зарабатывая деньги печальным ремеслом снижения «качества человеческих эмоций»...

Но для чего нам, советским людям, отстранение от

честной и простой «полноты чувств»? Для чего зубоскальство, облегчающее серьезность искусства?

Мы никогда не стыдились быть серьезными, как стыдятся в буржуазном Западе. Может быть, наоборот, мы серьезничали чересчур. Стоит только вспомнить десятки и сотни плакатов, не так давно еще подстерегавших нас на каждом шагу. Будь это не поздним вечером, а засветло, на том же участке увидел бы рыжий множество самых разный надписей: «Не пей сырой воды», «Вошь — враг человека», «Муха — сообщник болезни», «Уважай труд уборщиц», «Вози тару правильно, не повреждая клади», «Не срывай зря огнетушитель», «Мой руки перед едой»... Десятки надписей для клуба, перед витриной с газетой, в больнице, в столовке, у порохового склада, в конторе, в коридоре бараков. Каждый плакат был направлен на то, чтоб организовать ваш рефлекс, обратить в нужную привычку.

Дидактизм, поучительность, опека над каждым шагом, забота о вас,— хорошо ли? Да, если вспомнить, как молода эта забота, как нова она для человека, к которому направляется и о котором, чтоб обучать и организовывать внутренний мир его, и не помышляли до революции.

Так или примерно так текли размышления рыжего над своим новым делом. Он страстно хотел сделать его хорошо. Под конец он решил: послушаю суд, митинг, присмотрюсь к людям, разберусь в типаже,— авось удастся — не отстранить, нет, а наоборот, помочь приблизить к ним, не скучно и не дидактично, а умеючи, остро и занятно приблизить к ним удовольствие от искусства...

Между тем дверные петли скрипом возвещали о посетителях клуба.

Струйки человеческого дыхания врывались с холода вместе с топотом,— густо шла публика, привлеченная дымом от затопленной железной печки, валившим из трубы, ярким светом электричества, падавшим из незанавешенных двенадцати окон, и, главное, приятным голосом Степаноса, стоявшего на пороге.

Степанос любил свой клуб наполненным,— приблизительно так, как любит мельник течение воды под мельницей. Без этой живой силы, втекавшей сюда громкой неразберихой говора, смеха и топота, замертво стояли бы несложные помощники Степаноса: сотни три книг и брошюрок, занумерованных под стеклом полупу-

стого шкафа; вычищенный красный коленкор стола, где разбросаны журналы: русские, армянские, грузинские, тюркские; полотнища стенгазеты «Луйс», от названия которой и впрямь веяло чем-то дьячковским, и крупные красивые лозунги на стенах, гордость Степаноса.

На вливающуюся в клуб толпу глядели со стен знакомые лица в рамках из белых и розовых бессмертников. Скамьи в клубе стояли вычищенные, пол аккуратно подметен. Вот только занавеса еще не было — денег не хватило, и раскрытая коробка эстрады позволяла видеть тонконогий стол под кумачом, со звоночком для председателя, графином воды и стаканом; знамена в углу и единственные голубовато-серые декорации, изображавшие стену жилья с намалеванным черной тушью окном.

И все же убогая обстановка клуба жила лихорадкой праздничного подъема. Толпа магнетизировала ее. Она вливалась стихийно, потоком. Но в рассаживании людей по местам наблюдался установившийся порядок.

Первые ряды выбросило к эстраде, как пену к берегу. Твердо простучали каблуки начальника милиции. Он проследовал чинно и деревянно к углу, по-видимому постоянно им занимаемому, и сел, по привычке вынув папиросу, но не закурив и тотчас спрятав ее, потому что курить здесь было запрещено. Вслед за ним подошли заведующий кооперативом и пожарник. В противоположном углу собралась контора. Захара Петровича не было (он работал), но волнистый чуб Володи-конторщика уже закручивался, и маленький кассир подшептывал чубу, сидя рядком, ехидные новости. Налитые тяжелой обидой глаза конторщика скользили по эстраде, выискивая рыжего.

Дамы входили с детьми, щеки их густо натерты краской, и так же густо обведены губы. «Составная часть туалета»— сомнительная мазня смесью кирпича с ланолином, петушиный гребень стриженого затылка, недавно вошедшего в моду, очень короткая юбочка отмечали здесь не только конторских жен, но и жен чернорабочих. Уборщицы полировали ногти. Ни одна не хотела отстать от другой. Дети, оторвавшись от матерей, стремительно заняли первый ряд.

Глубину зала залило густое море людей. Внимательней приглядевшись, вы и тут замечали некоторый подбор: приезжие с Севера, кадровые рабочие, садились рядом; их тотчас же можно было узнать по сочному

русскому говору. Входя, они снимали шапки. Армяне-сезонники тоже расселись рядом, не снимая, однако же, по крестьянскому обычаю, еще не изжитому на участке, своих бараньих папах. Никто не курил,— Степанос сумел добиться этого. Завзятые курильщики утешались тем, что без конца подходили к столу председателя, наливали из графина воду в стакан и пили ее. Уборщица молча убирала пустой графин и снова вносила его запотевшим от ледяной колодезной воды.

Незаметно ни для кого, почти последним, вошел секретарь партячейки. Оглядевшись, он заметил местечко на одной из последних скамей, ближе к окну, пробрался к нему и сел, тотчас же слившись с толпой.

Зал рокотал, подобный морскому прибою. Уже и в проходе густо набилась толпа. И, расталкивая ее локтями, большою рыбой проплыл от дверей к первым рядам Влипьян, ведя об руку с такою же широкою готовностью, с какой подают именитому гостю распахнутую шубу, обмякшего и сейчас распахнутого навстречу впечатлениям, старого, усталого, потрепанного немецкого гостя.

Предупрежденные кем-то комсомольцы встретили их аплодисментами. Холерические мешочки писателя дрогнули под опухшими веками. Уже он забыл унижение и опять, преувеличенно чувствуя себя, всплывал понемногу в собственном представлении на первое место. Поклонившись, он уселся, закинув голову немного набок, на освобожденный в первом ряду стул, между скамьями.

Вытаращив глазенки, глядели на него дети, маленькие, черноглазые, с невысыхающей зеленью под носами.

Таково было соотношение рядов до начала действия. Взглянув через неплотную дверь в зал, рыжий ощутил его явственно: первые ряды вели себя активно, хотя поодиночке; море голов сзади казалось пассивным, но слилось вместе.

— Конферансье на стройке,— пробормотал рыжий, додумывая проблему,— должен, помимо всего, и социально мыслить: суметь разволновать тех, что сидят скопом, поднять глубину. Потом зажечь себя тем, что выдвинет глубина. И потом... потом... это еще пока неясно.

Агабек стоял за его плечом. Он прислушивался к бормотанью. Когда местком Агабек не сидел, а стоял, он сразу выдавал соседу свою очень маленькую фигурку с горбом за плечами и, словно чувствуя это, всегда торопился присесть.

— Володька бил на бараний хохот,— сказал рыжему Агабек.— Володьку дамы наши любят. Вреда тут, может, и нет, да и пользы мало. Не скажу чего, но определенно не хватает нашему клубу...

Он задумался, как определить икс. Недостающего икса он так и не успел назвать, потому что повеяло нежным ароматом духов,— это судья Арусяк шла на эстраду широкобедрой походкой, непринужденно ставя ноги и неся кончиком пальцев, как носят сумочку, свой ветхий клеенчатый портфельчик. За нею незаметно прошла Марджана.

Время было начать общее собрание: стулья задвигались вокруг тонконогого столика, и председатель собрания Степанос протянул к звонку свою сероватую, плоскую, малокровную руку.

II

Председатель сказал все, что нужно было сказать,— о приезде народного судьи и назначенном к слушанью деле о покраже досок на участке. О том, что это первый случай покражи, и он рассматривается как тревожный симптом. Народный советский суд открыт для каждого. Пусть все, рабочие и служащие, примут сегодня участие в нем своим присутствием. Дело серьезное. Надо, чтоб общественность на участке дала почувствовать вору, как клеймит она его поступок. Надо урок дать на будущее, чтобы люди поняли постыдность поступка вора и первый случай остался последним. На участке приезжий, иностранец. Пусть видит он, как судят у нас пролетарским судом провинность против народа, против имущества, принадлежащего народу. Собрание объявляется открытым.

При полной тишине всего зала начался суд.

На эстраду поднялся заведующий кооперативом — защитник; одобрительно встретили прокурора Амо́, механика из дизельной. Выбрали двух присяжных, рабочего и возчика с базы.

Когда суд вышел и снова вошел, все встали, и настоящая, большая серьезность охватила людей. Это был первый суд на участке, сама процедура подействовала на воображение.

Секретарь партячейки, сидевший в последних рядах, внимательно приглядывался к своим соседям. Он был еще новым человеком на стройке, не все знали его в

лицо, мало кто осведомлен был о том, кто он такой, и секретарь партячейки, видимо, пользовался этим. Он изучал народ на участке. Соседи его, густо сидевшие в последних рядах крестьяне-сезонники, явно отнеслись к суду с неудовольствием. Было заметно секретарю, что вор для них сейчас «свой брат» и что в этом зрелище суда они на стороне вора, может быть, и не потому даже, что он свой, а потому, что раздражает и конфузит их при посторонних лицах на стройке громоздкий и громогласный аппарат судилища. Впечатление это определилось у секретаря не сразу, а когда определилось, он подумал об ошибке. Не так надо было браться.

Вора привели и посадили на скамейке рядом с милиционером, лицом к публике.

Кое-кто привстал, чтобы лучше разглядеть его. Дети мгновенно отлипли от кресла писателя и стали тихонько набираться вокруг скамейки. Вор нетерпеливо отогнал их,— в жесте было задетое самолюбие. Он положительно не хотел, чтобы его заслоняли.

Вор был крестьянин лорийской деревушки, одетый в отчаянное тряпье. Рвань вывешивалась из бесчисленных дыр на его зипуне, сшитом из мешка, подобно тому как из многоэтажного дома с бесчисленными раскрытыми окнами по пояс вывешиваются жители. Ветер, пущенный в зал из дверей, чтоб прочистить немного дымный и душный воздух, шевелил тряпочками на его зипунишке. Ноги крестьянина — по лорийской моде, в грязных до колен обмотках, подвязанных веревочками,— пахли буйволиной кожей сандалий. Не то чтоб уж и вовсе не было у него лучшей одежды,— в кованом сундучке хранилось кое-что для большого праздника,— но на стройке, а тем более на суде, осторожность требовала прибедниться.

Лицо вора... Но лицо мог отличить от сотни крестьянских лиц только опытный глаз. Со стороны можно было сказать одно: лицо это совершенно невозмутимо.

Двое свидетелей, крестьянин и милиционер, подходят к столу. Суд берет с них слово, что они будут говорить только правду. Начинается чтение обвинительного акта:

«Вор Грикор Сукясянц, крестьянин деревни Агдах, безлошадный, шесть месяцев чернорабочий строительства, систематически крал и уносил к себе в деревню доски, каковых скопилось у него двадцать восемь штук.

На одной из краж, когда он нес к себе в деревню доску, вор был пойман заведующим железнодорожной базой, проезжавшим по шоссе. На вопрос, что такое он тащит, Грикор Сукясянц ответа не дал и ускорил шаги. За чернорабочим Сукясянцем было организовано наблюдение, которое и раскрыло картину систематического хищения. Обвиняемый, будучи пойман с поличным, признал себя виновным в краже досок и объяснил, что брал их для табуреток».

В продолжение чтения Арусяк лениво чертит что-то у себя в блокнотике. Нежные духи Арусяк никак не вяжутся с серьезностью ее звания. Она пренебрегает этим, ее ноздри арабской лошадки впитывают, поднося к носу надушенный белый платочек, нежный аромат левкоя. Но если б кому-нибудь пришло в голову считать Арусяк чужой в этом зале и даже неуместной, достаточно было бы ему взглянуть налево, где вдоль стены столпилась рабочая молодежь.

Из-под очень длинных ресниц косые глаза Арусяк скользят туда, как случайная молния прожектора. Круглые, черные, бархатистые зрачки ребят ловят этот косой взгляд Арусяк,— и между десятком пар очень молодых и восторженных глаз и этой парой лукавых и полуприкрытых — игра в любопытство; несомненно, кокетничает чигдымский судья, сидя за судейским столиком. Аншлаг между нею и толпой поднят, проезд открыт, «своя» говорят взгляды из зала, и «своею» чувствует себя надушенная девушка. Внезапно игра кончается, ресницы взлетают вверх, и, слегка приподнявшись, она задает вопрос:

— Ты какие доски крал, длинные? Сколько метров длины? Приблизительно покажи (меряет по воздуху!), такие? Или такие? Или такие? Запишите в протокол.

Вопрос кажется в первую минуту бессмысленным. Уголок канцелярии, дамы с детьми, даже президиум сконфуженно улыбаются.

Но Марджана взглянула на подругу с нескрываемым любопытством. Она никогда раньше не видела ее «в работе». Что-то в вопросе судьи говорит ей сейчас, что эта работа — высококвалифицированна, недаром у легкомысленной Арусь блестящая репутация судьи, большой авторитет и слава всезнайки.

С тихим интересом, улыбаясь внутренне на знакомые ей привычные слабости подруги, обвела и Марджа-

на глазами всех участников драмы. Ей стало тотчас ясно, что вопрос попал куда-то в сокровенное и острое место.

Резко зашевелились рабочие-сезонники, сидевшие на последних скамьях. Встрепенулся подсудимый. Он прикидывался до этой минуты дурачком. Защитный цвет глупости слегка даже переборщил подсудимый: раза два втягивал в себя носом несуществующую влагу и вытирался ладонью без особенной надобности, хотя пота не было и во рту пересохло; руки выворачивал так, чтоб рвань свисала кнаружи, и хохлился, даже как-то присутуливался под преклонный возраст, хотя Грикору Сукясянцу было едва за тридцать. Но странный вопрос судьи сбил его с намеченной линии.

Лицо вора осветилось напряженнейшей мыслью, хитрые глаза метнулись было, как мыши, в глубину зала, ища там помощи, потом с настоящей обидой обратились на судью.

— Какие такие? Аршина не имеем, не портняжили. Подбирал, как попадется... (Он внезапно спохватился и сам остановил секретаря, потевшего над протоколом.) — Ты чего пишешь? Пиши: подбирал, какие поменьше.

Тут начался перекрестный огонь — стороны стали чинить допрос.

Стороны имели, по-видимому, какие-то между собой сложнейшие взаимоотношения. В зале у каждой из них были свои приверженцы, подобно тому как есть они у боксеров в цирке.

Защитник, заведующий кооперативом, был по внешнему облику «доброе сердце». Овальная, как яйцо, совершенно лысая, блестящая голова с прорезью тусклых зеленоватых глаз сдабривалась внизу чувственным и тонким хоботком гурмана, сластолюбивой слабостью бритого подбородка, темная актерская синь которого еще сильней обнажала выразительную красноту рта. Он говорил тонким, бабьим голосом:

— А позволь тебя спросить, ты, когда крал, сколько у нас зарабатывал? Рубль двадцать? Запишите: подсудимый получал ниже нормы.

— На экономику бьет, сукин кот,— явственно отозвался Косаренко из зала, обращаясь к соседям. Рубаха нараспашку, белый, веснушчатый, сухо-блестящая кожа на скулах, матросом архангельским сидел среди своих соседей Косаренко.

— Был ли подсудимый под судом до настоящего дела?— осведомился прокурор.

Он тоже имел в зале свою партию, и, по-видимому, многочисленную. Как бы для пущего контраста с защитником, прокурор оброс не по возрасту бородой, к самому носу начесывал со лба кудри, смеялся негромко, глуша смех в густейших усах и бороде, и никак не похож был на двадцатидвухлетнего. Работал «прокурор» на дизеле и состоял секретарем комсомола.

— Ага, девять месяцев сидел в тюрьме...

— При дашнаках!— перебил тонким голосом защитник.

— Девять месяцев при дашнаках за воровство пшеницы...

Стороны не хотели успокоиться и продолжали сражаться. Ища сочувствия в зале, с улыбочкой устанавливал защитник, что Грикор Сукясянц «дома у себя ничего не имеет», «хозяйство никакое», «детей мал мала меньше». Он неожиданно вставил каверзный вопрос: а видел ли кто, как подсудимый крал доски?

Грикор Сукясянц сидел в тревоге и оглядывался то направо, то налево. Вернее сказать, не оглядывался, а дергался всем телом, напряженно всматриваясь в вопрошающего и в движущиеся губы его. Казалось, он ищет указания или подсказа в губах.

— Видел ли кто, я тебя спрашиваю, когда ты брал доски?— выразительно повторил защитник.

— Видел,— заторопился вдруг подсудимый и замигал часто.— Многие видели. Брал, не скрывал.

— Откуда брал?— опять вскользь вставила судья.

Подсудимый и на этот раз огрызнулся. Странные вопросы женщины волновали его.

— Откуда... Где валялись, оттуда и подбирал!

— На табуретки тебе небольшие доски нужны были,— словно нехотя говорила судья, пристально разглядывая собственные ногти.— Свидетель, подойдите сюда. Расскажите, где вы поймали подсудимого с поличным.

К столу приближается первый свидетель, милиционер. Тощий в своем мундирчике, простоватое мужицкое лицо, подкрученные кверху усики,— и неожиданно четкий голос и знание процедуры. Бойко рапортует, не дожидаясь вопросов, имя, фамилию, возраст.

Он производил обыск в зимовнике. Десять штук досок нашел в одном месте, одиннадцать в другом и семь досок

в третьем. Все доски оказались порезаны. Что? Может ли свидетель установить, где подсудимый резал доски?

Опять возращается Арусяк с настойчивостью часового маятника все к тому же непонятному для большинства в зале вопросу о размере досок.

Да не все ли равно, где резал и резал ли? Из зала несутся возмущенные голоса: «Зубами грыз». Свидетель, помявшись и сбившись с тона, отвечает:

— Не знаю.

Между тем подсудимый переговаривается глазами с последними скамьями. Кто-то в бараньей шапке привстал. Кто-то поднимает пятерню, загибая сперва один палец, потом другой. Еще кто-то складывает ладони рупором и явственно адресует подсудимому единственное словечко, сильное словечко со вложением в него под семью печатями укоризненного смысла, особой предостерегающей инструкции:

— Химар (дурень)!

Внезапно подсудимый вскакивает, роняя шапку на пол. Лицо его озаряется вызовом. Глядя не на судью, а мимо нее, в угол, где качается элегантная тень судьи, то удлиняя нос и капая носом в бумагу, то быстро втягивая его обратно,— говорит Сукясянц быстро-быстро, убеждающим голосом:

— Э, зачем мне резать, ну, скажи, милая, зачем мне возиться доски резать,— пойди посмотри, какие доски лежат! Сколько хочешь кусков, тут у нас и маленькие лежат и большие лежат. Зачем, скажи, буду брать, что не нужно? Брал, что мне нужно, маленькие доски брал, на табуретку.

Но тень судьи слушает эту быструю речь, нимало не убеждаясь. В зловещем ее качании на стене подсудимому чудится «собственное мнение», и, вытерев ладонью пот со лба, на этот раз настоящий, а не выдуманный, Грикор Сукясянц тяжело садится на скамью.

Никто не слышит тихого нежного свиста из первого ряда. Прикрыв рукой брови и налегая плечом на услужливое плечо Влипьяна, немецкий писатель внезапно заснул нервным сном человека, которому не хватает в толпе кислорода. Зная эту особенность за своим великим протеже, мосье Влипьян деликатно держит плечо и храбро переживает ситуацию, как человек, вышедший прогуляться под очень маленьким дождем. Он знает, что дождик скоро пройдет,— и писатель вдруг на самом деле пробуждается столь же неожиданно, как заснул.

Уютно распахивая веки, он невидящими глазами смотрит на эстраду и улыбается умиленно:

— Все очень хорошо, очень хорошо. Merkwürdig[1], мосье Влипьян, удивительно, Herr Влипьян, это высокое милосердие советского суда... У нас на родине в аналогичных случаях — дерзкие окрики, зуботычина, формальная точка зрения. Не правда ли, вор этот «бедньяк» (bednjack) или, может быть, «сердньяк»? Конечно, er schähmt sich, он устыжается, и его отпустят... О, хорошо, хорошо, menschlich abgemacht![2]

Разумеется, эту маленькую речь лучше было бы произнести вслух, а не шепотом, и не сейчас, а как заключительный аккорд, обращаясь с трибуны к славному русскому пролетариату. Вздохнув, писатель чувствует нетерпеливую жажду конца, и ему кажется, что все вместе с ним ждут конца и этой маленькой трогательной речи.

Второй свидетель между тем давно уже дал показание, и не близость конца, а самый настоящий интерес к началу пробежал по последним рядам. Второй свидетель под перекрестным огнем сторон долго силился разобраться, свежие ли порезы были на досках или старые, при дашнаках ли судился подсудимый или не при дашнаках.

На вопрос, что он может сказать в свою защиту, Грикор Сукясянц угрюмо ответил:

— Ничего.

III

После некоторого затишья обвинитель поднимается с места. Он, посмеиваясь, переглядывается со своей аудиторией. «Сыпь, не жалей»,— поощряют румяные комсомольские улыбки.

Обвинитель речи своей не готовил, на бумажку для памяти ничего не заносил, красноречие — национальный талант армян — вывезет его, он это знает.

Но тихий и слегка недоумевающий взгляд Марджаны странным укором вдруг оборвал его смешливость. Он заметил Марджану только сейчас, как и вообще никто не замечал ее до этой минуты.

Сидя профилем к президиуму и лицом к залу, Мард-

---

[1] Замечательно *(нем.)*.

[2] Гуманно проделано! *(нем.)*.

жана, постарев и осунувшись, страдала от течения суда. Несколько раз, повернувши голову, она шептала что-то Агабеку, примостившемуся за ее спиной. Участие ее в происходящем было скрыто от зрителей. Только взгляд, брошенный на обвинителя, выдал вдруг, что Марджана сопротивляется внутренне, не сочувствует внутренне, не одобряет внутренне, и, когда комсомолец, споткнувшись в самом начале своей обвинительной речи, показал, что заметил это ее неодобрение, оно передалось и другим на эстраде и прибавило ко всему происходящему чувство какой-то неловкости.

— Я задаю вопрос,— начал обвинитель голосом гораздо менее уверенным, нежели хотел,— я, товарищи, задаю вопрос, можно ли назвать Грикора Сукясянца рабочим? И отвечаю: нет, это не рабочий, таких рабочих нам не требуется, от такого рабочего избавьте, пожалуйста. У кого он крадет? У себя, у своего класса, у нашего, товарищи, нового строя он крадет. Вы представляете себе? Вы, я, вон те товарищи, и эти товарищи, и миллионы восставшего пролетариата — мы строим новый строй по кирпичику, по дощечке, по гвоздику, тяжело нам, ох, как тяжело: таскаем, пыхтим от тяжести, надрываемся, зато, думаем, с каждым гвоздиком приближается царство социализма. И вдруг появляются среди нас ему подобные Грикоры Сукясянцы; они, товарищи, тоже называют себя рабочими. Но в то время как мы приносим по дощечке, чтоб построить социализм, они потихоньку, товарищи, у нас из-под носа эти самые дощечки раскрадывают и растаскивают, они их тащат, с позволенья сказать, на гроб социализму! Да, на гроб социализму. Ничем иным нельзя назвать семейные табуретки, какими эти паразиты нашего строительства соблазняются, чтоб уворовывать необходимые нам для целей строительства материалы. О чем это говорит? О вредительстве самого наихудшего вида. С этим, товарищи, надо у нас покончить. Если так будет продолжаться, у нас ничего не останется. Один вор уйдет безнаказанным, десятки других объявятся на участке, сотни объявятся, а посчитайте, если каждый соблазнится доской, сколько этих досок будет у нас пропадать со складов? Так, товарищи, нельзя, немыслимо это допустить. Он сегодня взял доску, завтра он возьмет что-нибудь более ценное — машинную часть, алмазный бур. Я требую, товарищи, чтобы вы подошли к вопросу со всей серьезностью и осудили Грикора Сукя-

сянца по сто восьмидесятой статье, имея в виду предотвратить раз навсегда повторение таких недопустимых явлений на нашем участке в будущем.

Он разгорячился и кончил уже с полной уверенностью. Правда, больше половины мотивов, хороших сравнений и словечек того обычного зубоскальства, каким полны были его выступления и каким он нравился молодежи, сегодня в речи его не было, хотя все эти словечки обвинитель готовил и перебирал заранее, прежде чем встать; но взгляд Марджаны, как ситечко, процедил их, оставя на поверхности сказанного только то, что надо было сказать.

Подсудимый с любопытством глядел на говорящего в продолжение всей речи. Когда обвинитель сел, он даже вздохнул слегка — от неожиданности. Видно было, что самого главного, того, что его лично, подсудимого, интересовало или пугало, он не дождался от прокурора.

Теперь наступила очередь защитника. Этот взволнованно положил перед собой кучку мелко исписанных листиков из блокнота. Привстав, он сперва потянулся к далекому графину с водой, налил, жадно осушил стакан и начал говорить патетическим влажным голосом, смачивая время от времени языком губы:

— Если б совершивший данное воровство Грикор Сукясянц был настоящим кадровым рабочим, тогда, товарищи, все стрелы нашего обвинителя, пущенные, так сказать, с принципиальной высоты, были бы справедливы, и я первый вынужден был бы в своей защите ограничиться только немногими указаниями на смягчающие обстоятельства. Но посмотрите, дорогие товарищи, на кого, в каком направлении посыпались стрелы обвинителя? Вот он сидит перед вами, Грикор Сукясянц, лорийский крестьянин. Перед вами простой сезонник, первый год работающий на строительстве. Хозяйство у него — да разве можно серьезно говорить о хозяйстве таких, как Сукясянц? Лошади нет, инвентаря нет, ячменя нет, запасов нет; как вам известно, этот крестьянин имеет землю на половинных началах, то есть считается в наших условиях самым последним бедняком. С другой стороны, посмотрите, что он имеет от работы на строительстве? Во время совершения покражи Сукясянц получал рубль двадцать в день, иначе говоря, не имел даже нормы. Вы знаете, как тяжела черная работа зимой в наших условиях, когда земля мерзлая, лопата ее не берет,— бьешься-бьешься, не можешь довыработать

норму. Он, как вы сами видите, геркулесовой силой не отличается. Я слышу в зале смех, и мне стыдно за этот смех. Ничего тут смешного нет, товарищи, если человек слаб здоровьем, истощен малярией и не может хорошо работать. Вот там кто-то кричит, что у нас не богадельня. Совершенно верно, у нас не богадельня,— у нас своего рода школа, школа перевоспитания вот таких, как Грикор Сукясянц, в настоящих, сознательных рабочих. Наша страна земледельческая, прошу этого не забывать, у нас девяносто процентов рабочих таких, как он. Итак, я продолжаю. Крестьянин попадает на строительство, он еще не знает, что можно и что нельзя и почему именно нельзя. Это важно сейчас отметить. Что? Раньше крал? Извините, прежняя судимость Сукясянца здесь не была доказана, а говорить о вещах недоказанных — значит клеветать. Если в быту Сукясянца появилась потребность в табуретке, это, на мой взгляд, положительный симптом. Обычно у нас в отсталых крестьянских домах сидят на паласах, специальных сидений не употребляется. Я считаю, что необходимость табуретки появилась у подсудимого под влиянием более культурных навыков, приобретенных им на строительстве...

Здесь кто-то сердито притопнул каблуком об пол, как будто хотел прервать оратора. Председатель взялся за звонок, а потом оглянулся через плечо: топнул Агабек.

Защитник продолжал:

— Большого греха в том, чтобы взять никому, видимо, не нужную доску для понадобившейся табуретки, отнюдь нет, и не только я не вижу в этом греха, но и на строительстве как будто не называли это грехом, так как Сукясянц брал доски на глазах у всех, брал среди бела дня, это установлено судом, и никому в голову не пришло остановить его, даже и сам Сукясянц, по всей вероятности, был убежден в том, что ничего дурного не делает. Итак, я резюмирую: за недоказанностью первой судимости и за невозможностью считать собирание ненужных досок воровством, а также принимая во внимание бедность и несознательность подсудимого, прошу вас о полном его оправдании и думаю, что в дальнейшем он красть не будет!

Защитник сел, довольный собой. Сукясянц, сильно усталый, зевал, не закрывая рта. Дамы из первого ряда улыбались заведующему кооперативом,— он, несомненно, победил обвинителя. «Хорошо ли?» — спрашивал

взгляд защитника, хотя спрашивать было излишне, внутренний голос твердил ему: «Молодец, очень хорошо!»

Но когда встала Арусяк, хрустнув предварительно застежкой своего клеенчатого портфельчика, куда она за минуту перед тем вложила бумаги, защитник встрепенулся.

— Обращаю внимание суда,— сказала Арусяк, блеснув в сторону подсудимого косым взглядом,— что обвинителем и защитником было упущено очень важное обстоятельство. Не брезразлично ни для потерпевшего, ни для подсудимого, *какие* он доски крал. Если б он взял небольшие доски потребного для него размера, то, ввиду нахождения и возвращения этих досок, строительство не могло бы считать себя пострадавшей стороной. Суд выяснил, однако, что такого размера свеженарезанных досок на складе не было, подсудимый брал, следовательно, большой размер и распиливал доски у себя в зимовнике, где найдена и пила. Таким образом, строительство терпит убыток, получая обратно испорченный материал, и вправе учинить подсудимому иск в размере своего убытка.

— Не пилил я!— отчаянно крикнул подсудимый, и зевота сразу соскочила с него.

— Химар!— опять крикнул в зале неизвестный доброжелатель.

Суд вышел, соблюдая традицию. Минуты через две он вернулся, все встали, и приговор был торжественно прочтен. Грикор Сукясянц получил шесть месяцев тюрьмы и присуждается к уплате строительству двадцати восьми рублей сорока копеек за причиненный убыток.

Тотчас же, как был оглашен приговор, из толпы вышли двое крестьян и, поднявшись на эстраду, сказали что-то судье. Это были поручители. Их деловитое появление открывало кусочек закулисной стороны суда. Было ясно, что подсудимый давно уговорился с ними, и они ждали своего часу, сидя в зале. Ясно было и по раздосадованному лицу Сукясянца, сразу потерявшему придурковатость и глядевшему сейчас просто, умно и зло, что параграфы знает он сам не хуже судьи, что болтовня обвинителя и защитника его утомила, что наказание было ему известно лучше, чем всем, кто сидел в зале, и что вся острота положения заключалась для него только в одном: вчинят ли гражданский иск или

не догадаются. Иск был для Сукясянца самым чувствительным местом.

В перерыве, когда суд окончился и все вышли покурить в маленькую и душную актерскую, где все еще сидел рыжий, Марджана заговорила, обращаясь к месткому:

— Это обычная процедура суда на строительстве или это в первый раз так?

За месткома ответила Арусяк:

— Чего ты нервничаешь? Что тебе не нравится? Знаю, джан,— перебила она, когда та собралась сказать что-то,— знаю, молчи. Не делай, пожалуйста, выводов. Нам важно практически решить вопрос, чтоб неповадно было в будущем. Мораль тут ни при чем. Если ты запоешь ему о высоких материях, он завтра украдет опять. А вот когда приходится раскошелиться...

Но Марджана поморщилась. Не то, не то! Арусяк во всей силе ее юридических талантов отталкивала сейчас Марджану своим непониманием.

— Пойми же, ведь это наш, советский суд. Ведь он должен воспитать, устыдить рабочего... А вышло крючкотворство какое-то. Даже вору было скучно слушать защитника,— до того возмутительна, никуда не годна была его речь!

— Я целиком разделяю ваше впечатление,— тихо вмешался подошедший к ним секретарь ячейки.— Но дело тут не в суде. Суд само собой. До суда надо было обсудить на собрании, чтоб подготовиться заранее.

— Ерунда,— прервала Арусяк,— диалектика! Мы делаем свое, масса делает свое, а результат получится положительный. Вот увидите! Да и притом же ведь мы не кончили. Собрание продолжается. Масса, будьте уверены, покритикует хорошенько дела на участке!

IV

Изумленно и почти шокированно немецкий писатель смотрит на соседа справа. Влипьян не может дать объяснений,— он удрал покурить. Объяснение, однако же, необходимо: рядом с немецким писателем уселся сейчас, нахально напялив шапку по самые брови, сердитый, но чрезвычайно разговорчивый, лопочущий на своем гортанном языке что-то быстро-быстро, непонятной скороговоркой, сам вор, Грикор Сукясянц.

Оба его поручителя, тесно сближая головы, втроем

с Сукясянцем на двух стульях, слушают и отругиваются или, может быть, поощряют. Ни один из них не дарит вниманием немецкого писателя, величаво выпятившего грудь.

Маленькая и трогательная речь душит иностранного гостя, как опухоль в зобу,— на этот раз он ничего не понимает. Не приходит ему в голову только одна самая простая мысль: что все это делается вовсе не назло ему и не для него, но что в течение событий попросту и публика, и руководители, и администрация забыли о нем.

Мастер-латыш, предупрежденный насчет приветственного слова, тоже забыл о нем. Он что-то заносит большим синим карандашом себе в книжку, низко опустив круглые очки на бородавчатый нос.

Внезапно очень звонкий, чеканный голос возносится над залом почти одновременно с деликатным звонком Степаноса. Степанос — мягкотелый председатель, события всегда опережают его. Слово принадлежит председателю месткома Агабеку.

Когда Агабек заговорил, из двух раскрытых в мартовскую ночь дверей густо хлынула назад в зал толпа. Усаживаясь кой-как и вперемежку, она разрушила прежние загородочки, и сейчас все слилось: простоволосые русые головы с бараньими шапками, фуражки техников со стриженной по моде прической Марьянки-уборщицы, контора очутилась в гуще партийной интеллигенции,— словом, уже нельзя стало, водя с эстрады глазами, упираться в отдельные характерные группы людей, облюбовавших себе каждая свое местечко.

И Агабек, сердито выбрасывая слова, глядел прямо в гущу на какой-то мысленно им воображаемый фокус, принимавший последовательно все нужные формы слушателя, то ругаемого, то сочувствующего, то норовящего сделать вылазку. Агабек всей тяжестью выступления своего напомнил, что в зале идет общее собрание и что оно не только не конечно, а и не начато.

— Тут один товарищ выразился, что у нас не богадельня...

— Шш!— мягко остановил зал Степанос и, не дождавшись тишины, зазвонил во всю мочь.— Товарищи, прошу не безобразить! Слово принадлежит предместкома!

— Кому интересно шуметь, тот пусть уходит вон!— звонко продолжал Агабек.— Повторяю, один здесь выразился, и правильно выразился, насчет богадельни. Товарищ защитник ответил ему, что-де у нас не бога-

дельня, а школа, и для подобных Сукясянцу несознательных рабочих будет у нас пролетарская выучка. Однако, спрашиваю вас, товарищи, хорошая, нечего сказать, пролетарская школа на участке. Где это видно, чтоб бревна и доски, поделочный материал дорогой цены, доставляемый сюда за пятьсот и даже более километров, валялись без охраны по всей территории участка и заведующий складом птиц в небе считал?

— Справедливо. Моя вина! — с места отозвался Косаренко.— Больше этого не случится!

— Где видно, чтобы Сукясянц мог уворовать без помехи двадцать семь досок и на двадцать восьмой просчитался? — продолжал Агабек.— Унести с участка в деревню, за несколько километров, на своих плечах двадцать семь досок — это не булавку спереть. Одна доска, товарищи, четыре метра длины, двадцать пять сантиметров с лишним ширины, в ней порядочно весу, ее тащить незаметно никак нельзя, многие, следовательно, видели, как Сукясянц таскал доски, и преспокойно на это смотрели. Вот где, я считаю, больной вопрос для участка. Школа, товарищи, это сказать не так просто. С неба на вас хорошие качества не валятся, их в лавке готовыми не покупают. Хочешь дисциплину знать, хочешь честность воспитать, хочешь из темного человека сознательным пролетарием стать, так ты этого всего по книжке не вызудишь, нет, извините, товарищи, не вызудишь по книжке. Такого экзамена по учебникам не сдают. Дело должно дисциплину иметь, должно счет вещам вести, должно быть так поставлено и организовано, чтоб школой честности сделаться. Коли у нас государственное добро без счету под дождем гниет, это значит — мы сукясянцев на воровство воспитываем. Предлагаю, товарищи, в ударном порядке покритиковать наши недостатки и неорганизованность в целях скорейшего изжития. Высказывайся, товарищи, кто что может, по этому вопросу. Товарищ председатель, открой прения без предварительной записи.

К этому, по-видимому, никто не готовился заранее, но тотчас же несколько голов приподнялось над общей массой сидящих в зале.

Не торопясь вышел к эстраде мастер-латыш. Он спрятал книжку и большой синий карандаш в широкий карман синего френча, руки заложил за спину, а говоря, поворачивал нос, как острие корабля, то направо, то налево, вплывая басистой речью в гущу слушателей.

— У нас имеется на участке лишнее количество материала, часть его не учтена. С базы получаем без документов, принимаем неисправно. Так, на втором складе приняли арматуру несведущие люди, навалили сперва в самый низ ящики потребные в первую очередь, поверх их менее нужные, а наверх пошло добро, которому черед никак не раньше будущего квартала. Это есть непорядок. Грузчики смеются над заведующим базой. Рабочим лишняя нагрузка. Теперь, пока до нижних ящиков докопаются...

— Руку об них обломал!

— С места не говори, выдь к эстраде!

— Рабочие обижаются, факт!

— Начальник участка на базе с позапрошлого месяца не был...

— А лампочки получили поколоченные, сделали акт, что упаковка виновата, врут, не упаковка виновата!

— Аветис, не говори с места!

— Что ж, я и не с места скажу!— Черноглазый парень в кожанке выходит к эстраде.— Упаковка тут ни при чем. Младший наш инженер-электрик, ему бы еще поучиться, прежде чем жалованье получать. Он по командировкам за материалами ездит, а привозит не того, что требуется. Лампочки при нем упаковывали. Он их неправильно в багаж сдал. Фирма лучше б него прислала, и не побились, а через него убыток строительству свыше трехсот рублей. Ему говоришь, а он нос воротит: не твое дело. Как это так — не твое дело? Врешь, наше дело,— рабочий у нас хозяин, народные денежки, не твои, плачут. Если рабочему «не твое дело» говорят, это что, школа, по-вашему?

Рыжий, глядевший и слушавший с огромным для себя интересом, увидел вдруг у дверей сгорбленного человека в сдвинутой на затылок бараньей шапке. Как слушал этот человек латыша! Арэвьян сразу узнал его, это был сторож Шакар, встреченный им недавно у барака.

Переминаясь от волнения с ноги на ногу, обуреваемый жаждой тоже слово сказать, забитый лорийский крестьянин переживал сейчас светлый праздник. Он был частью коллектива. Он ощущал себя, свои кровные интересы, свои вкусы и чувства — в соседях. Каждый как будто говорил именно то, что и он, бедняк из Агдаха, сказал бы, считал справедливым сказать. Нет, он не мог объяснить волненья, подступившего к горлу. Широк стал мир для Шакара,— и уж полно, уж он ли это стоит, со всеми равный, на собрании, стоит, где не стесняясь режут правду

в глаза начальникам... «Рождение советского гражданина»,— невольно вслух прошептал рыжий, заглядевшийся на Шакара.

А в первых рядах было другое.

— Опять личности!— вздохнула счетоводова жена. И ей и соседке ее было скучнехонько до зевоты. Кавалер их, Володя-конторщик, сидел мрачно и не острил. И все складывалось сегодня в клубе не по-хорошему: привычные их места, молчаливо за ними оставляемые, заняты, соседи перемешались, они растеряли в толпе своих. Поистине спасением было хоть и позднее, но такое необходимое появление начканца, Захара Петровича, чья кудреватая с проседью голова вдруг появилась над толпой. Захар Петрович уверенно шел к первым рядам, он насвистывал веселый мотивчик.

— Ну, как?

— А вот так. Агента вашего ищите на эстраде.

Захар Петрович на странный ответ Володи не обратил никакого внимания. Добродушным движением руки он убрал со стула двух малышей, вытер стул носовым платком, сел, платок спрятал в брючный карман и опять рассеянно спросил Володю-конторщика:

— Ну, как?

— Я же вам говорю, Захар Петрович,— ваш новый служащий в фаворе. Его вместо меня в конферансье пригласили. Он с Агабеком на эстраде околачивается. Откуда вы его, между прочим, знаете?

Но Захар Петрович был недопустимо рассеян. Он снова пропустил все сказанное мимо ушей. Круглые и веселые глаза его высматривали там и сям в толпе говорящих, потом он откашлялся, плюнул на пол, раздвинув колени, и тотчас же наступил на плевок, усы разгладил, и в горле у него приятно забулькало после прочистки.

— Ну и ну, шпарят по всем линиям. А я, признаться, на концерт шел. Это что ж, это кого они?

Маленький худой рабочий с красными пятнами на скулах почти кричал:

— Там, говорю, нельзя линию прокладать,— болото, оттепель, вода подымается, через два часа разбирать придется. А начальник участка: делай, что приказано. Сорок человек шпалы с насыпи вниз таскали, вода поднялась, если бы назад не перетащили, понесло бы наши шпалы аж на станцию. Это, я спрашиваю, приказ? Должóн рабочий или нет правильность руководства иметь? Это на чей же счет разбазариваться? Считайте: суточный

труд сорока человек, да часть шпал подмочило, да день потеряли, да работа на мосту стоит, дамбу крепить нечем. Это, я называю, никакое руководство,— с толку сбивают. После этого веры в работу не будет...

— Кто говорит?— прищурился начканц.— Самсонов Михаил говорит?

Больше он ничего не сказал. Но Володя-конторщик почувствовал себя несколько лучше. Наклонив шевелюру, он зашептал в ухо начканцу:

— «Вредный» опять бузотеров выпустил. Ни с того ни с сего, после суда,— да еще в присутствии немца. Многие тут говорили: бурильщик Заргарян, Аветис со склада, мастер Лайтис говорил...

— И Лайтис говорил?

— Первый застрельщик!

Но тут оба заметили взгляд сидевшего по соседству рабочего и замолчали.

V

Захар Петрович по-своему понимал дисциплину и по-своему понимал службу. У него была законченная идеология и непогрешимая практика. Первая заповедь Захара Петровича гласила: чтоб все шло гладко, и вторая заповедь добавляла: делать дело без шума. Когда начальник участка Левон Давыдович, нервничая, хрустел пальцами и панически повторял, что нет, нельзя работать, сегодня же подаст заявление об уходе, Захар Петрович успокаивал его немногими словами:

— Выше головы не перескочат.

Он твердо верил в среднюю линию миропорядка. Средняя линия миропорядка исключала долгое беспокойство: передерживать человека на беспокойстве никак нельзя,— побеспокоится и войдет в норму. Есть-пить каждому надо, сон в свое время любого самокритика свалит, без бабы тоже не обойтись. Выждать время — вот тактика, потому что время работает на того, кто спокоен, кто не расходует нервов и не выбрасывает слова. Поменьше слов — каждое вырастет за спиной в дерево. Скажешь: «Здравствуйте»,— через год откликнется: «Давал взятку».

Вот как философствовал Захар Петрович наедине с близкими. Впрочем, он любил дело, и дело любило его,— сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, будки администратора,

своевременных умолчаний. И основой для тактики Захара Петровича было правило:

«Каждый начальник хорош».

— Мы с ими тем отличаемся,— говаривал он, вульгаризируя язык и кивая в сторону «бузотеров»,— тем и отличаемся, что для нашего брата плохого начальства нет, а для ихнего брата хорошего начальства нет.

Когда Самсонов кончил, Захар Петрович впервые внимательно уставился на эстраду. Здесь он, к великому своему изумлению (значит, Володька не врет!), увидел рыжего, точнее не рыжего, а узкий спортивный носок его американских туфель, выдававший присутствие рыжего за ближайшей к столу кулисой.

— Ну-ка, садись-ка,— коротко сказал начканц, безо всякого стеснения толкая соседа на свое место, а сам пересаживаясь на чужое,— нуте-ка, послухаем.

Но «слухать» он и не собирался. Делая гримасу глуховатого и как бы нацеливаясь ушами на громкий голос очередного «бузотера», Захар Петрович на самом деле во все глаза глядел на своего архивариуса. Рыжий отсюда был виден. Он сидел в обычной для него позе, вскинув ногу на ногу, прижав локти к бокам, обе руки в карманах, тихое мерцанье стекол на лице, где только плотно сжатые губы говорили о характере, все остальное замкнуто и молчит.

«Черт его знает откудова сей человек! Часу не прошло — примазался. Ой-ой, Захар Петрович, дурака свалял!» Так приблизительно расшифровывались в словах неясные чувства, возбужденные в начканце уютной позой рыжего на эстраде.

Было странно и неприятно видеть своего служащего вполне независимым. Он, впрочем, может быть, и зависел, только не от начканца, Захара Петровича. Носок его острой туфли был в фамильярной близости с пыльным сапожком чужой девушки, уронившей голову в ладошку,— партийка, должно быть. И местком Агабек был недалеко от рыжего,— девушка, рыжий, Агабек,— каждый по-своему слушал: первая — в совершенной задумчивости, сдвинув брови; второй — блестя стеклами; третий — ехидно, с карандашиком над примятой бумагой.

Даже и Степанос не следит за временем и слушает, а того не замечает, что время за полночь и актеры, приехавшие на концерт, давно уехали обратно на станцию. Вот тебе и концерт! Черт его знает что за нахальство. Нашел время для общего собрания!

Рабочие в зале провалили все: чествование немца, доклад Марджаны, дивертисмент, и, если сказать точно, даже Грикора Сукясянца с его досками провалили рабочие, потому что вот он сидит, Сукясянц, все еще рядом с писателем, и совершенно неприлично участвует в прениях.

Комочки бумажек одна за другой летят в президиум. Степанос подбирает их плоскою, сероватой рукой улитки, он разворачивает их, словно вареную картошку чистит, и близоруко подносит к сощуренным глазам,— кучка записок растет возле него и растет. С места делаются заявления. Каждому оратору время сокращено до трех минут, а кажется, им конца нет.

— Вот что значит полгода не было производственных совещаний!— говорит Косаренко соседу.— Начальнику бы участка послушать сегодня. Куда он смылся?

Тихо и словно просыпаясь, поднимается наконец рыжий с потеплевшей под ним табуретки. Затекла нога — падает, как деревянная. Сухо во рту, кончики пальцев отекли от тесноты карманов. Глаза его ищут взгляд Марджаны и встречаются с ним.

Тесной кучей, разгоряченные, подавленные ворохом впечатлений, симфонией из сотни партитур, идут они все вместе с эстрады вниз, и рыжему нестерпимо хочется взять под руку Марджану, как тогда, на темном шоссе, и говорить с ней, услышать ее негромкий, нежный голос.

Но последнее слово принадлежит злой фее из сказки. Незваная и негаданная, она появляется вдруг, будто занесенная сюда капризом толпы, за тесною кучкой президиума, тоненько побрякивая наконечниками кавказского пояса, добродушно прищуривая узковатые глаза, плотно и твердо наступая на рыжего и отгораживая его, отклоняя его, отвлекая его, загоняя его большою пойманной рыбою в иную социальную плоскость, в мир иных отношений, иных понятий, иного смысла.

— Здравствуйте, Арно Александрович, наше вам!

Рыжий очнулся — вокруг шумят последние выходящие из клуба рабочие. Звезды бледно блещут в небе,— нет Агабека, нет девушки с красивыми бровями, нет арабского профиля Арусяк и духов ее, нет бледных ушных раковин Степаноса, нет зеленых насторожившихся глаз горбуна — вот кого больше всех недостает сейчас рыжему!

— Здравствуйте, Захар Петрович!

Начканц взял рыжего под руку и придержал немного, покуда толпа вовсе схлынула.

— Да-с, не дождались мы с вами концерта. Между прочим, вы есть не хотите ли? Уж конечно хотите,— в столовке дадут, идемте. Что? На ночь не кушаете? Так я вас прямехонько на гуте-нахт доставлю, аккуратный вы человек,— в комнату для приезжих. Завтра мы вырешим, где вам жить. Ну, какое у вас впечатленье?

— Плохо организована работа на строительстве,— нерешительно ответил рыжий.— Вы слышали, ведь это поток какой-то,— все жалуются, и обоснованно жалуются.

Захар Петрович добренько засмеялся.

— Ми-и-лай,— простонароднейше воскликнул он, даже остановившись от удивления,— да вы прежде-то когда-нибудь на больших стройках живали? Нет? Ну, поживете и попривыкните. Строительный рабочий, он, знаете, всегда жалуется, без этого, друже, нельзя. И скажу по секрету: правильно жалуется, но... но...

Он торжественно упер в «но». Поднял в темноте указательный палец. Поиграл им у самого носа рыжего.

— Но в том и заключается весь ход работы нашего персонала, чтоб уметь не смущаться, понимаете? Потому что вы эти неправильности бессильны тронуть: они, как врачи говорят, «органический порок».

— Вряд ли,— спокойно, хотя и смирно ответил рыжий.

Начканц опять засмеялся. Смех его был добрый. Смех говорил: напичкали человека, ох, какая возня с ним.

— Дайте-ка присядем сюда на бревнышко. В бараке жарко, заберите перед сном чистого воздуху в легкие. Да, так вот что я вам скажу. Впечатлительны вы очень, Арно Александрович. Я в молодости «Вырождение» Макса Нордау прочел и уверовал, что мир вырождается. А мой дядя, умный человек, говорит мне: «Дураки печатному слову верят. Ты погляди, какой повсеместно прирост населения. Скоро деваться от людей некуда будет, а твой Макс Нордау панихиду поет». Так и я вам скажу: первому впечатлению не верьте. Нужно обстановку учесть, вот в чем дело.

И, внезапно перестав балагурить, заговорив настоящим и простым своим языком, начканц Захар Петрович, даже сам этого заранее не собираясь, будто себе самому, сообщил рыжему очень секретные и ничуть не лукавые соображения:

— Никто на участке не знает, что смета еще не утверждена. Больше скажу: проект в центре не утвержден. Каждую секунду вот эта вся стройка (он руками обвел полукруг) может лопнуть. Так что же может сделать

начальник участка? На месте рабочие его тянут, партийные организации тянут, профсоюз тянет, а из управления директива: придержите работы до выяснения положения, ни одного лишнего гроша не тратьте, но чтоб не было паники. Вот вам и изворачивайся! Эти кричат: бараки текут. Эх, вы, милые люди, а еще вопрос, имеем ли мы право эти самые бараки строить? Там люди из кожи лезут, надрываются, проект протаскивают, все дело под угрозой, а здесь демагоги науськивают на нас из-за каждого пустяка рабочих. Зло берет, если понять положение. Начальника участка пожалеть надо, а не травить.

Рыжий ничего не ответил, и Захар Петрович докончил:

— Органический порок, я не зря сказал. Вся система на живую нитку. Ихние общие собранья смеху подобны, если знать всю закулисную сторону. Как это можно протаскивать каждую смету в центре к определенному сроку, не имея полного проекта? Раньше-то умный хозяин тысячи на стол выкладывал. Большие стройки не могут денег ждать; дело как пошло — все равно печь затопили,— подкладывай и подкладывай. Иначе — и тепло уйдет, и дрова зря израсходуешь. В Москве-то, говорят, многие начали понимать. Разговоры ходят... Мудри не мудри — правда свое берет. А то — ни черта нет, проекта нет, а кипим-бурлим, фотографы одолевают, корреспонденты одолевают... Нет, вы еще мало знаете. Вы повыше, повыше критику наведите. А то, накося, нашли мишень! Да не только Левон Давыдович, в нашем положении сам Наполеон лучше бы не организовал работу, а не то что Левон Давыдович...

Со вкусом повторив это, начканц нашел, что пора поставить точку и утрамбовать землю над заброшенным в человека зернышком. Нужды нет, что человек странно глядит на него, не по-свойски глядит. Сон, великий чемпион покоя, покоритель критиков, сон должен стать этим мирным трамбовщиком.

И Захар Петрович повлек рыжего в барак для приезжих.

Глава седьмая

БУМАЖКИ

I

Проведя ночь без сна и не в собственной комнате, а в самом нижнем бараке, у жены Маркаряна (о чем

крупно написано в примятых губах, опухших глазах и красноте носа), Володя-конторщик шествует домой, из приличия держа в руках пойманную курицу. Впрочем, уже давно на участке принято говорить, встречая Володю-конторщика, чересчур рано идущего по тропочке снизу вверх: «Ага, опять курицу ловил».

Мать Володи, глуховатая старуха армянка, прямая и тощая, в длинной складчатой юбке и темном платочке, повязанном низко на лбу, ворочается возле примуса. Примус шипит яростно, на примусе уминается рисовая жирная, желтая, пятнами шафрана окрашенная масса. Стройная талия старухи издалека напоминает девичью. Большой ложкой она мнет вниз желтую гущу и облизывает ложку сухими, тонкими, усатыми губами.

Бросив перед ней на пол курицу, Володя не стал пить чай, не стал разговаривать. Жена Маркаряна подлила масла в огонь. Захватив стопочку бумаг со стола, Володя даже красоты перед зеркалом не навел и без чая, без завтрака, не слушая мамашиных причитаний, заторопился в контору.

«Завидуют,— думал по дороге Володя,— правильно она говорит — зависть. До чего же завидуют своему брату! Выдвинули, понравился, пою, играю, образованный все-таки, имею наружность,— нет, надо тебе ножку подставить. Не дают ходу!»

Войдя в контору, где уже потрескивали дрова в печке, он первым делом вскинул глаза на место, где раньше валялся архив.

Место было очищено. За десять дней, проведенных рыжим на участке, весь этот мусор устарелой бумаги, неизвестно для чего сохраняемый, расположился стройными колонками в шкафах и вдоль стен, занумерованный, сшитый, снабженный таинственными литерами и даже законспектированный.

Каждый в конторе запомнил первый день преобразованья мусора. В работе рыжего был метод, как, впрочем, и во всем его поведении: сперва, придя сюда, он постоял некоторое время и покачался даже на своих эластичных журавлиных ногах, руки в карманы, разбитые стекла очков, задумчиво вперенные в бумажный хаос. Губы его оттопырились слегка, словно в раскачке, и в позе, и даже во взгляде рыжего была тайна какой-то внутренней музыки или внутреннего танца. Он и впрямь танцевал мысленно перед каждой работой, танцевал, словно приглашая ее, перед самым ее носом, подобно жесту, с каким

люди потирают руки, прежде чем приняться за дело. Итак, накачавшись змеей, неожиданно для конторских служащих, архивариус не прыгнул и не набросился на работу, как они ждали, а очень медленно и спокойно, сопя носом и крепко стискивая губы, стал выбирать одну за другой разорванные папки.

Сказать правду, Арно Арэвьян отлично знал о производимом им впечатлении. Но он не зря назвал себя агитатором в разговоре с художником. Давно уже заметил он, что удовольствие, испытываемое от работы, от самого процесса работы, удесятеряется, когда можешь увлечь ею, заразить ею других.

Взглянув на очищенное пространство, конторщик Володя тотчас увидел руки рыжего. Из кучки, лежащей на столе, эти руки сухо и с приятным шелестом выбирали некоторые разного размера документы, подносили их к разбитым стеклам очков, отодвигали потом, как бы для того, чтоб проверить, и застегивали вместе булавкой. Потом рыжий выбросил перед собой левой рукою блокнот и занес в него что-то мельчайшим почерком, похожим на микроорганизмы или запятые азиатской холеры.

Контора между тем начала наполняться.

Шумно прошла в свою будку очень крупная женщина в собачьем меху, распространяя запах дешевых духов и подмышек,— телефонистка, жена Маркаряна. Муж ее, завхоз, был в вечной командировке. Ворчливо сел на свое место счетовод, красноносый старичок. Поднял стеклянное окошко кассир, мутным взглядом озирая очередь. Позже всех прибыл начканц Захар Петрович, с подозрительно углубившимися глазами и нервной зевотой: к нему после долгого отсутствия приехала ранним утром жена, Клавдия Ивановна.

День начался, как обычный день, за вычетом, впрочем, субботнего настроения. В коридоре перед окошком сезонники получали деньги, артельщик за спиной кассира готовил брюхастый чемоданчик, чтоб уложить в него квадратики повязанных денег и тяжелые трубки медяков,— для доставки их на базу и дальние точки работ. В субботу занятия кончались рано, и настроение служащих было предпраздничное. Даже Левон Давыдович казался менее педантичным, его щукастый профиль в стеклянной будочке с задумчивостью вскидывался от бумаг к окну.

А за окном падал мокрый и вялый мартовский снег, опутывая горизонт мутноватою белью и совершенно исчезая на теплой земле. В этакие душные и влажные

утра у людей ресницы слипаются от хандры и от лени.

Как вдруг, пренебрегая этикетом службы и зависимостью человека, получающего по самой ничтожной категории, рыжий фыркнул, вскочил и стал ходить взад и вперед, размахивая длинными руками. Потом он остановился перед столом начканца, глядевшего на него с неудовольствием.

— Захар Петрович!

— Ну-с, батюшка?

— Горячее спасибо за эту работу. Я архив кончил. Завтра я представлю подробный отчет и опись. Извините, что перебиваю вас, но это замечательный архив, замечательный!

— Да чего ж в нем замечательного, Арно Алексаныч?

Рыжий собрался было ответить, но тут помешало маленькое обстоятельство. В контору вошла уборщица, неся чай.

Обычно она застигала служащих в самый неподходящий час: один говорил по телефону, теребя свободной рукой свободную ушную мочку; другой наваливался брюшиной на стол, дописывая работу; третий вышел из помещения; четвертому мешал пятый, досказывая дело. Чай, разбросанный по столам, стыл в стаканах с воткнутой оловянной ложкой, и сахар жидко разлагался на донышке.

Один только рыжий немедленно прятал в стол свою работу и бережно принимал от уборщицы стакан. То был единственный допускавшийся им перерыв. Почти всегда голодный, он, впрочем, и еду любил по-своему. Рестораны его не соблазняли. Маленькие молочные, где хозяин надрезывал на тарелке квадратный бисквит или рогульку, ставя ее на стол рядом с кирпичного цвета чайным стаканом, и нардисты в глубине скрежетали костяшками, подбрасываемыми горсточкой снизу вверх, его не соблазняли. Он думал о тихих самоварах в коридоре учреждений, о женщине с корзиной булок, прикрытой марлей,— запах чая в учрежденческих стаканах, табачный немного, мучил его воображение в минуты голода. Иногда он мечтал о папиросной бумаге, куда машинистки заворачивают свой завтрак — хлеб, намазанный маслом, с кусочком холодного языка или просто крутым яйцом, поперченным и сдобренным солью. Он выработал в себе условную форму рефлекса на «трудовой завтрак во время перерыва занятий». Но сильнее и постоянней всего любил

рыжий местный ячменный хлеб, просто хлеб с чаем.

— Чем же все-таки замечательный?— повторил свой вопрос Захар Петрович.

Рыжий мотнул головой — он завтракал.

Персидская поговорка гласит: к голодному не подходи, сытого не беспокой. Медленно и молчаливо наполнял он свое чрево, покуда липли ребячьи носы с наружной стороны конторского окна: это младший возраст наслаждался видом завтракающих. Из кармана своей голливудской амазонки архивариус извлек один за другим огромные ломти свежего хлеба и окунал их в чай, а потом откусывал. Так чай никто не пил. Это был тоже метод рыжего. Хлеб, окунаясь в сладкий чай, издавал особенный аромат — мокрого ячменя. Дьявольское однообразие этого аромата и вкусов рыжего было уже известно в конторе, как и то обстоятельство, что ест он единожды в сутки, после того как поработал.

— Я подобен персидскому царю Киру,— объяснил он сослуживцам, как и художнику, в первый же день.— И вообще спросонок ни одно умное животное не ест, потому что вы сперва израсходуйте теплоту! Спросонок всякое тело голодно только по работе и по движенью. А что касается разнообразия — так разнообразнее сена пищи нет. Жуйте одно и то же и мысленно представляйте себе, что кушаете сено.

— Черт тебя побери с твоим сеном!— пробормотал Володя-конторщик, следя за третьим намоченным в чае ломтем.— Выдумывает он, Захар Петрович. Ничего замечательного в этом архиве нет, я сам видел. На повышение напрашивается.

Но начканц покачал головой. В глубине своего видавшего виды ума начканц уже давно поставил перед личностью архивариуса большой знак вопроса. Он ловил себя на неудовольствии. Он сожалел, что опрометчиво связался с неподходящим типом. Человек сей был странен и не поддавался шаблону. При нем лишнее слово само собой проглатывалось. И даже его прилипчивость к труду оказалась чересчур необыкновенной,— в ненормальности ее начканцу чудился злой умысел.

— Вот вы увидите,— продолжал нашептывать «меринос», покусывая грязноватый мизинец, на котором он отпускал длинный ноготь,— ничего такого из романов не бывает, чтобы человек зря трудился. Дураков нет. Рано или поздно...

Тут рыжий встал, кончив пятый ломоть, и, вставая,

собрал с живота широкими ладонями опавшие хлебные крошки.

— Вы меня спросили, чем этот архив замечателен. Знаете ли вы, Захар Петрович, какие тут папки?

— Из управления, за два года,— неуверенно сказал начканц и вдруг тоже встал.

Ему вспомнилось нечто. Кровь, синяя подагрическая кровь метнулась на круглое лицо, сделав его багровым. Колени Захара Петровича дрогнули. И тотчас же его беспокойство передалось конторе, потому что все, от телефонистки до счетовода, знали серьезность начканцевой натуры.

— В этом хаосе, мною разобранном,— рыжий сделал пластический жест акробата, словно кувыркнулся рукой в воздухе,— я нашел семнадцать замечательных папок постороннего содержания, не имеющих к нашему гидрострою никакого отношенья!

Чувствуя слабость в коленях, Захар Петрович сел. Страшная истина осенила его: бумага из старого управления, где прежде валялся совнаркомовский архив! Бумага смешанная, неразобранная. Грузили ее за спешкой простые амбалы. А ну, если попали сюда секретные документы? Пропал ты, Захар Петрович, добрый человек, хитрый человек, умный талейранище, пропал ни за грош!

Собрав мысли, он кинул на архивариуса добродушный взгляд что-то вспомнившего начальника.

— Ты, Арно Алексаныч, повремени рассказывать. Тебе там из города поручение какое-то,— работу кончил, так сбегай, прошу, к Клавдии Ивановне с этой цидулкой... Память у меня! Хоть к доктору идтить.

Он схватил почтовый листочек, размашисто намарал что-то, запечатал в конверт и надпись сделал: «Клавдиванне»,— а когда говорил и писал Захар Петрович, разыгрывая простеца, в воздухе пахло высокой политикой.

Дожидаясь, покуда рыжий возьмет конверт, начканц нетерпеливо дрыгал ногою, ни на кого не глядя. Но лишь только за рыжим стукнула дверь, наконечники кавказского пояса так и запрыгали от юношеской быстроты, с какой вскочил начканц и, перебежав канцелярию, скрылся за стеклом инженеровой будки.

Левон Давыдович был занят. В политике Левон Давыдович ничего не желал смыслить. Шепот начканца показался ему не стоящим вниманья,— и, во всяком случае:

— Я-то здесь ни при чем, абсолютно ни при чем. Вы

помните, я вас направил к месткому. Этого человека я не знаю, абсолютно не знаю! Делайте что хотите.

Проклиная скудомыслие своего патрона, бедный Захар Петрович вернулся в контору, где уже, побросав работу, на все лады обсуждали чудовищное происшествие. Счетовод усиленно рылся в столе архивариуса. Телефонистка, наслаждаясь событием, красила губы. Володя-конторщик говорил. Убитый конферансье воскрес в нем.

— Такого человека, чтоб зря работал,— черта с два. Плюньте на меня, ежели за ним не дашнаки! А то — здравствуйте пожалуйста, «усидчивый работник»,— вот вам, Захар Петрович, ваш усидчивый работник: перепрет какие-нибудь чертежи за границу, тогда как бы вам самим усидчивым не сделаться,— понимай в другом смысле...

Надо сказать правду, непредвиденное открытие облегчило душу решительно всем. Арно Арэвьян — агент дашнаков, или попросту Арно Арэвьян — архивный жулик,— это делало личность Арно Арэвьяна близкой и понятной каждому служащему. Ненормальность исчезла. Напряжение десяти дней, когда рядом работает человек, нарушающий привычные нормы, перескакивающий их, не жалуясь и не прося прибавки; необходимость уверовать в человека лучших, чем у тебя, качеств,— все это счастливо отпадало, расплывалось в увеселяющей душу спокойной истине: чудес не бывает! Чудес не бывает. Захар Петрович! Чудес не бывает, наивнейший Захар Петрович!

И даже начканцу Захару Петровичу показалось в эту минуту, несмотря на крайнее душевное беспокойство и боязнь «пострадать персонально», будто дышать стало легче.

— Ты, паря, заткнись. Сядьте, товарищи, по местам. Допрежь всего не набрасывайтесь на человека, дайте ему высказаться.

Орфография и синтаксис дошли у начканца до высшей простецкой точки. Он не хотел вмешиваться, как за минуту перед тем не захотел вмешиваться Левон Давыдович. Он не комментировал и не определял, и даже казалось — он берет архивариуса под защиту. Политика научила его мудрому правилу: ждать, чтоб всякое дело, неминуемо наступающее, сделано было вместо тебя другими. Неминуемо наступающим фактом стали тоненький желтый блокнотик и большой лист бумаги, извлеченные счетоводом с торжествующим возгласом из ящика стола Арэвьяна.

— Вот, Захар Петрович, смотрите сами, кого вы на со-

ветскую должность приняли,— ехидно произнес счетовод, кладя и желтый блокнотик, и лист бумаги перед начканцем.

II

Быстрыми шагами прошел, почти пробежал, рыжий косогор, неся в руке конверт, на котором так странно было написано:

«Клавдиванне».

Ни с какой женщиной не ассоциировал рыжий это имя. Он напевал про себя «Клавдиванне-Джованне», представляя нечто итальянское.

Большую белую красоту с ноздрями, как у деревянной лошадки, в лиловом платье, пахнущем валерьянкой и китайским чаем, он забыл прочно, вплоть до той минуты, когда:

— Стук-стук-стук, можно войти?

— Войдите, пожалуйста! —

...не распахнул дверь и не столкнулся с Клавдией Ивановной носом к носу.

Она,— тут надо быть очень внимательным, а рыжий никогда не был внимательным к ней,— еще и не окончила, по-видимому, утреннего туалета, а может быть, и не собиралась его заканчивать, утомленная встречей с мужем и не разобранными с дороги вещами.

Беспорядок жилья начканца был омерзителен. Логово пахло зверем, живущим на своих нечистотах. Углы, затканные паутиной, пятна на деревянной стене, говорившие о насекомых, грязь подоконника, где заплесневевший стакан торчал из кастрюли с отверделою кашей, обувь и брошенные носки, корзина в углу, наполовину развязанная, длинный белый хлеб, почему-то очутившийся на полу, на газете. Но что это все значило, когда воркующим смехом отодвинула Клавдия Ивановна паутину, пятна, мусор, корзину, вонь, как натюрморт на вычурной картине, и почти вцепилась в белые руки рыжего. Она взяла их ладонь к ладони, глядя на него хохочущим взглядом.

— Здрасте, у вас тут снег идет, а в городе прямо лето, я вчера утром в декольте гуляла, ой, какой вы тут стали... Это мне письмо? С какой еще стати?

Она читала, все еще левой рукой цепляясь за рыжего, хотя он упорно отводил ее руку. Пока читала, Арно Арэвьян рассматривал и вспоминал. Клавочка изменилась. Что-то в Клавочке изменилось. Она похорошела

необычайно, вредоносно и ослепительно. Прежде всего похудела и побледнела особою бледностью, про которую, если не сдобрены щеки фальшивым румянцем, старухи безошибочно говорят: «Гулящая». Блестящие глаза Клавочки обведены беспокойными кругами, медь пышных волос, губы ее... но кто помнит сейчас неутомимую девушку «Декамерона», чьи губы обновляли себя тысячью поцелуев? Рассуждая без филологии, рыжий мог бы сказать, что женщина перед ним дьявольски заряжена электричеством, потому что ею обладали не неврастеники. Но и еще одна перемена — в одежде. Халатик на Клавочке был дорогой. Под халатиком, неплотно запахнутым, шелковое черное трико. Лакированные дорогие туфли... Правда, вкус у нее не улучшился. Дурной вкус. А вот и еще перемена.

Пока она читала, в лице ее медленно творилось нечто, и рыжий, за неделю привыкший к начканцу, безошибочно узнавал круглую, крепкую физиономию мужа в этом бледном и круглом женском лице. Гримаса начканца, морщинка начканца, быстрый и осторожный взгляд начканца, неожиданный смешок и закушенная губа — могучая биология, создающая род: перед рыжим жена обращалась в мужа тысячью деталей, как это часто бывает и остается никем не отмеченным.

Супружество сливает даже и почерки. Этот размашистый почерк на письме как две капли походил на ее собственный, подобно схожим почеркам тысячи других супружеских пар. Муж написал:

«Будь с ним осторожна. Задержи, на сколько сумеешь, у себя и не пускай в контору».

Вчетверо сложив бумажку, Клавдия Ивановна спрятала ее в сумочку, а сумочку бросила на подоконник. Некоторое время она думала, выжидательно глядя на рыжего, и потом вдруг:

— Ах, да!

Через плечо оборачиваясь на него, не ушел ли, она поспешно опустилась перед корзиной, пачкая халатик в грязи и мусоре. Коробки, жестянки, чулки, белье полетели на хлеб,— вынимая одно за другим, Клавдия Ивановна деловито твердила ему:

— Вам письмо, письмо от Аршака, сейчас, куда ж это я его...

Инстинкт подсказал ей, что задержать рыжего можно лишь этим бескорыстным и деловым голосом. Даже по-

дурнев от усилий и прилива крови к лицу, встала она наконец с пола и огорченно принялась вспоминать, где письмо.

— Да вы присядьте... Чего ж вы стоите-то? Вон табуретка. Письмо я вам отыщу... В корзине? Нет, не в корзине. В сумочке? Нет, не в сумочке. Разве в подушке? А ну, в подушке посмотрю.

— Не беспокойтесь, я после зайду.

— Какое ж беспокойство! Аршак — вот армяшка забавный какой... А про портрет вы слышали?

Рыжий ничего не слышал про портрет. Он действительно заинтересовался. Как из туманного далека, встал перед ним покинутый город,— работа и участок совершенно оттеснили его. Что-то поделывает художник-леф? Нашел ли заказ? Как виноторговец Гнуни? Дочка его? Жених ее?

Сев возле рыжего на развороченную кровать и не замечая, как отогнулись полы ее халата, открыв ее длинную ногу в трико, женщина обстоятельно и громко рассказывала:

— Портрет он с меня написал — уж и портрет! Вы почему не сказали, какая теперь мода? Стала бы я такому художнику даваться портреты писать, лучше бы на открытке у фотографа снялась. А некоторым понравилось. Наркомпрос для музея купил. Я Аршаку сказала: если за такую дрянь деньги брать, так по крайней мере дайте мне половину. Три дня рисовал — и сразу тысячу рублей. Гнуни я не видела. Погодите, куда вы? Я про портрет подробнее расскажу...

Но тут, не вытерпев, Клавочка сделала плохой ход. Слова — не ее оружие, и связывать речь — не в ее власти. Цепкие, нежные ладони схватили рыжего за белый кончик шеи, выглядывавший из амазонки, и, пройдясь по затылку, со сладострастнейшей лаской вошли в густые волосы. А потом, словно вспомнив урок, с затуманенным зрачком, одним только глазом поглядывая на него, Клавочка перевернула руку и уже не ладонью, а тыловой стороной, словно исчерпав зарядку ладони и пуская в ход запасное электричество, легко и быстро скользнула по щеке рыжего. Этой азиатской ласке научилась она у Аршака.

— Вы кончили? — спокойно спросил рыжий, поднимаясь с табуретки.— А теперь я пойду.

Когда он пошел к дверям, Клавочка, не найдя, что сказать ему, осталась сидеть на постели, потупившись.

III

Начканц прочел лист бумаги и крякнул.

Нечто гоголевское было в этой сценке: неподвижные, чрезвычайно бледные и многозначительные лица, тесно сблизившиеся над бумагой, примятой указательным перстом начканца. Отсутствие занавесок на окнах позволило любоваться этой живописной жанровой сценкой с улицы. Мальчишка-почтальон, только что опроставший свою почтовую сумку, заглянув мимоходом в окно, почуял, что в канцелярии творится что-то неладное.

Он помчался в соседний месткомовский барак предупредить Агабека и, встретив на пути начальника милиции, таинственно кивнул ему подбородком — дескать, там, в конторе,— и ринулся дальше, оставляя за собою в фарватере густой запах чеснока.

— Это пародия, что ли? — спросил наконец Захар Петрович, преодолев свою историко-литературную позу.— Пародия на советскую власть?

Перед ним лежала плотная белая бумага, великолепно разграфленная и покрытая сеткой диаграммы. Вверху красивым и четким почерком стояло:

«Кривая темпа устарения архивных бумажек».

— Шифр! — веско изрек Володя-конторщик.— Под видом насмешки — обыкновенный политический шифр. Видите цифры? Это он секретные данные спер.

Конторская дверь хлопнула. В конторскую дверь вошел начальник милиции Авак. Это было некстати, и еще более некстати мелькнула в окне быстренькая горбатенькая фигурка Агабека.

— Ну, поехало,— неопределенно пробормотал начканц, чувствуя необходимость объяснений.— Поди сюда, Авак.

Дождавшись милиционера, он приказал, мельком оглядываясь на дверь:

— Опечатай.

Широкий взмах руки пояснил, что опечатать надобно разобранный и приведенный в порядок архив.

— Опечатай, покуда не выяснено. Дело в том, товарищ Агабек,— вот хорошо, что зашли вовремя,— у нас тут неполадки. Бумаги-то в архиве, оказывается, не наши. Может, чего секретного попалось, так вот — как бы не вышло неприятности.

— Ерунда!

— Конечно, возможно, и ерунда. А все-таки, для порядка. Сами знаете, наш участок не подлежит ни съемке, ни фотографированию без особого разрешения, также и архивная бумага.

Говоря это, начканц смахнул со стола себе на живот не только таинственный шифр архивариуса, но и желтый блокнотик. А уж спрятать их в широкий карман под кавказскую рубашку особого труда не представляло. Только маленькая неожиданность помешала погребению блокнота: полные пальцы Захара Петровича, просовывая в карман желтый корешок, ощутили дружеское пожатие неприятных, холодных, влажноватых пальчиков горбуна, выдававших плохой обмен веществ и болезненность своего владельца.

— Дайте-ка уж и я заодно посмотрю,— сказал Агабек, вынимая из кармана Захара Петровича блокнотик.

Когда рыжий дошел до дверей конторы, они оказались запертыми. Дернув за щеколду, он вопросительно перевел глаза на рабочих, толпившихся в коридоре перед кассой, и, не добившись ответа, вышел. Здесь доброхотцы окружили его. Чесночное дыханье мальчишки-почтальона было путеводною нитью для десятка заинтересованных детских носов. Пробираясь в тыл канцелярии, через канавы и грязь, доброхотцы взобрались прямо на мусорную горку перед конторским окном. Подняв рыжие брови, Арно Арэвьян заинтересовался. Арно Арэвьян, к восторгу мальчишек, даже засопел слегка и сел вместе с ними на тоненькую дощечку, серьезно и внимательно глядя в окно, где маленький горбун с его собственным блокнотом в руках шевелил не особенно быстро губами, давая начканцу заглядывать через плечо в текст.

Вот что они читали:

ПАПКА № 4

ЧИГДЫМСКОЕ ДЕЛО

Пояснительная записка.

«Село Чигдым, 19 тысяч жителей, сыроварни, крупное молочное хозяйство, маслобойные заводы, мыловарня, ректификационный завод, в проекте текстильная фабрика. Два мнения: увеличить имеющуюся дизельную станцию или строить новую, использовав большой Кумарлинский оросительный канал.

Решено строить новую, 5600 лошадиных сил. Организован комитет по постройке Чигдым-

ской гидростанции. Трудность добыть деньги: Наркомфин требует сметы.

Встрепенулся Эльмаштрест.

Извещение от Эльмаштреста об открытии в Баку отделения (Электромашинный трест, объединяющий заводы бывш. Сименс-Шуккерт, динамомашинный и аппаратный, бывш. соединенные кабельные заводы Дюфлон, арматурно-электрические и ламповые «Светлана», изготовляет динамомашинные электромоторы, турбоагрегаты, трансформаторы, аппараты, провода, кабели, лампы, арматуру, принимает установки и оборудование фабрик, заводов, трамваев и электростанций, гарантирует соперничество с мировыми фирмами, получил заказ от Волховстроя).

Район большого Кумарлинского канала. Организация.

Комиссия инженеров обследовала большой Кумарлинский канал, чтоб установить, можно ли его использовать для гидростанции,— от головняка канала до места, где предположена станция. Получение профилей и планов местности.

Комиссия состоит: из инженера-гидравлика, инженера-механика, инженера-электрика. Техническая контора: чертежник, делопроизводитель, машинистка.

Изготовление проектов, разбивка работ.

1. Рабочий канал (5 верст) начать с осени после оросительного периода и кончить к весне, чтоб вовремя подать воду садам. Приготовить вдоль всего канала нужный материал.

С сентября разбить канал на 5 участков, работать одновременно, палатки для рабочих. Кладка стен на цементном растворе — в теплое время.

2. Станционное помещение — по проекту фирмы, которой будет передан заказ на турбины и генераторы.

3. Машинная часть. Иностранные фирмы берутся выполнить в 7 месяцев, русские в 9 месяцев. Железные напорные трубы заказать русским заводам.

4. Сеть. Трансформаторные будки.

Рабсила.

Решено придать органу, которому перейдет постройка, максимум автономности. Забронировать 238 000 рублей реальным золотом.

Цена: мастеровые — 1 р. 20 к. в день;
рабочие — 50 к. в день.

Договорились с артелью каменщиков и щебнебойцев.

Как трудно было достать цемент, известь, лопаты.

Какие понадобились рабочие по специальности: каменщики, каменотесы, каменоломы, бурщики, кузнецы, щебнебойцы, плотники, погонщики ослов.

Лопаты и пр. взяты у военного начальства (начштабдивинж).

лопат железных	300	шт.
кирок	150	»
ломов	60	»
топоров	20	»

кувалд	40	»
пил поперечных	6	»
разводов к ним	3	»
папок	10	»
буров стальных	50	»

Выступает Новороссцемторг.

Новороссцемторг предлагает цемент, копия технического испытания цемента: 1) измол, 2) условия схватывания, 3) цвет (светло-синевато-серый), 4) постоянство объема, 5) проба нагреваний в плитке, 6) проба водой — через 28 дней, 7) вес литра в рыхлом и плотном виде, 8) площадь разрыва, 9) испытанье на раздавливанье.

Два главных участка работ.

Первый участок — где будет станция (станционное здание, жилой дом, напорный бассейн, шлюзы, отводный канал, фундаменты для напорных труб и пр.). Второй участок — на головняке канала (головной шлюз, сливной, полузапруды и пр.).

Коллективный договор с профсоюзом. Как было в теории и что вышло на практике.

Когда начались работы, между профсоюзом строителей и комитетом был заключен колдоговор. Гидрострой обязался давать преимущество членам союза и нанимать рабочих со стороны только в случае, если биржа не представит рабочих в течение 3 дней. При приеме и увольнении участвует представитель профсоюза. Нанимаются как сдельно, так и поденно, но в случае сдельной получают наряд в письменной форме с обозначением расценок.

Рабочий день 8 часов, сверхурочных не более 2 часов. Кипяченая вода. Оплата и освобождение одного рабочего для месткомовской работы.

Подрядчики и биржа.

А когда приступили к работе, выяснилось: комитет организовал работу при помощи подрядчиков. Подрядчики, их типы. Заявления подрядчиков о новом определении грунтов, требования увеличить оплату, так как приходится корчевать деревья. Нажим на подрядчиков — декрет о принудительном размещении среди них шестипроцентного займа. Война подрядчиков с профсоюзом.

Вопрос о сдельщине. Как он решался в 1923 году. Борьба профсоюза с комитетом.

Профсоюз все время агитирует за нежелательность сдельной работы, запрещает сдельным работать свыше 8 часов. Биржа труда присылает своих рабочих в половине девятого утра без инструментов, и хотя десятник отказывается их принять из-за позднего времени, профсоюз настаивает и отбирает для передачи им инструменты у части вольнонаемных. Снятые рабочие потребовали, чтоб им заплатили за целый день. Фактические хозяева на работе — профсоюз и его представители. Позиция профсоюза привела к отказу всех рабочих от сдельной работы, вследствие чего производитель работ уволил рабочих.

Чем грешны подрядчики? Они часто не регистрировали рабочих и, перейдя на сдельщину, не

представляли договоров и условий в соответствующие учреждения.

Развал работ.

Десятники и техники стали манкировать, приходить на линию позже всех и уходить раньше ввиду того, что им было отказано в сверхурочных. Несколько рабочих самовольно сбежали. В марте — катастрофическое положение, все рабочие (сезонники) начинают покидать работу. Между тем окончание канала предположено 15 мая, чтоб дать воду на поливку садов. 29 марта созывается экстренное заседание комитета для урегулирования отношений с подрядчиками, которые, по докладу производителя работ, медленно ведут работу. На повестке — недостаток в рабсиле, возрастающая задолженность.

Безобразия в районе работ.

В районе канала начинаются злоупотребления и разбои. Два донесения: 1) от подрядчика 1-го участка: в воскресенье 3 февраля какие-то лица сломали замок головного шлюза, подняли щит и намеренно затопили весь первый пикет. Одновременно сняли шкив и унесли шпонку от вала. 2) 6 февраля десятник 2-го участка донес, что рано утром 80 человек сделали набег на сады в районе 2-го участка с топорами и инструментами и начали рубить деревья. Он хотел отнять топоры, но порубщики ранили десятника палкой, а рабочего топором. Необходимо организовать охрану по всему району канала.

И рабочие не на высоте.

Рабочие тоже наносят ущерб садам. В Наркомзем поступила жалоба садовладельцев Мешади Кяфар Карпалай Касим-Оглы и Гусейн Али-Оглы.

На одном из участков запальщик, получив для запальных работ динамит, стал глушить рыбу в канаве динамитом.

Конфликты между рабочими и местным населением.

Мирабы (распределители воды) малого Кумарлинского канала не отпускают воду для нужд подрядчиков, работающих на гидрострое.

Воду рабочим доставляла агдахская канава. В марте воды стало недостаточно, временами она прекращалась вовсе. Выяснилось, что воду расхватывали по дороге крестьяне для поливки.

Дело крестьянина Гайсерляна. Он разрушил дамбу на первом пикете, устроив ниже островка рыболовные приспособления. Пущенная вода стала значительно размывать насыпанную землю у низовой стены. Тогда рабочий Харибов разрушил плотину, устроенную Гайсерляном, и частично восстановил дамбу. Гайсерлян обвиняет Харибова в порче его рыболовных принадлежностей.

Техническая мысль продолжает свою работу.

Вопросы, разбирающиеся в технической комиссии по гидрострою:

1. О ливневых водах на существующем Кумарлинском канале (пропустить их самостоятельными железобетонными лапками или каменными акведуками, оградить канал с нагорной стороны).

2. О порогах и водосборных шлюзах. Пороги углубить и устроить через каждую версту.

3. О трассировке канала. Трасса взята правильно. В узких логах допустить радиус кривизны трассы канала до 5 сажен, с уширением сечения канала для уменьшения скорости.

4. Об облицовке дна канала — особо тщательно, так как скорость воды в канале значительная.

5. Об ограждении канала с нагорной стороны от падающих камней устройством берм и других сооружений.

Отдельные инженеры проявляют инициативу.

Инженер Григорян докладывает о своем проекте удешевить станцию при помощи габионов Пальвиса. Итальянец Пальвис изобрел материал, заменяющий цемент. Габионы Пальвиса — разнообразной формы ящики, сплетенные из оцинкованной проволоки и наполненные камнями. Они скрепляются вместе и хорошо и крепко держат воду. Из них можно соорудить разгрузочную водосливную стенку форканала, водосливную плотину, низовую подпорную стену деривационного канала и напорный бассейн.

А тем временем в районе работ учащаются несчастные случаи.

Рабочие укрылись от дождя под откос песчаного карьера, где работы были прекращены вследствие угрожающего положения. Произошел обвал, их засыпало, троих спасли, одного убило.

Несчастный случай с двумя рабочими. Акт. 15 февраля при уширении канала от удара кирки произошел взрыв динамита, которым тяжело ранило двух рабочих. Расследование выяснило, что до 13 февраля работы по уширению производились динамитом вследствие сильной мерзлости грунта. В цилиндры 12 вершков глубины закладывалось по $1^1/_2$—2 заряда динамита, причем капсюль закладывался только в верхний заряд. Очевидно, какой-то заряд в одном из цилиндров не дал взрыва, в то время как верхний взорвался. Пролежав 2 дня в промерзлой земле и оттого став особенно чувствительным к детонации, заряд взорвался от удара кирки.

Экстренные меры, принятые комитетом против развала работ.

Новое заседание комитета от 10 мая. Решено устранить подрядчиков 2-го участка, а также артель союза строителей за то, что не ликвидировали задолженности рабочим. Подрядчики 1-го участка арестованы за саботаж и отказ от выполнения договора. Затребованы рабочие из Ленинакана.

Конец первого этапа работ.

20 июня канал готов, вода пущена,— оказался слишком большой напор».

IV

Здесь горбун передохнул и поднял глаза на Захара Петровича. Смутное воспоминание встревожило его. Что-то странное, не совсем обычное было в прочитан-

ном, и свое и как будто не свое, и приблизительное сходство с действительностью и очевидное несходство.

— Надо бы...

Но тут прервал его начальник милиции Авак.

Начмилиции вошел с сургучом в руках, который он только для вида пытался согреть на свечном огарке. Начмилиции никогда ничего не опечатывал, и приказ начканца поставил его в тупик. Скобля пальцем большую круглую печать и дуя на сургуч, как только начинал он кипеть на свечке, милиционер Авак в глубине души жаждал подмоги, и подмога явилась в лице рыжего.

Крепко постучав в дверь, Арно Арэвьян появился, покрытый легким пухом снега, прозябший, отсыревший. И вместе с Аваком предстал сейчас перед Захаром Петровичем.

— Он не велит опечатывать! — впопыхах заговорил Авак с видом человека, насильственно оторванного от дела.— Он говорит: стой! А у меня сразу сургуч простыл. Это не дело — двадцать раз сургуч нагревать...

— Совершенно бессмысленно опечатывать архив,— серьезно сказал рыжий,— не понимаю, чем это вызвано. Вы прочли мой конспектик? Ну, так это и есть посторонние папки, семнадцать штук, вот они: я законспектировал их из жалости, потому что, видите ли, эти папки подлежат...

Длинный палец рыжего показал на отметку красными чернилами:

«Выбросить за давностью и ненадобностью».

— Но я не мог их выбросить,— ведь ими тут печи растопили бы,— уютно продолжал рыжий. Он поискал глазами, нащупал за собой стол и, легко приподняв на руках тело, мячиком уселся на край стола.— Я их пожалел. Это ведь страшно интересно. Это постройка Чигдымской гидростанции, той маленькой, захудалой, что дает энергию Чигдыму.

— А, вспомнил! — вырвалось у горбуна.— То-то читаю и удивляюсь. Пять лет назад...

— Четыре года назад. Завтра я собирался сделать об этом маленький докладик перед рабочими.

— Да вам-то какое дело! Кто вас уполномочивал? — не стерпел Захар Петрович.— Инженер новый нашелся! Докла-а-ды делать!

— Но я условился с товарищем Степаносом! — настойчиво сказал Арэвьян.

Дверь в канцелярию, настежь открытая, уже заби-

лась головами. Весь коридор, начиная от самого окошка кассира, слушал с жадностью. Младший возраст, подобно подлеску, настойчиво дышал в чужие спины, протискиваясь головами вперед. Слух шел из отдаленных углов коридора, что кого-то арестовали, и, поднимаясь на цыпочки, давя друг друга, дальние лавиной перли на ближних.

— Как на мануфактуру идуть,— язвил Захар Петрович наипростейшим своим стилем.— Айда, вали назад.

— Нет уж, товарищ Малько! Рабочих будоражить — это не дело. Опрометчиво не он, а, извините, вы опрометчиво поступили. Я так думаю: пускай он объяснит, в чем дело,— прервал его Агабек.

Очки рыжего благодарно блеснули навстречу месткому. Он страстно хотел поделиться с людьми всем пережитым и передуманным.

Этот архив, куча казенных бумажек, имевших хождение от — до, был для него своеобразной школой предместности; он мог говорить бесконечно о сложных профессиях, неведомых большинству людей (одних, например, каменщиков четыре названья: «каменщик», «каменотес», «каменолом», «щебнебоец»), об инструментах, чье звучанье взывает к действию («цапка», инструмент цапка — это хватает, как собака за ногу), но, в сущности, начинать с мелочей не следовало, и, вкусно пожевав губами, рыжий проглотил про себя начало.

Он назвал свой конспект романом. Он стал пересказывать его, как делают ребятишки, возвращаясь домой с киносеанса: сперва место действия, потом действующие лица, картина первая, вторая, третья. Село Чигдым, без описанья природы, в цифрах и докладных записках встало перед случайными слушателями рыжего с яркой выразительностью одного из романов Стендаля, начатого с точного, почти архивного описания городских мельниц и их доходности.

— В голодный год, третий год нашей республики, когда большие города думали в первую очередь о продовольствии, о безработных, о размещенье беженцев, село Чигдым задумало построить гидростанцию,— так начал свой роман рыжий.— Село Чигдым задумало, а в ответ сразу со всех концов Союза разволновались те, до кого это дело касается. Где-нибудь за границей чигдымцев завалили бы сотней реклам сотни конкурирующих предприятий. У нас при царе какому-нибудь нужному человеку подсунули бы тайком в руку или, как тогда

называлось, «заинтересовали бы», и заказ получил бы один из конкурентов. Но в нашем Союзе вместо сотни реклам — одна: к чигдымцам посылает визитную карточку такое хвостатое чудовище, что даже перечислить его трудно, *Эльмаштрест.* Оно объединило в единое большое, согласное хозяйство, принадлежащее нашему народу, десятки старых фирм, где капиталисты обворовывали народ. Прочитайте характеристику этого героя. Какой поэт придумает сказать так мало и так много в одной-единственной фразе?

Он говорил, оживляя каждый столбец папки. Перед слушателями, словно на экране, проходили подрядчики,— ни один не похож на другого. Жирный, со свисающими усами, в высокой барашковой шапке, побежал садовод Мешади Кяфар Карпалай Касим-Оглы жаловаться в Наркомзем,— и на длинной неразберихе этого имени рыжий останавливался многократно, рыжий балансировал в воздухе звуками этого имени, он предлагал в пространство: «А ну-ка, выдумайте нечто подобное из головы». Диалектика пьянила его, делая изложенье почти театральным. Драматизируя обстоятельства, он принимал то одно, то другое выраженье лица, менял голос и интонацию. Люди вели свою линию, они строили, вторгаясь в частную жизнь поселян, станция вплывала большим китом в лужицу мелкого сельского быта. Тогда начинал мстить быт: крестьяне отнимают воду, разрушают дамбу, разбойничают, жалуются. Но диалектика шла еще глубже. Великолепен был в изложенье рыжего инженер. Он возник перед слушателями деловою фигуркой, усеченной, как пирамида, форменною фуражкой,— весь в чувстве касты и кастовой инерции. Сквозь зубы он жалуется на помехи, жалоба протекает даже в язык казенной бумаги, желчью желтеет в папке. Читая, рыжий оживлял эту желчь, и там, на другом конце качелей, показывал союз и биржу, животом налегшие на ту же доску.

И тут вдруг, обернувшись к месткому, внезапно скользнул с образной и театральной декламации к самой деловой прозе:

— Товарищ Агабек, у вас есть директивы о сдельной работе?.. А посмотрите, как барахтался союз четыре года назад. Он агитировал рабочих *против* сдельной работы, он инженерам и хозяйственникам не давал строить, он их держал в хроническом бешенстве, он, на первый взгляд, прямо разорял работу,— сухие бумаги кричат об этом. Сейчас, через четыре года, эта диалектика нам яснее видна, и если б старые инженеры могли наконец диалектиче-

ски воспринимать жизнь,— а инженеры долго этого не смогут,— им все стало бы гораздо понятней. Мог ли союз четыре года назад поступить иначе? Нет, он не мог поступить иначе! Почему? Потому что инженеры работали с подрядчиками. Эта старая крыса, подрядчик, был эхом старого мира и его практики. Он на рабочих наживался. Нельзя было при системе подрядчиков допускать сдельщину,— это вело к эксплуатации, а не к повышению производительности. Борясь против сдельщины, профсоюз боролся за новую организацию труда, и не мог иначе, и был тысячу раз прав, и победил, потому что старые, дореволюционные подрядчики исчезли, их больше нет, мы теперь работаем с артелеводами. В будущем, может быть, и артели исчезнут, появятся группы, бригады. Выиграло от этого строительство? Выиграло. Мы строим лучше, чем раньше! А тогда казалось, что профсоюз губит стройку... дайте мне мою диаграмму, где она?

Секрет таинственной бумажонки, политический шифр Володи-мериноса разъяснился. Подняв ее над головой, рыжий громко прочел:

— *Кривая темпа устарения архивных бумажек.*

— Только четыре года прошло, товарищи, а куда мы скакнули, как быстро мчимся, взгляните только! Все уже переменилось. Возьмите тогдашний бюджет, стоимость рабсилы, кустарное начало строительства, штурмовой порядок, отсутствие плана, отсутствие экономических записок. Никаких в деле документов о загрузке, о потребителях энергии, никакого намека на кустованье, на будущую сеть станций,— это не входило в радиус постройки, радиус был короткий, не плановый, кустарный, дело рождалось одиночкой. Наш теперешний архив и этот чигдымский архив — ведь это две разные эпохи! А если вы вздумаете сравнить их с дореволюционными архивами — разница будет другая. У нас архивы ежегодно стареют, а до революции они были неподвижны, они ужасали своей прочностью: за десяток лет ни условия, ни отношения, ни цены — ничто не менялось, время и быт стояли. Кто не чувствует, не понимает, как мы гигантски двигаемся вперед, какой толчок дала нашей культуре Октябрьская революция, пусть заглянет в эти архивы и сравнит их с нашими. В глаза бросается. Не говорит, а кричит! Вот что может извлечь архивариус из своей работы. А вы считаете это скучным делом!

Он передохнул и тихонько опустил тело на прежнее место, как после полета в воздухе. Он был очень дово-

лен тем, что высказался. Но, быть может, ему не следовало быть довольным или показывать свое довольство? Где-то там, под низколобою черепной коробкой Захара Петровича шла своя назойливая работа мысли. Он думал судорожно. И, нащупав слабое место, в наступившей тишине Захар Петрович взял слово:

— Так-то так, Арно Алексаныч. Мы тебя выслушали. В своем времени ты, разумеется, волен. Но!..— Опять особенное, большое *но* вышло у начканца, как тогда после собрания.— Но с волками жить — по-волчьи выть. Тут у нас люди из-за куска хлеба работают. Нехорошо, знаешь, между своими выдаваться. Работа пыльная, трудная, сидячая, а ты сиди, ежели пить-есть надо,— ведь вот какая обыкновенная-то наша совслужеская психология. Ну, а ты, брат, с чего стараешься? Зачем за норму заскакиваешь? Это — как бы справедливей выразиться? — для простого служащего человека обидно выходит, не по-товарищески выходит... Да!

Глава восьмая

ГЕРОИНЯ РОМАНА

I

Вторая смена, отоспавшись, шла вниз.

Наверху заведующий кооперативом с блуждающей улыбкой на лунном лице — он любил популярность — самолично отпускал первой смене хлеб. Нож звучно врезался в трещавшие караваи, исходившие теплом от пурни. Хлеб выпекался пышный, но горьковатый, мука была не первый сорт, даже, по правде, дрянь мука; растирая ее между пальцами и пробуя на язык, сам заведующий соглашался. Но у него был готов ответ: «Такую прислали»,— хотя кое-кто на участке и уверял, что на пироги начальству мука отпускается — первый сорт.

Наследив в кооперативе мокрыми подошвами, чернорабочие шли в столовку, где по билетикам получали обед.

Ветер бил в стены столовки, мутный огонек лампочки раскачивался под потолком. На деревянных стенах висели заманчивые плакаты, да и все здесь, в этой длинной и темноватой комнате, было заманчиво.

Маленькие деревянные столики с круглой солонкой, деревянный дощатник стен, крохотные оконца, а за чистым прилавком черный ус повара и неизменное блюдо лоби с жареным луком и постным маслом. Трюм допо-

топного парохода напоминала эта столовка, доски шатались под тяжестью проходивших. Холод падающих сумерек обступал здание, но, борясь с холодом, из кухонного окошка в столовую выплескивались вместе с протянутыми тарелками густые облака пара, и запах борща бил оттуда, наступая на подвигающуюся очередь.

Получив тарелку, рабочие шли к столику, влажные от кухонного пара. Они ели молча. Ели, глядя себе в тарелку. Многие из них только здесь, на строительстве, стали привыкать к горячей пище и впервые в жизни испробовали борща. У себя в деревне они питались всухомятку,— разве что наварит жена белого супа из кислого молока и пшеницы — спаса. А лакомством — величайшим — считалось у них моло́зиво, когда отелится весною корова. Здесь же горячая пища хоть каждый день!

Надламывая краюху, они забрасывали в борщ ломти хлеба и маленькими-маленькими порциями забирали их неполною ложкой, держа ее в мускулистых пальцах с великой осторожностью, боком, чтоб положить пищу на язык, как драгоценную пилюльку. Да и языком не кончался хитрый механизм еды. Слева направо и справа налево, медленно перекладывая жвачку из-за щеки за щеку, двигали евшие челюстями, пока не проглатывали пищу.

Не все, впрочем, ели ложкой. Оглянувшись по сторонам, сгорбленный человек в тулупе окунул в борщ горсточку пальцев. Ловко орудовал он в борще примятым кусочком хлеба, набирая в него, как в губку, жидкость и спроваживая кусочек в рот. Хлеб заменял ему нож и вилку. С непривычки он ронял ложку, как неопытная прядильщица ручное веретено. Это был сторож Шакар, заходивший в столовую не часто.

В столовой было тепло от людей, их бараньих тулупов, качанья их теней на слабо освещенных стенах.

Но тем, кто сбегал вниз по косогору, тоже было тепло. Сон еще держался в их теле, как горячая зола угольев в закрытой печке. Работы шли в трех местах: на буровых скважинах, на отводном туннеле и на мосту. Маленькая временная станция с двумя дизелями давала скупой свет на участок работ. Черные шарики бегущих людей накатывались с пригорка и растекались по местам.

Буровой мастер Лайтис, сдвинув низко очки на бородавчатый нос, заносил в журнал последние данные. Слева от него бурильщик Заргарян держал на ладони вынутые из коронки столбики. Скважина дошла до

сплошного каменного массива, и алмазным бурением выпиливали из-под земли тонкие, ровные, прохладные, зеленовато-серые столбики, похожие на третьего сорта соевый шоколад.

У мастера Лайтиса все отличалось педантичнейшим порядком. Рабочие уважали его. Он не спешил приказывать, его басистая речь текла очень медленно, подобно растопленному маслу. И Заргарян знал, что спешить не надо, и спокойно держал столбики, покуда мастер записывал.

Внутри палатки земляной пол круто утоптан, стол выскоблен, на шнурке висит под брезентом электрическая лампочка. В углу гордость мастера Лайтиса — ящик с образцами последовательно извлеченных пород. *Буровая № 4* — надписано на крышке ящика. А посмотреть внутрь...

Впрочем, каждого туриста приводили неизменно сюда, к буровой номер четыре, и показывали ему журнал мастера Лайтиса и ящик мастера Лайтиса.

Трое рабочих вошли в палатку и, не говоря лишнего, взялись за штангу. Заргарян положил столбик в заготовленный и занумерованный мешочек и тоже встал на своем месте у штанги. Теперь рабочие стояли крестом, с четырех сторон скважины, каждый держась за рукоятку. Бурение производилось вручную. Не спеша, друг за другом, стали медленно крутиться люди.

Латыш посмотрел на них, покачал головой и вышел. Он стыдился за это бурение вручную. Но рабочие на буровой номер четыре любили свой простой и тяжелый труд, гордясь славою скважины, считавшейся на участке образцовой.

Стало уж вовсе темно. Было видно, впрочем, как еще ниже, у самой реки, где находилась вторая скважина, бежали, покрикивая, люди и брел особенной своей подагрической походкой старенький Александр Александрович, держа горсточку пальцев у правого глуховатого уха. На скважине номер два было неблагополучно.

О скважине номер два переговаривался и Заргарян с соседями, кружась шаг за шагом и налегая всем телом на рукоятку штанги. Они еще не успели вспотеть, в движении их еще была косная инерция тела, не желавшего производить работу. Каждый из них по опыту знал в себе эту инерцию, как знаешь свойство машины, и знал также, что спустя точный промежуток времени другая, наработанная движеньем теплота разомнет кости, как

бы маслом их смажет, и тело наладится к труду, словно механизм. В ожидании этого перехода все четверо отрывисто перебрасывались короткими словами.

Там, на правом берегу, вообще было незадачливо. По правилу, давно бы следовало дойти до грунта и бурить, как они бурили, в сплошной скале. Но черт сглазил правый берег.

Вздымаясь осколком какого-то гигантского разрушения, над правым берегом стояла гора Кошка, скаля каменные усищи усмехающейся квадратной пасти. И рабочие суеверно косились на гору Кошку. Они боялись горы Кошки.

Недаром из буровой номер два вслед за крепкими как будто породами полезла вдруг какая-то мокрая труха,— глина, речная глина показалась на глубине вместо ожидаемого сплошного грунта. Рабочие испуганно вертели штангу в буровой номер два, покуда бур с алмазною коронкой не застрял в скважине.

Случилось это еще утром. И с утра на буровой номер два бились и потели люди, как они бьются сейчас; с утра щукастый профиль начальника участка сердито колдовал у скважины, рабочие кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица, лезли на веревках вниз, орали что-то наверх, требовали один, другой инструмент, но бур плотно застрял внизу, забив собой скважину. Со стороны все эти усилия рабочих напоминали мучительную натугу лошади, ходившей животом направо и налево в оглоблях, чтоб свезти непосильный груз.

Но Заргарян бросил в спину переднего соседа слово:

— Дня три бы им повозиться...

— Не выйдет,— догадаются, Латуса нашего за загривок возьмут...

Из коротких слов было ясно, что бур не вытаскивали нарочно. И было ясно, что четвертая скважина, работая полным ходом, сочувствовала второй.

Мастер Лайтис дошел до старого инженера. Александр Александрович передвигал свои сухие подагрические ноги, подергивая ими по-генеральски. Он покраснел от ветра, синие губки его под пышными усиками испуганно сжались. Он был в курсе некоторых тонкостей: начальник участка не позвал своевременно Лайтиса, начальник участка сам руководил первыми попытками, начальник участка спасовал, и теперь ему, безответному Александру Александровичу, надо вынести ядовитую помощь Лайтиса и взгляды рабочих.

«Левон Давыдович постоянно так, это — система. Я не боюсь, конечно»,— думал про себя Александр Александрович, панически озираясь на тень Лайтиса.

Когда мастер подошел к буровой, угрюмые лица рабочих стали смотреть в сторону. Все это были сезонники, тощий и невеселый народ, крестьяне из верхних лорийских деревушек. Их промокшие обмотки, сырая верхняя одежда и даже мохнатые концы барашковых шапок пахли дымом и кислым молоком. Запах въелся годами и был неистребим.

Лайтис минуту-другую ловил глазами их уклончивые зрачки.

— Я вас! — как бы говорил внушительный нос латыша, словно острие корабля, поворачиваясь во все стороны.

Но вместо угрозы он присел на деревянный сруб.

— Запущено, поздно позвали. Кто руководил? Левон Давыдович? Да ведь они неопытные по нашей части. Забили, хуже забили!

Один из рабочих подскочил к мастеру и тоненьким голосом начал жаловаться. Он сверял глазами речь свою, как часы, для точности, с выразительными лицами товарищей. Он руками показывал размер коронки,— разве такую коронку можно нацеплять на эту штангу? Рабочие в один голос отказывались, а начальник участка заставил. Вот теперь доказательство: застряла коронка. Почему в буровой номер четыре не застревала ни разу? Дело понимать надо, без понимания приказывать — одна порча.

Теперь вмешался самый старый крестьянин, красноватые глазки его глядели в упор, этот не отворачивался и даже смешка не скрывал. Гнилые, цинготные зубы шепелявили: не такая вообще тут земля, чтоб строить, старые люди давно говорили, старых людей надо слушать.

— Заткнись! — заорал, рассердившись, латыш. Его пролетарское нутро возмутилось.

Поднявшись, он по мосту прошел на правый берег, где молчаливо работала первая скважина, уже несколько дней показывавшая гальку; еще дальше, под самым боком у горы Кошки, два брошенных и затопленных шурфа безнадежно уперлись в глину. Геологи переврали чего-то: у самых стен кварцевого порфирита, под сенью скалы,— место, таить было нечего, гибель-место,— плевало на людей всякой мутью, шла зелень нарушенных пород, речные гальки, а главное — ни с того ни с сего — синеватая глина. И все это вместо обещанного туфа. А ведь

тут, по плану, плотину ставить! В глубине души Лайтис так же верил геологам, как и крестьяне.

Он вернулся назад ко второй скважине.

— Магнитом пробовали, Александр Александрович?

Старый инженер встрепенулся. Переспросив два раза, он снял руку с ушной раковины и махнул пальчиками. Магнитом еще не пробовали, и для Александра Александровича открылось поле действия.

Рабочие уже знали, что бур сейчас вытащат. Они становились на работу. Жалобщик, получив из рук Александра Александровича наряд на магнит, весело побежал к складу.

И все это время, изредка вскидывая глаза на отдаленную точку внизу, освещенную бледным светом, Заргарян и его три товарища, тужась, крутили и крутили штангу. Крестовина четырех рукояток поворачивалась, издавая особый носовой звук. Рабочие уже не занимались тем, что делалось на второй скважине, их покрасневшие лица были равнодушны, как внезапно становятся равнодушными к жизни очень тяжелые больные. Силы их мускулов перешли в движение, фосфор их мозга перешел в движение, легкая, уже привычная тошнота стояла в горле от тысячного поворота вокруг штанги, и колени, сгибаясь под прямым углом, равномерно, настойчиво, с силой вскидывались и вскидывались все в одном крошечном кругу.

II

Снизу вверх ничего не было видно, или почти ничего, кроме контуров гор на уже потемневшем и густо вызвездившем небе.

Но сверху вниз, там, где вилось Чигдымское шоссе, был виден не только ленточною глистой трижды свернутый барачный городок с его тремя рядами огоньков, ярус под ярусом, но и далеко под ним, в русле Мизинки, бледное пламя работ.

Со стороны станции (только что отошел поезд) несся в этот час, неимоверно гремя и дребезжа, почтовый возок. Четыре маленьких лохматых лошадки, с собачьей мелкотой и дробностью перебирая короткими ногами, возносились с зигзага на зигзаг под улюлюканье кучера Пайлака.

Кучер Пайлак не сидел, он всегда правил стоя, крепко стянувши кушак русского полушубка на животе. Раз-

бросав руки с вожжами, дико покрикивал Пайлак на своих собачьих коней, будя ночь архаизмом своего появления и этой повозки, насчитывавшей, должно быть, лет восемьдесят.

Очень высокая, старинной формы, с приступочкой, на которую даже мужчина не смог бы ступить, не опершись предварительно ногой на колесную ось, она издавала, подпрыгивая, шум сотни жестянок из-под молока. На дне повозки лежал запечатанный огромной сургучной печатью мешок с почтой, принимая от толчков резкие и неожиданные очертания чего-то неуклюже-живого.

В повозке сидел, подняв воротник к носу, необыкновенно тупой и невыразительный парень, считавшийся первым женихом в районе,— чигдымский почтальон. Обеими руками стиснув ружье, рукоятью припертое между колен, чигдымский жених спал крепчайше, не просыпаясь ни от толчков, ни от гиканья кучера. А Пайлак, даже правя и улюлюкая, не переставал смотреть и думать.

За думанье никто не заплатит Пайлаку, говаривал чигдымский кулак, отец почтальона. То был накладной расход его личности, и, быть может, именно за подобную расточительность Пайлак считался на селе Чигдым, в противоположность своему начальству, парнем ничего не стоящим.

Пайлак был занят и озабочен каждое мгновенье своей жизни — встречами, разговорами, сломя дух передаваемыми поручениями, но если бы вы захотели подсмотреть его в этой кипучей деятельности, вам пришлось бы заглянуть под самую черепную крышку Пайлака, в одиночество его тайных помышлений. Здороваясь мысленно со сбегавшими деревцами, поворотами шоссе, мелькнувшим профилем камня, Пайлак бормотал им что-то распухшими от ветра губами.

Настоящее поручение он выполнил мимоходом, как делают что-нибудь нереальное, во сне или же в театре: вынул из-за пазухи веревкой обвязанный пакет и, когда проезжал мимо арки, с которой ответвлялась вниз от шоссе дорога на гидрострой, не останавливаясь, швырнул его мальчишке-почтальону. Тот подхватил пакет на лету. Долгим опытом он выработал точное знание времени и точный взмах руки. Нырнув под арку, мальчишка побежал на участок. А Пайлак помчался дальше.

Только теперь-то и начиналось самое главное дело Пайлака. Он должен был передать ей,— ей, чье имя окружено величайшей тайной,— последние новости, последние шаги врагов.

Она каждый день бежала навстречу Пайлаку, и в этом было главнейшее ремесло ее жизни.

Она выбегала издалека, там, где стоят Мокрые горы. От Мокрых гор открещиваются и армяне и грузины, спросите-ка, где они, и грузин кивнет в сторону Армении, армянин — в сторону Грузии. С Мокрых гор идут всякие беды — дожди, снег, градины с грецкий орех.

Выбегая оттуда тощей девчушечкой, распустив зеленые волосы, мчалась она, судорожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее, оскользнувшись, пробовала там и сям дорогу. Волосы, цепляясь за встречные камни, оставляли зеленый блеск между песчаных отмелей. Где пробежать нельзя, она серебристо скалила зубки и вгрызалась в землю,— кто мог остановить ее? Над камнями, подпрыгивая вихрем серебра и золота, бегунья проскакивала,— ай, ай, что за девушка, милая девушка, джан ахчик[1] была длинноволосая красоточка!

Пайлак покачал головой, усмехаясь во весь свой большой рот. Он знал, что не так-то легко догнать ее, пять и шесть раз за сутки может она изменить дорогу, нынче ловите ее слева, завтра ловите ее справа,— ахчик джан, я привез колдуну три больших серых конверта, и на одном из них стоит, буква к букве, очень приятное слово: «Секретно». Ой, это хорошие новости! Что станут люди писать секретно, кроме как если сомневаются, или боятся, или получили по шапке? Смотри теперь в оба, наступают большие, важные события! Беги передай горе Кошке привет от чигдымского кучера Пайлака. Скажи горе Кошке: пусть смотрит в оба!

Ослепленный глубокой важностью наступающих дней и событий, чувствуя в себе эту ночь и все звезды, какие только есть в запасе у неба, пьяный шорохами, шепотом бегущих деревьев, во весь рост вытянувшись, гикнул что есть силы Пайлак на своих быстроногих лошадок и распластал обе руки с вожжами, как если б встречные ветры зеленоволосою девушкой кидались ему на грудь.

Но, озабоченно стрекоча и мурлыча, любовь кучера Пайлака пробегала внизу, в самой последней глубине каньона. Словно чуя надвигающиеся перемены, зеленоволосая девушка собралась с силами. В Мокрых горах девять дней шел дождь вперемежку со снегом. Сегодня снег стал таять. Она взбухла, вскипела от весенней подмоги. Цвет ее замутился, серыми кудрями била она по камням,

[1] Джан ахчик — милая девочка *(арм.)*.

вскарабкивалась, перекидывалась, грохоча и урча, катила сотнею пальцев неистовые шары — каменное оружие гор. Добежав до начала работ, Мизинка яростно замедлила,— русло ее здесь расширялось. Несколько затейливых полос в гальках говорило о хитрости речки. Пайлак не выдумывал. Мизинка меняла здесь русла, как платья. Покинутый длинный пробег хранил только исчезнувшую влагу на камнях, потому что речка, изменив направление, начинала вдруг бить на другой стороне. Докладная записка, в свое время подшитая к делу, сухо осведомляла об этих капризных свойствах и указывала на необходимость «ставить и хорошо крепить левобережную дамбу».

Здесь, на этом плацдарме, была для Мизинки самая страшная встреча с врагом. Здесь ей готовили западню. Сперва она пробежала тремя неровными струями под чем-то, что раздражало ее, сердило и утесняло своей необдуманной грузностью, потом вдруг, мгновенно изменив течение, стала тонко и остро, сильным напором бить в крайний левый ряж моста. Наверху люди, балансируя на еще не законченном мостовом настиле, крепили железом доски.

При скудном свете двух фонарей, вознесенных столбами на берегу, был смутно виден весь этот мост, уже почти законченный. Только что проведенная, жирная от прокатки дорога подходила к нему и отходила от него с той стороны по искусственной насыпи.

Мост был временный, деревянный, предназначенный для перевозки материалов. Выбежав из-под ряжей, как из-под четырех растопыренных пальцев, старавшихся цапнуть ее, Мизинка бросилась снова вперед, к черному горлу ущелья, видневшемуся перед ней. Оно было освещено с правой стороны.

Именно тут, справа, не на самом речном пути, а таинственно в стороне от него, такое же черное, такое же узкое, такое же непреодолимое, виднелось нечто, внушавшее речке, по-видимому, невыразимый ужас.

Клокоча в этом месте, Мизинка споткнулась порогами. Даже и утекая в горло ущелья, обращала она серебро своей пены, дрожь тысячи брызг, хвостатую накипь волн на тихий и весь исковырянный, весь в горках земли необыкновенный бережок. Здесь был вход в отводной туннель.

Александр Александрович уже давно, обходя работы, проследовал к туннелю. Глуховатые уши он старательно заложил ваткой, потому что в этом месте был сильный сквозняк.

Отводной туннель в сто пятьдесят метров длины уже весь был пройден по оси и расширен. Здесь работали ленинаканские греки. Вход в туннель шириною в двадцать три метра напоминал верхушку хорошего бокала для шампанского, суживавшегося к концу. Земля сочилась здесь тепловатою влагой, но дальше в самом туннеле дул резкий ветер. Диаметр там сокращался до пяти с лишним метров.

Деревянный настил, укрепленный на середине туннеля, делил его на два этажа, мешая поймать глазом красивое и круглое жерло. Лишь там, где талию туннеля охватывало массивное железное кружало, глаза невольно, пробегая по обручу, угадывали внизу его продолжение и представляли себе там, под досками, полое пространство.

Между досками настила и проложенной по нему колеей были дыры и щели, куда с непривычки ушла бы нога новичка. Но рабочие ходили, не глядя, раскачивающейся походкой. По рельсам, резко скрипя, подкатывались тачки с бетоном. Стоя боком в туннеле, рабочие начинали бетонировать стенку, и ясная, правильная, простая и несложная работа в той ее стадии, когда уже целое видно и ряд действий понятен не вразбивку, а в совокупности,— увлекала, по-видимому, и самих рабочих, и молодого практиканта, стоящего сейчас рядом с Александром Александровичем.

Отводной туннель был только маленькой деталью постройки, но красивой деталью. Практикант чувствовал это. Он таскал с собой в картонной папке рабочий чертеж. Его восхищало простое остроумие техники, жизни, казалось, мало, чтоб строить.

Бывший слесарь, потом красноармеец, а теперь вузовец, практикант Фокин пропускал академический год, как и собственные дни отдыха, увлеченный стройкой.

Но Александр Александрович упорно не вынимал ватки из уха. Его рассеянный, совершенно равнодушный взгляд блуждает сейчас по туннелю, ватка служит защитой от слишком громкого, быстрого, горячего напора слов.

В сущности, говорить тут не о чем,— Фокин отлично мог бы не говорить. Его, как грамотеев на ликпункте, в сорок лет восхищающихся буквой *ща,* сводит с ума вот это наглядное, греческое, волшебное «пи», когда он таращит круглые пролетарские глаза на ясный обруч кружала, пересеченный диаметром настила.

— Ну да, ну да, очень красиво! Геометрия! — ирони-

чески шамкает Александр Александрович, а про себя брезгливо думает, шагая рядом с Фокиным: «С этакими невеждами мы строим».

III

Фокин между тем прервал вдруг себя и ринулся, подняв плечи и уперши подбородок в грудь,— жест боевого петуха,— головой вперед на чернявого молодого рабочего.

Раздалась крепчайшая ругань — один только Фокин позволял себе ругаться на участке, за что и попал однажды в стенное детище Степаноса, газету «Луйс».

И только фокинскую ругань рабочие выносили.

Чернявый, присев боком на деревянный краешек обшивки, утрамбовывал насыпанный за обшивку бетон. В позе его Фокину чувствовалось критическое пренебрежение к бетону. Вырвав из его рук трамбовку, стал Фокин торжественно уминать приятную влажность бетона и приговаривать, причмокивая вперемежку с бранью: «Вот как, парень,— не пироги месишь!»

Александр Александрович воздержался от замечания. Чернявый рабочий внушал ему страх. Это был Аристид Самсонов, грек, брат того Михаила Самсонова, что работал в плотничьей артели на мосту. И Михаил оскомину набил на участке, а уж про Аристида давно ходил слух, что он ставленник ГПУ.

— Бетон, Алесан Саныч, никуда не годится,— развязно произнес чернявый, подходя к старичку,— вот в Германии бетон — это да.

Он достал папироску и, хотя курить на настиле строго запрещалось, закурил самым спокойным образом. Он даже старику протянул коробку, и, к удивлению Фокина, подагрические пальцы инженера со старческой дрожью вытянули и зажгли скверную самсоновскую папироску.

— В Германии бетон — это да, другая категория. В Германии даже штукатурка хороша. У нас идешь по улице, висит рабочий в люльке, кистью стену лупит. А там рабочий стоит на асфальте да из кишки любые этажи берет. Это я хорошо знаю. Я в Хамбурге на баррикаде за революцию сражался.

— Что бетон плох, это ты врешь,— презрительно сказал Фокин.— Бетон удовлетворительный, утрамбуй его получше, вот тебе и будет бетон. И про баррикады врешь. Сражался бы за революцию, так бы через пень-колоду не работал!

Они дошли до конца туннеля и обернулись.

Сводчатый, куполообразный, охваченный музыкальными тактами кружал отсюда был виден весь, во всей технической чистоте своей формы. За спинами их на сырой и усыпанной гальками площадке раздавался равномерный стук, прерываемый звуком сыплющегося тела: это работала бетоньерка. Рабочие засыпали ковш, и он опрокидывался с глухим ревом в бетономешалку.

И здесь тоже, если приглядеться, рабочие двигались ловко и с удовольствием, работа ладилась, потому что между ровным жерлом туннеля и между этой компактной, маленькой, остроумной машинкой, чисто и твердо выполнявшей свои операции, уже установилась требовательная и размеренная во времени связь. Уже знали внутри туннеля, когда и сколько подадут бетона, тачка подкатывалась вовремя и без суеты; и уже знали рабочие у машины, как и когда загружать тачку.

На операцию изготовления бетона можно было смотреть часами. Фокин и приходил сюда смотреть — из чистого удовольствия, как любят иные «сумасшедшие» люди смотреть на закат солнца.

Машина состояла из трех связанных друг с другом частей — большого чугунного откидного ковша, подымавшегося примерно как чашка бульона ко рту больного; моторчика, приводившего все в движение, и, наконец, бетономешалки, походившей, если продлить сравнение, на большой открытый рот. В бетономешалке имелись даже зубчатые челюсти.

Рабочие щедрым и нескупым жестом, потому что работы у них было сравнительно немного и рассчитывать силу не приходилось, загружали ковш сперва тремя ящиками гальки. Ковш поднимался, гальки сухо пересыпались в открытую пасть бетономешалки, а сверху, выделяясь автоматически, подобно слюне из слюнной железы, брызгала вниз на гальку тонкая струя воды. Тем временем в ковш засыпалась уже другая пища: ящик промытого песка и третья часть бочки цемента. Опять, поднимаясь, ковш опрокидывал сыплющуюся массу в бетономешалку, и пасть пережевывала гальку с песком; крутясь из стороны в стороны, пересыпая пищу с челюсти на челюсть, приятно, щекотно, со стрекочущим вкусным звуком ходили и отплясывали в кружившейся бетономешалке гальки, обволакиваясь песком и цементом. Теперь они становились уже не сухими, а жирными, смутно блестящими, влажными, приятно похрустывая на металлических зу-

бах; но тут машина, остановившись, поднимала хвостик, и готовый бетон тяжелыми галетами сыпался на поставленную тачку. Все, кроме засыпки, производилось автоматически.

Подойдя к машине, Фокин сунул пальцы в заготовленные носилки с песком. Он потер его между ладонями, вкусно взяв стопочку. Потом, прищурясь, взглянул на него и протянул Александру Александровичу. Песок был хорош.

Старый инженер, удерживая зевоту, похваливал. Спору нет, работа здесь, на туннеле, шла, и сами рабочие отлично знали это.

Ему хотелось вернуться, выпить чаю и лечь спать до ужина. Но оставался еще третий участок работы, необходимо было вновь пройти через туннель и, узнавши насчет коронки, спуститься по мокрым и грязным доскам на мост.

Фокин, простившись, остался стоять у бетоньерки. Он слышал шум Мизинки, в этом месте ревя выскакивавшей из ущелья. Зеленые глаза ее из-под вороха сверкающих пеной волос как будто уставились на практиканта блестящим взглядом тигрицы: это речка, беря препятствие, на мгновение вскипая пеной, замерла над камнем.

— Погоди ужоточко,— ласково сказал Фокин,— добежишь до знакомого места, да не тут-то было. Тут тебе такого наставим, что ты живо повернешь боком да войдешь мышью в туннельчик. И не таких видывали!

Он теперь тоже врал, как Аристид Самсонов насчет баррикад. Никаких «таких» Фокин отродясь не видывал и даже Кавказ знал только проездом. Уроженец и житель Севера, веснушчатый, как деревенская девочка, он знал реки медленные и полные, отражающие в своих водах бледное небо и белизну облаков. Но уж очень хорошо было жить, отчего и не приврать малость Фокину наедине-то с собой?

Подняв пальцы и складывая их кукишем, от избытка чувств улыбаясь нежнейшей улыбкой, счастливый Фокин показал зеленоглазой красавице комбинацию из трех пальцев.

Для рассвирепевшей речки это была между тем отнюдь не последняя неприятность. Выскочив из самого узкого места ущелья, где по проекту предполагалось воздвигнуть аховую американскую плотину в тридцать семь метров вышины, речка побежала теперь по глубокому дну каньона. Справа и слева от нее вставали замшевыми стенами старые порфиритовые кручи, похожие днем на изъеденную

временем тусклую кожу слона. Зигзаги ее пути, не особенно резкие, шли вниз к станции, падение тут было очень большое, речка кубарем скатывалась, бормоча сердито на ходу, но сегодня все шло не так, как полагается. Большую, раздутую дождем и снегом весеннюю массу воды не хотели оставить в покое даже ночью.

В одной из теснин каньона при свете звезд да ярких ручных фонариков можно было разглядеть узкий, плоский, на финскую лыжу похожий мостик, вознесенный на стальных тросах. Возле него копошились с ящиком и темным скелетом какого-то инструмента два человека.

Один носил фуражку инженера. Другой был крестьянином.

Первый, в фуражке инженера, был гидрометр Ареульский.

Каждый, кто слышал фамилию эту в первый раз, невольно переспрашивал: «Как? Ареульский?» Но далеко не каждому по сектору сообщали темную тайну этой фамилии. Дело в том, что гидрометр Ареульский, бывший в те дни и не гидрометром и не Ареульским, а недоучившимся студентом Прохоровым, внезапно, по совершенно неизведанным причинам, поместил в газете таинственный запрос насчет перемены фамилии Прохоров на Ареульский, призывая высказываться тех, кто видит к тому препятствия. Не встретив препятствий, загс переменил фамилию, и Ареульский стал фактом. О мотивах он намекнул только однажды: человек должен носить фамилию по себе.

Гидрометр Ареульский, взволнованный начавшимся весенним паводком, самолично вынимал из ящика вертушку и прикреплял ее к концу длинного шеста. У него не было помощников, кроме толстяка Мкртыча, названного местным острословом, комсомольцем из дизельной, Санчо Пансой при Дон-Кихоте.

Мкртыч вовремя не оказался на посту, и речка опрокинула сегодня доску с делениями, стоявшую у воды и показывавшую уровень. И сейчас Ареульский грозно молчал и не давал Мкртычу ни до чего дотронуться, что было сильнейшим выражением гнева.

Но так как стоять на мосту с вертушкой и записывать, следя по часам за звоночком, число оборотов в секунду никак нельзя двумя руками, а требуется их по меньшей мере три, Ареульский молча сунул в руки Мкртыча шест с вертушкой и, дав ему презрительный подзатыльник, толкнул к мосту. Идя, точнее переваливаясь, с шестом по зыбкому мостику, Мкртыч показывал звездам лукавое и

толстое лицо с ямочкой на щеке. За ним тонкою змейкой полз шнур от батарейки.

Оставшись один, гидрометр Ареульский запахнулся в кашне, как Альмавива в плащ. Лицо его перекосила горькая усмешка.

Лицо было чрезвычайно худое, вытянутое книзу, глаза мрачные и тощие в провалах глазниц, брови дугой, и был бы в этом лице совершенный испанский стиль, если бы не подпортил нос. Нельзя было скрыть, что нос Ареульского курнос. Он торчал обыкновенной, как говорится где-то у Лескова, пипочкой и довольно прохладно дышал на губы, отстоявшие от него неестественно далеко.

Поставив удобно на краю моста батарейку, Ареульский прикрепил фонарик, достал секундомер и раскрыл свой блокнот. Опять же необходимо сказать, что блокнот свой Ареульский не давал в руки простым смертным. Каждому, кто хотел бы вникнуть в тайну его профессии, он коротко и сухо замечал, что высшая математика не поддается передаче, учиться, учиться надо для этого. Заклятому своему врагу, практиканту Фокину, сказавшему как-то, что гидрометрия дело пустое и что вычислить скорость воды — просто плюнуть, он долго не мог подавать руки. А помирившись, не глядя ему в глаза и усмехаясь снисходительно, объяснил, что «дебет или расход реки исчисляется интегрально, ибо движение волн — это не прямое движение, а оно описывает параболу».

Описывая параболу, мутные волны Мизинки ждали сейчас последней своей неприятности.

Мкртыч дошел до середины моста. Здесь он остановился и стал опускать шест с вертушкой в воду. Вертушка — красивый инструмент со стальными лопастями, похожий на детскую игрушечную ветряную мельницу, какие делают из пестрых бумажек и продают сидящими на палочках,— соединена была с электрическим звонком. Опустив ее до поверхности воды, Мкртыч стал ждать.

Мизинка разъяренно забила в стальные лопасти. От каждого удара воды лопасти беспрерывно вертелись, и всякий раз, как вертушка совершала двадцать пять оборотов, автоматически звонил наверху звонок.

С секундомером в руках Ареульский записывал, сколько оборотов делает вертушка в секунду.

Такие измерения проделывались у поверхности реки, в середине ее и у самого дна, где скорость воды равна почти нулю. На поверхности расход был самый сильный, а в середине реки слабее. Обыватель, присутствуя на опытах,

сказал бы, что река течет быстро на поверхности, посередке дает среднюю скорость и на самом дне стоит, как в луже. Но Ареульский, снисходительно улыбаясь, отверг бы такую арифметику и показал бы, что «средняя скорость» лежит не в середине, а ниже середины, как результат движения по параболе.

Чтобы вывести эту среднюю, сказал бы он, и требуются интегралы.

Мимо Ареульского пробегает Мизинка, унося свое израненное вертушкой, избитое вертушкой нежное водяное тело.

В этом стремительном беге, неукротимая, невозвратная, как человеческое время, когда-то воспетая Гераклитом в его афоризме «все течет» и «нельзя войти второй раз в ту же самую воду», потому что она меняется скорее, чем через мгновенье,— не знает речка Мизинка, что уже высчитан, выверен и найден весь жизненный уклад ее, весь «режим» ее, как суховато говорят записи: когда, в какой месяц и где, в какой точке, сколько и с какой скоростью пробегают в Мизинке воды.

IV

Между тем другой бегущий, мальчишка-почтальон, донес уже до верхних бараков полученный от Пайлака пакет.

Кучер Пайлак не врал речке. Кучер Пайлак сказал правду: в пакете было ровно три сероватых конверта, и на одном из них стояло: «Секретно».

Начальник участка уже ушел из конторы и был дома, куда его влекло скрытое неблагополучие семейной жизни.

С минуты приезда Клавочки на участок это таинственное неблагополучие дало себя знать в мигрени «мадам». Хрустя тонкими пальцами в рубинах, «мадам» подолгу простаивала у окна, повязав голову пестрым шелковым шарфом. В обед она ложилась на кушетку. Прибор ее на столе, против прибора мужа, оставался нетронутым.

— Мари, да ты скушай чего-нибудь,— говорил муж насильственно беспечным голосом, глядя, как сухие и тонкие руки ее прикладывают к плоскому лбу платочек, намоченный в уксусе.

Мари загадочно улыбалась. Она вперяла в мужа выцветшие глаза монахини. Сложная и героическая работа происходила в ней. Ей казалось, что эта работа ясна и по-

нятна ему, ясно и понятно усилие простить, снисхожденье, одинокий отход к себе, к своему величайшему самопожертвованью: «Видишь, я знаю, терплю, не устраиваю сцен, живи, но... не трогай меня, я умираю, быть может».

Кушая суп с твердыми и плохо проваренными макаронами, Левон Давыдович совсем этого не видел, а про себя произносил только два слова: «Сумасшедшая психопатка».

Макарона выскальзывала у него изо рта, он неловко втягивал ее обратно, помогая себе большой серебряной ложкой с бельгийскими инициалами «мадам». Не мог же он сказать ей, что жену своего начканца, Клавдию Ивановну, ни разу не видел ни в лицо, ни в профиль и даже не знает, толстая ли она блондинка или худая брюнетка.

Но по странному свойству своей натуры мучительно длить всяческие неприятности, как бы видя в нагромождении их нечто вроде собственных своих заслуг, Левон Давыдович навязчиво стремился в эти минуты быть дома, сидеть под выцветшим взглядом жены, впитывать хруст ее пальцев и подставлять себя под укусы: на, на, на.

Так и теперь, подставляя себя под укусы, уже два дня небритый, он ходил взад и вперед по столовой, как можно сильнее и громче наступая на пол.

Три конверта легли перед ним на столе, и на одном из них стояло: «Секретно».

Так обыкновенно писали из управления, злоупотребляя секретностью. Каждую ерунду конспираторы из управления передавали сюда, на участок, под этим кричащим заголовком. Пожав плечами, начальник участка разорвал конверт и все на ходу, причиняя «мадам» гнетущее сердцебиение своим скрипучим шагом, принялся было за чтение.

Но не прошло и секунды, как письмо полетело на стол, а сам Левон Давыдович резко остановился у висевшего на стене телефона.

В соседнем бараке, сидя за деревянной перегородкой у небольшого участкового коммутатора, телефонистка, жена Маркаряна, встрепенулась. Она прервала увлекательное занятие — гаданье на картах — и, сняв телефонную трубку, положила ее к уху. Облачко задушевной преданности прошло по ее лицу: говорил начальник.

— Хорошо, Левон Давыдович, сейчас, Левон Давыдо вич.

Положив трубку, она поспешно вытянула из дырочки упругую кишку соединителя и вложила его в другую дырочку: квартира начальника участка соединилась с отвод ным туннелем. Потом, оглянувшись по сторонам, жена

Маркаряна осторожно нажала кнопочку, чтобы не слышно было контрольного звонка, снова схватила трубку и, сложив губы сердечком, устремила блуждающие, круглые, томные глаза под потолок,— она мирно подслушивала.

Начальник участка взволнованно требовал к телефону Александра Александровича.

Отводной туннель ответил свежим и грубым голосом («Кажется, Фокин»,— телефонистка презрительно поморщилась: она не любила Фокина), что Александр Александрович минут пять как ушел на мост.

Начальник участка потребовал узнать, вытащен ли бур из скважины номер два.

Фокин ответил, что вытащен.

Тогда начальник участка,— он, несомненно, волновался, голос его дошел до писка, что-то случилось, что такое могло случиться? — начальник участка велел спешно разыскать на мосту Александра Александровича и передать ему, что он, Левон Давыдович, просит его немедленно, тотчас же, идти обратно,— начальник участка будет ждать его у себя на дому.

Жена Маркаряна бросила трубку,— кто-то шел к ней за перегородку. Это был Володя-конторщик. Но сказать ему что-нибудь она не успела. Только что захлопнутое ею окошечко номер девять открыло глазок. Говорила опять квартира начальника участка.

Отвечая Левону Давыдовичу, телефонистка плечом отводила чересчур любопытного Володю-конторщика. Володя-конторщик, охваченный равномерно любовью и любопытством, старался использовать двоякую выгодность своего положения. Он тянулся к трубке, налегая на большие плечи жены Маркаряна, чувствуя с удовольствием знакомый запах собачьего меха. Роман их начался именно тут, у трубки коммутатора.

— Да, Левон Давыдович, хорошо, Левон Давыдович... то есть я хочу сказать,— круглые блуждающие глаза телефонистки и нечистая улыбка ее больших, раскрывшихся губ с укором самнамбулы повернулись к Володе-конторщику,— хочу сказать, что их нет сейчас в канцелярии, Захара Петровича нет. Если хотите, я за ним пошлю когонибудь. Хорошо, будьте спокойны, передам в точности.

Она в третий раз положила трубку. Нужно было спешно послать за Захаром Петровичем и передать, что начальник участка ждет его немедленно у себя на дому.

Набросав телефонное поручение на бумагу мелким и кривым почерком, жена Маркаряна повернулась к Володе-

конторщику. Новость была сейчас важнее поцелуя. В новости захлебывались оба: «меринос» определенно знал от мальчишки-почтальона, что пришла бумага из управления с пометкой «секретно»; его любовница определенно знала, что в квартире начальника участка готовится экстренное совещание.

В этот час, когда, в сущности, оба они, и Левон Давыдович и начканц, должны бы присутствовать в канцелярии, даже и аккуратнейший Захар Петрович был по семейным обстоятельствам дома.

Крепко и поздно пообедав привезенными Клавдией Ивановной из города булками, колбасой, копченой грудинкой, огурчиком, шестидесятиградусной карабахской водкой, ореховой халвой и прочими припасами, для быстроты и легкости положенными вместо тарелки на бурый лист оберточной бумаги, Захар Петрович отдыхал сейчас рядом с Клавдией Ивановной на кривоногой семейной кровати и с удовольствием курил, пуская дым в потолок.

На шелковое черное трико своей жены он не обратил особенного внимания. Супруги были заняты сейчас тихим и немногосложным разговором, впрочем и без того неслышным ни за стеной, ни в коридоре. Логово начканца было так грязно, воздух (или отсутствие воздуха) такой плотной завесой стоял здесь, как столб пыли на солнце, что шепот и шорох падали вниз, едва родившись.

Сегодня, как и всегда, оба они думали и беспокоились об одном и том же. Начканц знал это свойство семейной жизни и уже с утра, приглядевшись к ослепительно похорошевшей, но чем-то внутренне обеспокоенной жене, и сам от нее не скрыл собственной тревоги.

После обеда каждый из них поведал секрет другому, утаив — словно не секрет, а порцию шоколаду — половину исключительно для себя. Даже и то, что половина утаивается, один про другого знал и считал в порядке вещей.

Начканц сказал:

— Я, Клава, кажется, фифишку свалял. Рыжий этот... не того, словом. Ты бы в городе...

Жена ответила:

— Не беспокойся! Двадцать раз узнавала.

Клавочка и в самом деле думала о рыжем. На душе у нее лежала тяжесть. Про письмо она тогда не соврала. Аршак написал письмо, и это письмо до сих пор лежит у нее за подкладкой пальто. Половина, которую она утаивала сейчас от мужа, именно и была в этом письме.

Получив конверт для передачи, она еще в городе по-

держала его, как делала решительно всегда с чужими письмами, над кипящим чайником и легко на пару вскрыла его. Аршак писал своему другу малопонятно:

«...Вы оказались правы насчет натуры. Упорно овладеваю ею. Но в характере моего дарованья нет, кажется, нужного пафоса, чтоб воспроизводить положительное. Получается конфуз. Делаю карикатуры для местной газеты. Послал в Москву альбом сатирических зарисовок с натуры — какими «мы не должны быть». Клавочка очень удалась — сочный рубеновский кусок мяса. Но лучше было бы платить обыкновенной натурщице рубль в час, потому что эта обошлась мне в полную стоимость портрета (купили на выставку за 500 рублей). Сигнализирую на участок: будьте осторожны.

Аршак»

Дальше в письме был замечательный постскриптум:

«Пишу, собственно, вот зачем: меня вызывали в угрозыск, спрашивали ваш адрес. На что он понадобился, не знаю, поэтому дипломатически направил их в управление Мизингэса. Имейте это в виду, хотя на беглого каторжника вы не смахиваете».

Обидные слова в письме про нее, Клавочку, как про кусок мяса, да еще ссылка на 500 рублей, были причиной того, что письмо Аршака, хотя и вновь старательно заклеенное, «затерялось» у нее в подкладке пальто. Но запуганная странной припиской, Клавочка терзалась в догадке: что же значит такое,— политика, ясно,— только грозит ли политика рыжему, или, наоборот, сам рыжий грозит политикой? Странный человек, на грошовое жалованье без разговора поехал, часы палкой устроил, уж не бежал ли нарочно из города? По мужу, Захару Петровичу, выходило, что опасность грозила не рыжему, а, наоборот, от рыжего. Мужу, Захару Петровичу, могла выйти через рыжего неприятность по службе.

— Если хочешь знать,— Клавочка оперлась на кулачок и повернула к мужу бледное, сейчас чуть помятое лицо. Ее блестящие, вывернутые зеленые глаза, обведенные синевой, стали таинственными, как у маленьких детей, когда они хотят «пугать»,— вот тебе, если хочешь знать, совет...

В дверь отчаянно застучали. Мальчишка-почтальон барабанил в нее обоими кулаками. В зубах у него, пропитанная чесноком, белела свернутая записочка: телефонное поручение Левона Давыдовича.

V

На мосту работали в этот вечер три артели.

Две из них крепили дамбы с правой и с левой стороны моста — вернее, обкладывали их камнями, выломанными тут же на горе в местном туфовом карьере. Эти артели состояли из чернорабочих. Третья артель, плотничья, заканчивала укладку моста.

Мост был первым строительным опытом Левона Давыдовича по части мостов. Перед умственным его оком, когда он проектировал этот мост, стояли тишайшие долины Фландрии и меланхоличные реки Фландрии с их ровною и постоянною водяной массой. Даже облака Фландрии представлял себе Левон Давыдович, поскольку он был охотником, любил охоту на диких уток и, как все охотники, имел чувство пейзажа.

Облака, долины и реки тесно срослись в этом представлении с академическим учебником расчетов, лежавшим для освежения памяти перед ним на столе. Управление поручило эту маленькую работу начальнику участка, и, вполне отвечая маленькой работе, вставал на первой странице книги стандартный образ моста,— нечто вроде «перворастения» Гете,— конструктивная схема, подобная в магазинах готового платья приличному стандартному пальто на средний рост.

Левон Давыдович был педантичнейшим человеком буквы. Он хотел сделать приличный и красивый мост «на средний рост», задание было строить сопротивляемость на двести пятьдесят кубометров.

Это значило, что мост рассчитывался на меньший, чем средний, расход воды в речке. Между этим детищем начальника участка и тем тонким мостиком, похожим на финскую лыжу, была глубокая родственная связь, хотя и по «боковой линии»: там, на мостике гидрометра, изучался расход воды в реке; там найдены были данные, по которым высшая точка этого расхода — сильный весенний паводок, случавшийся с Мизинкой не чаще чем раз в сто лет,— давала цифру в семьсот пятьдесят кубометров в секунду. Именно эти-то исчисления с резонной надеждой, что Мизинка, разлившаяся крупно еще в прошлом году, даст в годы последующие затухание весенних разливов, и привели здесь, на обсужденном и утвержденном правлением «деле о постройке временного деревянного моста через речку Мизинку для перевозки необходимых грузов», к проставленной цифре: строить временный мост на двести пятьдесят кубометров.

— Четыре года постоит, а больше и не надо,— такова была предрешенная душа этого моста.

Но Левон Давыдович любил монументальность. С бумаги, исчерченной его суховатой небольшой рукой, на берега Мизинки перенесся академический суррогат из учебника.

Он был навязан Мизинке, как приличное стандартное платье из магазина. По-своему он был даже красив. Это были тяжелые, ложномонументальные, мнимосолидные формы, выполненные в легком материале, это был детский пистолет «пугач».

Вот он стоит сейчас, почти законченный, при бледном свете звезд и скупом пламени фонаря.

Справа и слева к нему по искусственной насыпи подходит новая дорога, еще жирная от недавней прокатки. Дамбы чисто, для красоты, обложены камнями,— так красят под бронзу гипс. Мостовой настил ровною колеей с невысокими перильцами возносится над сторукими воплями ферм, этих кариатид современности. Под фермами уплывают вниз спеленутые ноги кариатид — деревянные ряжи.

Говоря же без поэтических аналогий, надо сказать прямо: Левон Давыдович построил через Мизинку обычный деревянный мост на четырех ряжах, какие хорошо ставить на медленных реках по ровным руслам или же, еше лучше, в учебниках механики для наглядного обучения простейшим применениям закона рычага, но не на горной речке с крутым паденьем.

Подходя к нему не с дороги, а с низу, где все еще ходят рабочие и подвозятся строевые доски (потому что новую дорогу, как незастывший пломбир, покуда не трогали), вы видите пять красивых пролетов и тяжелый профиль. Странным кажется этот профиль над тощим и худеньким тельцем речонки, распластавшейся в этом месте на животе. Курица могла бы перейти ее вброд. Шевеля зеленым остреньким плечиком, проползала Мизинка между ряжами, и не хватало Мизинки, чтоб заполнить, забить, захватить все пять пролетов. Свернувшись, она била в последний ряж, грызла его сотней зубов, оставляя вдруг совершенно пустыми все четыре пролета, как ненадетые рукава от платья.

Третья артель, плотничья, делала свое дело наверху спеша и молча; но той ясной и слаженной, хорошо понятой работы, какая была в отводном туннеле, здесь не чувствовалось.

Наоборот, плотники показывали короткой небрежностью своих движений, что на постройку моста они глядят несерьезно. Внизу, где крепили дамбу, раздавались смешки и шутки. Тяжелый и мнимосолидный профиль моста казался рабочим чем-то вроде господина в котелке, который не сумеет, когда понадобится, поднять ведро с водой.

— Разве в наших местах это мост? — подхватывал Михаил Самсонов, понимавший по-армянски.— Инженеров этих за решетку, вот куда. Аробщики, которые нам доски возили, и те смеются: для кого, для красоты строите? Первая вода его сковырнет.

Он злобно швырнул камнем в ряж.

— Нам еще лучше,— дважды работать придется,— отозвались сверху.

Насчет того, что верхним, плотничьей артели, дважды придется работать, нижние как будто не только не сомневались, но и еще про себя вспомнили что-то очень смешное. Они ответили раскатом хохота.

Плотник Шибко, возглавлявший верхнюю артель, принимал сейчас длинную последнюю доску настила, медленно передвигавшуюся в руках десятка рабочих,— доска шла в воздухе, плавно и тяжело колыхаясь, стесненная в движениях своею бесконечной длиною, как неуклюжее тело змеи.

Шибко сделал вид, что не слышит хохота. Он был внушителен даже среди своих рослых и крепких товарищей. Лицо его походило на старую лубочную картину «Боярин» — холеная квадратная борода Шибко сильно с проседью, кудрявая и на лоб растущая шевелюра, стриженная «под гребенку», брови твердые, ясно очерченные, глаза серые с поволокой,— никак не соединялось все это с рассказами о его особых талантах. Он пропустил хохот мимо ушей: неделю назад он ухитрился получить с артельщика дважды зарплату за одну и ту же работу: первый раз по оригиналу, второй раз по копии.

Когда Александр Александрович, шлепая калошами по мокрым камням, подходил к правобережной дамбе, возле которой самодельная и неудобная лесенка вела на мост, рабочие артели Шибко уже спустили последнюю доску настила.

Она двинулась, неся за собой все свои точки, с приятною и чувствительной для плотника упругостью в оставленное для нее пустое место. Рабочие, сбившись в кучу, сидели теперь на мосту, глядя, как Александр Александрович подходит.

Что бы ни говорили о Шибко (а с кем греха не бывает!), вся эта артель, да и сам Шибко были опытные, зрелые рабочие, исколесившие немало дорог нашей необъятной родины. Руки у них были золотые, и они знали, что умеют работать. В досужий час каждый из них смастерил бы для вас любую тонкую штуку из дуба или березы. Но сейчас странное, почти тупое равнодушие было у них на лицах.

Подняв голову и восходя на последнюю, самую каверзную ступеньку,— здесь брались обычно руками за настил, чтобы не свалиться,— Александр Александрович увидел их всех со спущенными беззаботно ногами, с равнодушием в сонных глазах, с зевком на пухловатых и светлоусых ртах — забубенную артель Шибко, умевшую, как никто на участке, изводить самой ловкой формой поединка — молчанием. Артель молчала, даже когда пила горькую, когда вырабатывала по тридцать целковых в сутки на душу.

Александр Александрович боялся их больше, чем Аристида Самсонова. А тут, поднимаясь, он услышал вдруг, что артель разговаривает.

С какой-то медленностью, словно горло опухло и слова выходили оттуда с сильной натугой, рассказывал Шибко — он это делал раз в год — о русско-японской войне, в которой участвовал. Шибко говорил, словно и не сидели они здесь, на новом мосту:

— А китайская женщина не работает, сидит дома цветочком. Муж сам за нее все делает — и стирает он, и котел на огонь ставит, и за дитей ходит, дитю носит, и на жену, как ни икону, молится. Есть у них выражение «жиб-кашанхá» — жена-красота!

Эта неожиданная речь оскорбительно подчеркивала все глубочайшее пренебрежение артели к «текущему моменту». Последняя доска настила, последний гвоздь полугодовой работы, который они должны сейчас забить, отодвинулись этой речью в сторону. Словно в защитный цвет оделись,— рабочие артели Шибко были сейчас так же неестественны и мнимомонументальны, как построенный ими мост. Поза их за внешней полной беспечностью прятала неуважение.

Отдышавшись, Александр Александрович долез. Ему следовало пройти по мосту, который на днях должна была принять комиссия из управления. Но у него подагрически ныло правое плечо. Он медлил.

— Александр Александрович! — молодым и свежим

голосом закричал догнавший его Фокин.— Сейчас начальник участка по телефону звонил, просит вас воротиться, он ждет на квартире. Сказал — поскорее!

Тайные вести Пайлака начали медленную работу.

Глава девятая

ГОРА КОШКА

I

Рыжий спал на спине, подложив руку под затылок. Проснувшись, он не сделал никакого движения, а только открыл глаза: его часто будили таким образом на ранней заре, когда приходил тифлисский поезд. Он все еще жил в комнате для приезжих, хотя наступил апрель, второй месяц его пребывания на стройке.

Человек, приехавший сегодня, не обратил на рыжего никакого внимания,— он разматывался. Стоя посреди комнаты, он методично обеими руками раскручивал вязаный шарфик с шеи. На нем была не по сезону тяжелая кожаная светло-коричневая куртка, вязаные гетры, тирольские подбитые гвоздями ботинки и легонькая кепка. У стены прислонил он бамбуковую трость, на стол положил чемодан и портфель. Размотавшись, приезжий взял стул, сел посреди комнаты и, пыхтя, стал стаскивать гетры.

Разглядывая его, рыжий вспомнил, что́ произошло вчера.

Прежде чем началось таинственное совещание в квартире Левона Давыдовича, прежде чем секретарь ячейки снял с вешалки нарядную клетчатую кепку, идти на собрание,— весь участок знал и на все лады пересуживал в клубе новость о том, что проект Мизингэса забракован в центре. В воображении рыжего встал этот вечер в клубе с той минуты, как он зашел туда почитать газету. В этот вечер рабочие словно взбесились: стук от нард пропитывал стены барака, сухой трескотней сыпались они на зрителей, и зрителей набилось в барак множество. Стук был, в сущности, главным удовольствием игры. Среди рабочих находились виртуозы,— закрыв глаза, по одному стуку могли они определить, кто и как бросил кость.

Играющие сидели по двое за маленькими столами перед длинной, гладко отполированной доской. Тут были и местные и приезжие издалека,— они тоже научились играть. Эти долго, прежде чем бросить, бренчали костями в кулаке, потрясая ими в воздухе, а потом вдруг бросали всей пятерней на доску, бестолково растопырив пальцы. Насто-

ящих нардистов это оскорбляло, тихие рабочие-азербайджанцы, в бараньих высоких шапках, с мелкими чертами лиц, изрытых оспой, тонко улыбались; невежливые армяне супили на резкий стук брови.

Настоящий игрок — он мог с ума свести зрителя, душу вымотать зрителю законченным совершенством игры.

Настоящий игрок кончиком пальцев знал число очков на костях. Бросал он сразу: медленно скатывал кость по ладони к самому концу пальцев и как бы капал ею на доску с острия последнего ногтя. Обласканная длинной лаской, нагретая кость падала особенно: казалось, она обращает к игроку шестиглазое лицо.

— Тридцать девять лет играй — научишься,— говорили опытные игроки и нагибались вкусно, стопочкой забрать камень, стукнуть им и через всю доску одним только вытянутым концом третьего пальца переслать куда следует. Ни одна игра в мире не знала подобной пластики. И через весь Восток, от Нила до Каспия, нардистов роднили одни и те же арабские восклицания, произносимые с особенным гортанным шиком:

— Дубе́ш! Панджурча́р! Дубара́!

Ну где же было шахматисту и его жалкому лексикону из «нуте-с» или «ну-ка» и песенке, застрявшей в зубах, как хрящ от обеда,— где соперничать с нардами?

Степанос огорченно наблюдал за рабочими, охваченными магией жеста. Это был, в сущности, сидячий танец,— азарт их становился с каждой минутой сильнее. Сюда набились все, кого собрал и кормил Мизингэс, за исключением работавшей смены. Даже частники наползли сюда.

Частником на участке считался сапожник, построивший себе особнячок из сырца и монопольно чинивший обувь; цирюльник, располагавший всю свою музыку за неимением закрытого помещения прямо на воздухе: венский стул, тазик, кисть, коробочку с мыльным порошком; гребни он держал в собственной шевелюре. Также частниками считались торговцы луком, носившие свой товар в мешках со станции. Но эти, как и деревенские торговцы, за пазухой державшие яйца, а в бутылках от боржома — густое, грязное буйволиное молоко, пропитанное запахом дыма, уже вытеснялись по всей линии местным кооперативом.

Именно тогда-то в самый разгар игры, заглушая и стук нард, и гортанные арабские восклицания, и закричал вдруг отчаянно, на русском языке, Михаил Самсонов, прибежавший с моста:

— Братцы! Старики-то ведь правы, старики-то! Напа-

костила гора Кошка. Проект-то в Москве... провалили ведь!

И тотчас же, как по волшебству, прекратилась игра,— побросав кости, рабочие вскочили с мест и окружили Самсонова...

Здесь рыжий опять открыл глаза, потому что, вспоминая, успел даже и вздремнуть слегка.

Человек в светло-коричневой кожаной куртке стоял у самой его постели, нетерпеливо глядя на него желтоватыми козлиными глазками. Он что-то жевал.

— Проснулись? Доброе утро. Вы здешний? Ага! Я геолог Иван Борисович Лазутин.

Рыжий мгновенно, мячиком поднялся с кровати.

Покуда он натягивал носки и штаны, приезжий деликатно повернулся к нему спиной, барабаня пальцами по столу. Когда же рыжий, в рубахе поверх штанов, пошел умываться, он тоже вынул из чемодана складной баульчик, где были в футлярчиках мыло, зубная щетка, паста, гребешок и прочие туалетные принадлежности, перекинул мохнатое полотенце через плечо и пошел за рыжим.

Нетерпеливо перебирал он ногами, покуда Арно Арэвьян мылил шею. Приезжий глядел на стройную спину, на чистую линию затылка, на длинные ноги акробата и загадывал, где работает этот великолепный экземпляр человека. Но когда рыжий, умывшись, вернулся в комнату, геолог забыл о своем нетерпении помыться, едва смочил руки под краном, брызнул воды на нос и тотчас побежал в комнату, еще с порога окликнув:

— Да вы сидите, не торопитесь, будем чай пить.

Торопиться рыжему было некуда. Сегодня он отдыхал. Да и час слишком ранний,— еще очень бледный горный рассвет стоял за окном, делая предметы тусклыми.

Геолог между тем продолжал суетиться, все поглядывая на рыжего и на легкие движения его спокойной белой руки. Он достал холодные пирожки с фаршем и выкладывал их на тарелку.

За дверьми Марьянка-уборщица, щеголяя короткой юбкой и городскими туфельками на босу ногу, раздувала для приезжего самовар. Она, как и все женщины на участке, была стрижена по моде, и ее синеватые щеки были густо вымазаны кармином. Неся поднос, она распустила в ухмылке губы.

Геолог улыбнулся в ответ, продолжая жевать что-то. Со стороны казалось, будто геолог держит за щекой вечную карамельку. Слова выходили у него из рта, сопровож-

даемые мелкими брызгами. Это Иван Борисович отучивался — и никак не мог отучиться — от куренья.

Сейчас, в муках уязвленного самолюбия, он не в силах был оставаться наедине с собой. Слова, не сказанные, но десятки раз повторенные самому себе, душили ему горло. Подождав, когда Марьянка, без надобности покрутившись по комнате, ушла наконец, он устремил свои желтоватые глаза на рыжего.

— Слышали, а? Москвичи утверждают — неправильная экспертиза: фельзитовых туфов якобы нет. А наши, как водится, перед москвичами на животе. На участке что говорят? Кроют Лазутина?

Не скрывая любопытства, рыжий глядел на коротенького человека. Он знал, что перед ним крупнейший геолог Закавказья.

О маленьком домике на Авлабаре, собственности геолога, рассказывали чудеса. Холостяк, человек со странностями, Лазутин попал в Закавказье задолго до революции и прочно обосновался там, работая на богатых заказчиков — промышленников, концессионеров, солидные фирмы. У него был нюх на «полезные ископаемые», он физиологически чувствовал близость руды. Как-то, читая Гете, он набрел на таинственную страницу в «Вильгельме Мейстере» о подобном чутье земных недр и отчеркнул место карандашом. «Вы мне не верите, так верьте, пожалуйста, Гете,— говаривал он с тех пор.— Это есть материал для науки, подобная связь. Минеральные ключи я чувствую за пятьсот саженей, у меня чешется кожа. (Сося леденец, геолог растягивал гласные: ко-а-ажа). Медь причиняет мне спазму. Марганец... гм, насчет марганца... дам в обществе нету? Поработав на марганце, я, черт возьми, еду выкутиться».

Но Лазутин злоупотреблял оригинальностью. Она подвела его, как некоторых модных врачей. Постепенно шепотом стали говорить про Лазутина: «Да, конечно, но, знаете, он дилетант все-таки». «Научность хромает у нашего Ивана Борисовича»,— добавляли самые верные лазутинцы.

Он долгое время нес свою кличку, как дребедень на подошве, не замечая. Но, узнав, уже не мог от нее отвязаться. И подмоченная репутация сделала его суетливым, желание оправдаться душило его, один в своем удивительном домике, среди собранных драгоценностей, знаток Закавказья, исходивший его вдоль и поперек, Лазутин чудаковато и вспышками переходил от яростного самомнения к горчай-

шему самоунижению. Только показывая свои коллекции и переживая их сызнова, он обретал внутреннюю уверенность и спокойствие.

II

Коллекции были действительно великолепны. Пять, шесть часов проведя в домике, вы узнавали страну. Длинные боковые коридоры, где узкие окна бросали полосатый свет, хранили сокровища Азербайджана. Почти каждое было найдено, открыто, исследовано Лазутиным,— в шкафах за стеклом дашкесанские железные руды, медь Кедабека, серебро-свинцовые залежи Мехманы, колчедан Чирагидзора, отдел минеральных источников Исти-Су, нефтяное богатство в Баку.

Обойдя их, проникали в квадратики Грузии с сетью ее областей,— здесь были отдельные маленькие комнаты, свет падал с застекленного потолка. Лиловые стены марганцевой комнаты давали тон. Все разнообразие Чиатуры было представлено здесь, от блестящих, круглых оолитовых зерен марганца до жирных кусков руды. Тонкая пыль пачкала пальцы. Черная рука шахтера — несмываемая перчатка — вознесена была над шкафом. Стекла хранили превосходные модели шахт, изогипс показывал залегание марганцевого пласта, диаграммы украшали стены. На полках была собрана лучшая литература по марганцу на французском языке.

Любитель, не побоявшийся красноречия Лазутина, бывал здесь приятно вознаграждаем. Обойдя комнату, геолог подводил его к изящному умывальнику: фиолетовое душистое мыло к его услугам. В этом углу маленький музей практически разъяснял пользу марганца: косметика, профилактика, гигиена — красивое сочетание фиолетовых оттенков; восковая распухшая рука — змеиный укус,— и лечение рядом: шприц, пузырек с раствором марганцевого калия. Химия занимала отдельную полку. Рельсы на подоконнике, сталь с марганцем и без марганца, процент их изнашиваемости. Все это Лазутин готовил мелочь за мелочью сам, наслаждаясь растущим количеством предметов. У него в кабинете средь множества расписаний были столбики календарных дней, и к каждому приписывал геолог карандашом, что приобретено или сделано им для музея.

От марганца вы проходили к углю. Здесь соперничали два «т» — Тквибули и Ткварчели.

Хитрый Лазутин в каждой комнате разнообразил свои методы. В комнате «грузинского угля» он путеводителем

сделал экономику. Посетителю предлагалось углубиться во взаимоотношения цен, в сложные комбинации стоимостей и качеств. Лазутин дал тощий ткварчельский уголь во всей его невзрачности. Но рядом с ткибульским углем геолог, превращаясь в инженера и экономиста, поставил во всей остроте проблему угольной пыли.

Зритель сперва только узнавал о ней из надписей и картинок, видел ее образцы, знакомился с опытами брикетирования. Потом маленькие модели печей, детские игрушки, демонстрировали работу на пыли. Потом, широким сводом вырезок, журналов, фотографий, надписей в уголь вмешивалась техника и технология, зрителю давалась экономическая перспектива: какой выгоды, какой дешевизны, какого огромного сохранения угля можно достичь употреблением угольной пыли. И в свете этих новых знаний ткибульский уголь с его плохим качеством, так неуважительно поминаемый металлургами, получал особое значение.

На другой стороне комнаты раскрывала свою замечательную полосатую колоннаду работа ткварчельских буровых скважин. И здесь опять Лазутин превзошел сам себя. Впервые, быть может, в геологическом музее был показан по вертикалям опыт нескольких буровых скважин, расположенных рядами, и эти колонки, соответственно масштабу комнаты уменьшенные, красивым букетом своих стеблей раскрывали все тайны залегания угольных ткварчельских пластов. Между ними большие черные цифры указывали на расстояние одной буровой от другой. Сбоку, элегантный, как альбом для стихов, в наряднейшем кожаном переплете,— образец идеального «журнала» бурового мастера.

Переходя взглядом от одного столбика к другому, вы ясно видели сечение осадочных пород, характернейший разрез «каменноугольной системы». Вверху шел нанос, за ним красная полоса глины, за глиной — семья серых сланцев, глинистых и песчаных, за сланцами — точнее, между особым грязным слоем углистых сланцев — неизменно чернела густая полоска угля, потом в пестром хороводе семейство сланцев с многочисленными сородичами — сланец песчаный, кудрявчик, сланец известковый, сланец глинистый, песчаник, опять сланец углистый и новый, мощный слой угля,— захотите — и, взглянув на масштаб и на продольные полоски сечения, вы легко определите толщину угольного пласта — 3,75 метра.

Внизу, под сланцами и углем, красиво и пестро стоят крепкие столбики туфогенного песчаника, подпочвенных залеганий. Эти гладкие, словно отполированные столбы

вынуты из настоящей штанги. Лазутин сам пропорционально уменьшил их масштаб.

— Вся угленосная площадь Ткварчел у меня под рукой,— гордился он. И показывал тем, кто понимал толк в деле, образцы пробного ткварчельского кокса из печей Макеевки.

Если посетителем музея была женщина, Лазутин быстро вел ее в «дамскую комнату» — очаровательную бело-розовую комнату кутаисского барита. Здесь прохладные блестящие кристаллы красивого камня разрешалось приласкать рукой. Здесь был и маленький «Ausflug», как говорят немцы, маленький пикник в промышленность. Картонная модель баритового завода, последовательные стадии превращения барита в суррогат краски и белый легкий дамский столик со стулом для отдыха в комнате, крашенный грузинским баритом.

В отдел Армении вела красивая витая лестница. Отдел помещался наверху. Маленькие чердачные ниши, складчатые, подобно телу гармоники, шли вокруг центральной, стеклянным куполом увенчанной большой залы — залы «синтеза», по слову хозяина. В каждой нише собраны были редчайшие музейные экспонаты сокровищ Армении — зангезурской и аллавердской меди, анийской пемзы, каджаранского молибдена, серного колчедана, железистого хромита с берегов Севанского озера, пегматитовых жил лорийского гранита, великолепных строительных материалов, начиная с артикского туфа и кончая гаммой цветных мраморов.

Опьяненный увиденным, переполненный новыми знаниями, усталый, замученный, сохраняя в ладонях приятную прохладу камня, в глазах — оранжевое сияние спектра от бесчисленных красок и оттенков, зритель подводился, наконец, Лазутиным к огромному полотну, растянутому на экране в самой середине зaлы, под сияющим куполом. Взяв в руки легкую бамбуковую палочку, геолог обнимал здесь зрителя от избытка чувств за плечи и, нескончаемо растягивая гласные, тянул, почти не находя слов:

— Ка-а-рта! Литологическая карта Закавказья. Первый опыт в Союзе. Что? Дилетант Лазутин? Фокусник Лазутин? Приглашайте, приглашайте своих генералов, охотьтесь за профессорами. Ползайте на животе перед всяким, кто с вас запросит. Нашенская, закавказская манера — уважать дорогостоящего человека. Ну, а скажите-ка мне, кто из генералов сделал там у себя, в центре-то, литологическую карту? Ась?

На полотне была подробнейшая карта распространения

минерального сырья в Закавказье. Каждое ископаемое имело свой цвет, знак мощности, качества, применения. Это была замечательная работа. Кто умел быть геологом,— так говорил Лазутин,— для того подобная карта служила почти таблицей Менделеева: умственным оком восполняя пробелы, тектонически путешествуя по недрам, схватывая в стройной связи как будто случайные нити месторождений, вы научитесь разгадывать покровы земли, населять пустоты, правильно предполагать...

— Правильно предполагать — вот талант нашего брата! — здесь, задыхаясь слегка, волшебник своего феерического музея вел гостя вниз, в первый этаж домика на Авлабаре, где молчаливый грузин-повар не спеша ставил на скромную клеенку стола яркий фаянс тарелок: травки пахучие, жирный суп из молочной сыворотки, грузинское гоми, перченый, красномясый люля-кябаб.

И этот диковинный человек, на четвереньках опробовавший камни и тропки всего Закавказья, ошибся в пустом вопросе, ошибся так грубо, так невероятно...

— Ай! — вскрикнул вдруг геолог и хлопнул себя по башке ладонью, словно бил муху.— Да ведь быть этого не может, быть не может. В шесть часов получил телеграмму, в девять выехал. Молодой человек, у вас хороший череп, где вы работаете? Прошу вас, молодой человек, запомнить: я докажу им, что ерунда, чистейшая ерунда. Как? Наносы, осадочные породы, речное ущелье? Идемте. Одевайтесь. Нечего терять время.

За окном уж рассвело, и самовар, внесенный уборщицей Марьянкой, давно перестал петь. От пирожков остался лишь жирный след на тарелке. Рыжий, вставая, изо всех сил вытянулся — он каждое утро укреплял эдак свой позвоночник — и, замедленно выпустив глубокое дыхание — выдох длиннее вдоха! — ответил Лазутину:

— Я готов.

III

Совещание у Левона Давыдовича затянулось глубоко за полночь.

Секретный пакет, как всегда бывает с секретами, принес вести, гораздо менее страшные, нежели те, что разнеслись по участку.

Правда, проект был забракован. Правда, управление предписывало замедлить темп, перейти с трех смен на одну, остановить капитальное строительство и не делать никаких новых трат на подсобное, включая сюда и жилые бараки, и

все по договору обещанные меры благоустройства участка.

Но тут же были и совсем другие распоряжения. Именно они-то и делали задачу Левона Давыдовича невыносимо сложной. Роняя щукастый профиль в бумаги, начальник участка в десятый раз читал:

«Сохранить рабочую готовность участка, помешав уходу квалифицированных и кадровых...»

(Помешать их уходу, сбавя заработок!)

«...ни в какой мере не допустить паники на участке...»

(Здесь делал «гм» начканц, Захар Петрович, и помечал у себя в блокноте карандашом.)

«...иметь в виду, что по пересмотре и переработке проекта строительство должно пойти ударным порядком, для каковой цели совершенно необходимо держать, так сказать, рабочую силу «под парами».

Держать ее под парами! Александр Александрович представил себе артель Шибко. Держите ее под парами, уменьшив сдельщину! Холодным потом покрылся позвоночник Александра Александровича. Даже сосед, Алавердский завод, сманивал у них слесарей, повышая им категорию. При остром-то закавказском голоде на рабочего? Вот именно! Он тысячу раз согласен с Левоном Давыдовичем, что наше управление...

Крепкое словцо удержал начканц, крикнув в самое ухо Александра Александровича:

— Да не об этом сейчас!

Начальник участка действительно говорил не об этом. Едва сдерживая истерику, он вспоминал Бельгию.

Забыв про скупость и меркантильность своих хозяев, плативших гроши рабочим, забыв про стачки, которыми отвечали доведенные до отчаяния горняки, забыв про собственное зависимое и унизительное положение на службе у акционерной фирмы, где его оскорбил как-то начальник, толстый и грубый нахал, задев национальное чувство Левона Давыдовича,— отчего, собственно, и вернулся он к себе на родину,— Левон Давыдович видел сейчас прошлое в розовом свете. Он вспоминал те щедрые тысячи, какие бросали, не жалея, капиталисты на разведку. Тысячи тратились на буровые! К проекту приступали, изучив природные данные до ниточки! Почти лаял Левон Давыдович, выкрикивая об этом, как обиженная породистая гончая, которую послали стеречь гусей.

Один начканц упорно переводил — и в этом была его всегдашняя роль — совещание на практические рельсы.

— Я так понимаю,— говорил начканц, для видимости

заглядывая в блокнот,— одним ударом двух зайцев. Под сокращение мы подведем, Левон Давыдович, неспокойных личностей.

По его мнению, в панике на участке были повинны неспокойные личности.

Разглаживая пятерней кудреватые с проседью волосы, начканц читал список:

— ...Мастер Лайтис,— благо с буровыми теперича на аминь идет.

...Бурильщик Заргарян, у него жилплощади нет, дак не строить же!

...Самсонов Михаил,— и всю артель сезонников за ненадобностью. Эх, хорошо бы и Аристида зараз.

Но Аристида Самсонова отстоял Александр Александрович. Чернявый мог навредить.

Между тем, пока под знаком конспирации шло это совещание на квартире начальника участка, в клубе было назначено бюро.

Члены бюро, счетом восемь человек, собрались вокруг стола, крытого красной суконкой. Председательствовал секретарь ячейки. На повестке стояло три вопроса: о положении на участке (докладчик секретарь); об агитационной работе среди сезонников (Степанос); о нарушении дисциплины (Агабек). Но основным был — и все члены бюро знали это — доклад секретаря.

Только что побывавший в столице республики и задержавшийся на день в уездном центре, секретарь ячейки был в курсе всех новостей. До бюро он никому ни о чем не рассказывал. И сейчас семь пар глаз было устремлено на него с тревогой и напряжением.

Те, кто близко знал каждого из членов бюро, их человеческие слабости и недостатки,— меньше всего признали бы за ними какие-нибудь преимущества, умственные или духовные; наоборот, как это бывает у близких людей или родственников по крови, они сказали бы с величайшим скептицизмом, с глубокой уверенностью: «Авак? Наш Авак, сын Амбарцума?» Или: «Завэн? Завэн Никогосов? Да какие они руководители? Завэн на три копейки продаст, на две обвесит, Авак, когда страшный сон видит или бандита в горах ловит, про себя еще «Хайр-мэр» («Отче наш») читает... Вот так руководители!» Быть может, говорившие это на какую-то долю истины и были правы, но они видели и понимали в близком только то, что лежало к ним ближе.

Завэн Никогосов, человек городской, со стажем торгового служащего, заведовал на участке кооперативом. Это

он произнес речь на суде, названную Марджаной «возмутительной»; стоя у себя за прилавком, он, конечно, никого не обвешивал, но начальство уважить умел. И явные его слабости — любовь к рисовке, к популярности — закрывали для близких другие немаловажные, а на участке попросту незаменимые качества — практическую, бескорыстную готовность всегда, при всех обстоятельствах отдать свое время и силы на потребу общества, на выполнение партийного поручения. Он нес множество «нагрузок» и со всеми справлялся. Кто на участке сколотил драмкружок, раздобыл и привез из столицы сборничек пьес, разучил и торжественно поставил спектакль? Никогосов. Кто ведает шахматным кружком? Никогосов. Кому поручено организовать здесь филиал общества охотников? Никогосову. Кто ведает членством в МОПР и Осоавиахим, собирает взносы, проводит собрания, делает по поручению ячейки доклады? Опять же Никогосов. И сейчас, придя на бюро в распахнутом пиджачке, запыхавшийся, только что принимавший от кладовщика муку, он усаживается на место, а лунное лицо его теряет свою постоянную улыбчивость и становится деловым и напряженным.

Начальник милиции Авак прибыл раньше него. Он сидит прямо, как аршин проглотил, затянутый в поясе ремнем,— и очень молодые, как два чернослива, глаза его глядят из-под сросшихся бровей преданно на секретаря ячейки. Авак в ранней юности, может, еще и читал по привычке свое «Хайр-мэр», но сейчас он ходит в кружок политграмоты, руководимый секретарем, а по воскресеньям и сам проводит беседы со стариками сезонниками.

Вот почему, задержавшись глазами на этих двух самых слабых членах бюро и мельком обежав других, бесспорных в своем качестве,— Фокина, пришедшего вместе со Степаносом, Косаренко, Ама́ из дизельной и, наконец, Агабека,— мысленно повторяет секретарь то, что сказал только недавно в уездном центре на вопрос, «справишься ли?» — «с таким бюро справлюсь, можете положиться».

— Товарищи, на нас возлагается очень большая ответственность,— негромко, но солидным своим баском начинает секретарь докладывать.

В его докладе есть все, о чем уже было говорено на совещании у Левона Давыдовича. О пересмотре проекта, об ошибке геологической экспертизы, о приказе управления, о предстоящем сокращении штатов, о том, чтобы не допустить паники на участке,— но, повторяясь сызнова, все эти вопросы встают перед членами бюро в новом освещении.

Секретарь подковал себя перед собранием, как он это делал всегда. Пересмотрел газетные вырезки, разложенные по конвертам; аккуратно развернул томики Ленина, разбухшие от бесчисленных закладок, которыми отмечал секретарь нужные для него места; перечитал отчетный доклад прошедшего партийного съезда. И ясная, прочная уверенность в том, что́ надо сказать, что́ надо — с такою же ясной и прочной уверенностью — сделать своим и для этих семи человек, самых сознательных членов партии на участке, а через них и для всей партийной организации,— наполнила душу секретаря.

— Пути назад нет и не будет. Строительство не сократится, не будет свернуто,— наоборот, огромные стройки начнутся по всей стране. Это единственный путь, принятый нашей партией. Трудности сами собой понятны — заграница не дает займов, кулак прячет хлеб, часть инженеров вредит — продалась бывшим хозяевам, Англия и Франция готовят новую интервенцию — мало мы им наклали, еще хотят,— обострилась классовая борьба внутри нашей страны. Кулацкие подголоски смыкаются с троцкистами, предают наше дело. Классовый враг всюда зашевелился, есть он и у нас на участке. Он захочет использовать момент, чтобы ослабить, разъединить партийные силы. Требуется большая сознательность, большая бдительность с нашей стороны. Мы на большом посту поставлены партией: стройка Мизингэса — это одна из крепостей социализма, она будет питать тяжелую индустрию республики, она рабочий класс воспитывает, крестьянина воспитывает. Каждый из нас должен сейчас вдвойне, втройне напрячь свои силы...

Секретарь говорил долго и сам остановил себя. Неясное чувство несовершенства, недостаточности речи своей поднялось в нем, передалось, может быть, от некоторого падения напряжения в глазах Авака, устремленных на него, и оттого, что Фокин и Степанос опустили вовсе глаза, а местком явно думает о чем-то своем. Секретарь знал свой недостаток: он хорошо подготовился в общей части, но он еще мало знаком с участком и с людьми на участке.

— Что же конкретное ты предлагаешь? — спросил неожиданно Фокин своим резким и молодым голосом, воспользовавшись минутною паузой в докладе.

— У начальника участка сейчас черные списки составляют — кого снять с работы. Можешь быть уверен, лучших людей снимут,— вставил Агабек.

— Сам видел, что творилось на общем собрании,—

вмешался и Косаренко.— Что ты будешь делать, если с тобой не считаются, с бюро не считаются, производственные совещания объявили склокой, на профсоюз наплевательски смотрят; Агабека, когда он интересы рабочих защищает, вслух кличут «вредным»? Что ты против всего этого выставишь?

— Товарищи,— подумав, ответил секретарь,— общее собрание мы провели, и результаты оно дало: рабочие высказались. Ряд замечаний мы записали, будем следить, чтоб их учли, провели в жизнь. Производственные совещания мы созывать будем, и никто нам в этом не помешает. Атмосфера не сразу меняется, она создается, мы ее создадим собственной работой. Многие отрицательные факты у нас оттого, что стройка еще не на полный ход заработала, она, в сущности, еще на консервации. Против черных списков ты, Агабек, можешь выступить, без тебя все равно ни одного увольнения не оформят. А режим экономии мы соблюсти обязаны. Мы обязаны помогать управлению в строительстве. В этом и трудность, что надо и помогать и быть начеку. Я понимаю, что не конкретен так, как вам хочется. Но вы знаете и людей и положение больше моего. Я считаю, что если гореть стройкой, понимать ее важность, болеть за нее — можно найти общий язык.

— То классовая борьба, то общий язык,— иронически пробормотал Косаренко.

Но Степанос понял секретаря. Он взял слово:

— Арсен, на мой взгляд, прав: кто нам запретит работать? А своею работой мы укрепляем партийную линию на участке. Критику снизу зажать никто не имеет право. Однако рабочая критика одно дело, а кулацкая критика другое дело. Разбираться надо. Среди части сезонников распространяется кулацкая критика. Какова ее цель? Опорочить стройку в глазах населения, отпугнуть от стройки. Идет она от темноты, через стариков, внушается бедняцкому слою. Но кем внушается? Суеверие суеверием, а кто-то суеверие это раздувает. Необходимо резко тут вмешаться, повести энергичную работу, Авак, тебе со стариками следует обстоятельнейше поговорить, откуда такое идет. Слышали про гору Кошку? Гора Кошка, видите ли, колдует, она не даст построить плотину! Тут прямой враг гадит! — И Степанос, близко поднеся к глазам мелко исписанную бумажку, стал перечислять разговоры, слышанные на участке, и меры, какие надо принять.— В стенной газете никто не пишет,— пожаловался он, заканчивая чтение.

— Прямое дело Амо,— заметил Фокин, кивнув на ме-

ханика из дизельной,— изощряй, Амо, свое острословие у Степаноса.

— И надо переменить название газеты, товарищ Степанос,— ведь это Эчмиадзином пахнет, «Луйс»,— неужели другого не выдумаешь?

Амо, он же и протоколист собрания, старательно записывал, наклонив к плечу голову, все, что говорилось по второму вопросу. Тем временем Агабек, выйдя из клуба под звездное ночное небо, негромко позвал:

— Вартан! Гурген!

И когда две темные фигуры, отделясь от стены, подошли к крыльцу, молча сделал короткий жест рукой, говоривший, что время для них пришло идти на собрание. Третий вопрос — о нарушении дисциплины — касался обоих этих рабочих, вызванных Агабеком на бюро.

Вартан и Гурген, два партийца, были — и с этим решительно все согласились бы — две неспокойнейших личности на участке. Гурген, огромный парень со сломанным носом, рябой, состоял в кузнечном цеху. На свадьбах он напивался, а напившись, плакал о том, что вот сирота Гурген, отца-матери у Гургена нет, и если в эту минуту черт дергал шутника какого-нибудь хихикнуть или даже попросту, кашлянув, отворотиться, тяжелый, кровью налитый, бычий взгляд Гургена прицеплялся к несчастному и предвещал много неприятностей. Недаром Гурген был в клубе инструктором по физкультуре. Что до Вартана, всегдашнего закадыки Гургена, то Вартан был красавчик, поэт и рабкор. Это его заметка о скандальном происшествии с арматурой появилась в центральной газете. Это он соперничал с Володей-конторщиком по части сердечных дел. И, что более важно, два года уже Вартан готовил сценарий для кинематографа, показывая товарищам адресованное ему и на машинке выстуканное письмо. Работал Вартан в механической мастерской, и тут было слабое, или, как говорили в комсомоле, «узкое» место Вартана: спеша кончить дневную работу, Вартан делал не очень уж много и не очень охотно. Вечерами же, набирая сдельщину, он стоял у станка вовсе другим человеком: ни зевоты, ни почесывания, ни разговоров — хорошие, чистые, толковые вещи вырабатывал тот же Вартан посдельно. «Смотри, дойдет до тебя»,— говорили Вартану товарищи из дизельной.

Усевшись рядком за дальним краем стола, оба приятеля опустили головы. Не глядя на них, Агабек повел свою речь.

Факты, переполнившие терпение Агабека, были совсем

неприглядны — буйство и драка, учиненные в деревне Гургеном; брак нужной детали, запоротой в механической Вартаном.

— Говорили о борьбе с темнотой, с суеверием,— сердито сказал Агабек,— стариков ругаем. А молодые наши члены партии хороши? Всюду большевик в стране на первых постах, а у нас имя коммуниста позорят. Завтра начнем увольнять. Что ж, уволим в первую очередь. За пьянство и рвачество. С аттестатом.

Глаза Гургена налились кровью, Вартан щипал бахромку на рукаве. Они каялись утром у себя в цеху и в мастерской, каялись в месткоме перед Агабеком, договорились, как и чем искупят вину, и сейчас боялись, что Агабек уже все забыл и перерешил.

А председатель месткома, блестя зелеными глазами, отчитывал и отчитывал их, покуда кудрявый вихор на лбу у Вартана не взмок от пота.

Вартан держал за пазухой вчетверо сложенный листок — заявление на бюро. Оба друга работали над ним весь день, раз пять переписав его начисто. Вартан вызывал Гургена на производственное соревнование — работать без единого брака. На строительном участке это был первый вызов — первая ласточка движения, о котором здешние рабочие еще только в газетах читали,— и Агабек сразу понял огромное его значение для участка.

Далеко за полночь расходились члены бюро, довольные совещанием.

— Сумбурно, но, в обшем, хорошо поговорили, дошло,— так резюмировал его про себя секретарь, пробираясь по темному косогору домой.

Весело шли Вартан и Гурген, дорогой придумав еще одно дело — в прибавку к соревнованию. Они жили в одном бараке с двадцатью двумя холостыми рабочими. Ночная смена вставала, вечерняя укладывалась,— и оба друга тут же, радостно хохоча, объявили о своей затее. До утра они не могли заснуть от веселого возбужденья, представляя себе, что за рожа будет у старого Месропа, когда вместо восьмирукого дэва... И что за рожи будут у всех вообще на участке. И каждый чигдымец, чигдымец особенно, проезжающий наверху по шоссе,— непременно увидит красное пламя.

Вартан и Гурген задумали в первый же выходной забраться на гору Кошку, водрузить на вершине ее, считавшейся до сих пор неприступной, огромную красную звезду и, проведя туда электрические провода, зажечь на пяти ее концах яркие лампочки.

IV

В то же утро старик Месроп, обтянув над цинготной челюстью желтые птичьи губы, стоял возле кузницы, обеими ладонями опершись на пастушью палку, и с недоброй улыбкой смотрел, как кривой костоправ Павло́ орудует стальной пилкой в окровавленном лошадином бедре.

Под брюхо лошади, подпирая ей заднюю ногу, врезался ремень, и такой же обтягивает переднюю часть брюха. Оба браслета пришпилены наверху, на деревянной перекладине, и лошадь свисает в них, четко подогнув ногу, словно при скачке. Глаз у нее зашелся, круп мелко дрожит,— вся она, без крика и ржания передает острое ощущение боли, и мальчишка-конюх дует ей в ноздри, чтоб не обмерла лошадь.

Милиционер Авак, стоя тут же, рассказывает, как было дело: ехал он, значит, к мосту под горой Кошкой по новой дороге, а в темноте — не видно,— мячиком камень и прямо в кобылу; возьми он чуть влево — неизвестно, был ли бы еще цел сам Авак! В этих местах, чуть дождь или роса, обязательно камни прут, на честном слове держатся. Месяца не проходит без несчастного случая...

— Это как кого,— знающе сказал Месроп; желтая протабаченная слюна собралась у него в уголках рта,— как кого, а крестьян камень не обижает. Наш скот ничего, проходит.

В иное время не дал бы Авак спуску на Месропову контрреволюцию. Но сегодня не хотел и связываться. Он чуть не плакал, глядя на раненую кобылку, клонившую свой детский профиль с приподнятым, как бы курносым, носом набок,— так иной раз, замлев, усталый человек склоняет на ладонь щеку.

Рваная рана на крупе,— зашить ее можно было, но милиционер Авак знал, что останется хромота. Лошадь была со строительства, резвунья, из породы рысистых, хорошая лошадь.

— А чего-й там насчет проекта? Слух ходит, инженеры местом обшиблись? — совершеннейшим дурачком, но еще ехидней Месропа спросил костоправ.

И этот, ей-богу! Кормится, ест, пьет, квалификацию пропил, а туда же, за выжившим из ума дедкой... Авак вспомнил, как они вчера на бюро крыли подобных личностей, и, разгорячась, даже про лошадь забыв, сунулся с готовой речью на ехидного человека. Честное красное лицо Авака так и горело потребностью высказаться, и быть бы

«поверженной линии»,— как про себя определял Авак,— быть бы поверженной линии и поднятой и выпрямленной к чести местных партийных сил, если б в эту минуту не опустилась на плечо Авака серенькая тряпичная фильдекосовая рука и грозный голос начальника участка не крикнул пронзительно:

— В чем дело? Кто лошадь брал без наряда? Вы? Вы?

Начальник участка, разбуженный раньше чем следовало, стоял сейчас в небольшой группе лиц, которую милиционер в первую минуту не распознал от неожиданности. Начальник участка был простужен, полосатое кашне свисало у него с плеча, пальто было туго, по самый пояс, застегнуто. Он глядел яростными глазами на раненый круп. «Конечно, испортили, хорошую, дорогую кобылу испортили!» — причина достаточная для взрыва, хотя в эту минуту она — только предлог. Левон Давыдович был взбешен до крайности. Он был взбешен оттого, что от него требовали деликатности. Геолог — вот кто требовал деликатности. В этакую минуту — прорва дела, напряженнейшая ситуация, нервы — вó, дали бы человеку выспаться — был бы работоспособен, а тут извольте насильственно деликатничать, вставать чуть свет, идти к шуту лешему по сырости, якобы проверять экспертизу,— масло лить на уязвленное самолюбие («подумаешь, уязвленное самолюбие, вы мне покажите, у кого сейчас нет уязвленного самолюбия?!»)...

Руша весь свой гнев на безмолвного Авака, начальник участка совершенно забылся. Узкий ботинок его дергался, истоптывая землю, словно был он клыком рывшегося в земле кабана. Щучий нос, бледный до дурноты, устрашил даже Фокина. Отделившись от спутников, практикант Фокин подошел к Левону Давыдовичу и негромко сказал:

— Вы его зря. Он как начальник милиции имеет право взять лошадь.

— Ах, имеет право! Извините, забыл. Он имеет право взять лошадь, вы имеете право замечание делать начальнику участка. Кто еще имеет право? Скамья подсудимых — вот вы имеете на что право, калеча лошадь. Понимаете вы или не понимаете?

— Садист,— пробормотал Фокин.

Красный от оскорбленного самолюбия, начмилиции Авак напряженно глядел на концы сапог; круглые, выпученные глаза его были немы, как закатившийся взгляд кобылы, и с уходом начальника не прояснились. Даже цинготный старик попятился прочь от кузни, да так, идя

спиной, и вскинул два белых глаза на квадратную, ощерившую в странном оскале гигантские каменные усищи вершину горы Кошки.

Конечно, он это зря разругал милиционера, Левон Давыдович понимает и даже, забегая вперед событиям, видит, чего не видят ни Фокин, ни окружающие. «Я из него врага себе сделал, а вероятно, и делу врага,— думает Левон Давыдович, шагая в сторонке от прочих,— скажут зверь, маньяк. Ну и пусть скажут...»

— Простите, Иван Борисович, я несколько задержал вас.

Голос начальника участка звучит сейчас отменной, сердечной вежливостью. Глаза начальника участка смотрели на геолога подкупающе внимательно. Было трудно подумать, что именно геолог и вызвал вспышку. И сам геолог Иван Борисович, в отличном настроении, ублаготворенный, как бог некий, незримой человеческой жертвой,— оглядываясь вокруг на знакомые места и осуждая в душе излишнюю горячность начальника участка, про которого недаром, значит, поговаривают: бешеный человек,— менее всего считал себя причиной этой горячности. Их в маленькой экскурсии было четверо, и каждому из них, прежде чем тронуться в путь, геолог пощупал подмышки: не жмет ли. «Первое дело — не потеть, тогда не простудитесь. При ходьбе нельзя простудиться, если только вас не стесняет одежда»,— говорливо предупреждал геолог, испытывая необычайный прилив энергии.

Чем больше Левон Давыдович чувствовал необходимость быть деликатным, тем самоуверенней и забывчивей становился толстяк. Уже предстоящая прогулка была для него удовольствием, доставляемым не столько ему, сколько им. Старый дидакт проснулся в нем. Легкая бамбуковая тросточка то и дело взлетала, чертя быстрые дуги в пространстве, и геолог, брызгая сочною слюной, ворочая леденец во рту, говорил, приятно затрудняя речь, вкуснейшие вещи обо всем, мимо чего несли его ноги.

Легкий взлет палочки описал дугу и вокруг лошади, распятой на своей деревянной гильотине. Они стояли сейчас возле моста и, оборотившись, глядели вверх на кузню, где кривой Павло все еще ходил вокруг лошади. Левон Давыдович испытывал жестокую потребность вернуться и загладить чем-нибудь резкость. Лучше всего хлопнул бы он Авака по плечу и сказал по-армянски: «Плюнь, пустяки это».

Не в силах справиться с искушением, начальник участ-

ка с видом человека, нечто забывшего, вдруг пошел вверх по тропинке, сделав им знак обождать.

Тут именно и взлетела легкая тросточка геолога.

— Дети,— сказал он, пухло ворочая губами,— дети, рисуя лошадь, делают ее многоногой. Позвольте вам сказать, что геология целиком оправдывает детей. Знаете ли вы, что родоначальник лошади, фенакодус,— древнейший лошадиный скелет,— имеет вместо копыта пять длинных пальцев и каждый из пальцев похож на отдельную ножку? Возьмите рисунок ребенка — бегущую лошадь,— и вот вам фенакодус.

Только рыжий и слушал геолога, потому что четвертый спутник, Фокин, обеспокоенный уходом Левона Давыдовича, глядел ему вслед и думал свое.

— Десять ног — это начальная механика и человеческого ума, и машины, и организма. Лошадиные ноги отмирают совершенно так, как лишнее колесо велосипеда. Но приходит ли кому в голову сопоставить историю скелета с историей машины? — продолжал говорить Лазутин.

Рыжий не успел ответить. С горы уже спускался Левон Давыдович. И был он красен больше прежнего, и узкий ботинок его дрыгал и нервничал, отбивая пространство, как если б не две ноги были у Левона Давыдовича, а двадцать ножек фенакодуса.

Криво улыбаясь, подходил к ним Левон Давыдович, совершенно потерянный от того, что случилось: там, наверху, желая помириться с Аваком, он по странной случайности опять накричал на него, накричал острым, простуженным злым голосом, посылая зачем-то вниз, на станцию (хотел начальник участка дать отпуск Аваку), и никто не услышал в этом голосе бабьих слез о прощении, а, наоборот,— прозвучал голос придиркой и приказом.

Махнув рукой, не глядя в отупелое от обиды лицо милиционера, страдая невыносимо, начальник участка быстро сбежал с горки и пятипалым каким-то фенакодусом предстал перед спутниками.

Фокин, кое-что слышавший, опять повторил про себя: «Ну и садист же».

«Язва сибирская»,— сказал наверху Павло.

А рыжий, внимательно обежав взглядом растерянную фигуру начальника участка и щучьи глаза его, загнанные сейчас, словно головки гвоздей, глубоко внутрь, удивился безмолвно, до чего этот человек нервно издергался.

Будь продолжена в эту минуту история рудимента в ма-

шине и в организме, сказал бы, должно быть, рыжий, любитель всяческих аналогий: «А когда начнется процесс распада, организм и машина развинтятся и расхлябаются до последнего, тут надобны десятки вставных деталей, тут оживают, наверное, все рудименты, и обычное, нормальное действие архаизируется у человека и машины, вспять идет, нуждается в подпорочках извне...»

V

Мастер Лайтис, заложив руки за спину и поворотив свой нос, как острие корабля, в фарватер отошедшей группы людей, направил им вслед презрительную усмешку,— он сдерживал ее все время, покуда геолог копался в глине, лазил в шурф и бегал вокруг буровой номер два.

Он сдерживал ее, даже вырезывая ровный квадратик глины, словно фунтик масла, кладя его на чистую белую бумагу и подавая сверточек Ивану Борисовичу. Но сейчас, в присутствии Заргаряна, мастер Лайтис посмеивался, потому что ни на грош не уважал геологию.

В этом вопросе, сами того не зная, мастер, начальник участка и рабочие разделяли тайком одно и то же чувство, и это же чувство делили с ними сотни рабочих на других стройках, всюду, где убитые проекты — целиком или в части какой-нибудь — хоронились при помощи геологической экспертизы, вернее ошибки ее, вскрытой, как в медицине, уже на покойнике.

Котлованы, заброшенные на глубине десятков метров, тысячи, израсходованные на буровые, шурфы, залитые водой, остановленные постройки, миллионы, пущенные по ветру,— там упирались в гальку, здесь приняли за скалу огромнейший горный валун, занесенный с землей и песком в глубину речного ложа тысячелетним каким-нибудь ураганом,— все это были действительно происшествия, злорадно передававшиеся из уст в уста.

«На кой ее ляд»,— говорила усмешечка Лайтиса; и отошедший от буровой Левон Давыдович злобно думал о том же,— он педантически всходил сейчас по очень крутой тропинке на ту сторону каньона, вслед за прыгающим и без умолку болтающим геологом.

Подняв воротник к самому носу, чопорно, словно штопор из пробки, вскидывая колени зигзаг за зигзагом, Левон Давыдович думал о холеной земле Европы, где каждая пядь изучена, спланирована, занесена десятки и

сотни раз на всякие карты, где даже техники-изыскатели вымерли за ненадобностью, подобно ихтиозаврам. Ведь не анекдот, что для съемки в колониях англичане выписывали при царе техников из России...

«Проведут под руслом штольню — вот вам в два счета и узнали грунт! А геология для старых дев или воскресной школы»,— почти вслух пробормотал он и остановился, потому что передние остановились тоже.

Практикант Фокин, шедший рядом с геологом, один был, должно быть, другого мнения. Он нес бумажный пакетик с глиной. Его обветренное молодое лицо, веснушчатое, как у девочки, напряженное от интереса, всеми точками своими — выпуклым блеском глаз, сжатой вприкуску челюстью и надбровными холмиками — впитывало, казалось, ученую болтовню Ивана Борисовича как даровую учебу. В этом лице было честное уважение к науке,— так в ранней молодости честно уважают женщину.

— Они говорят,— задыхаясь немного от долгого подъема и забыв недавнюю ненависть к начальнику участка, сказал Фокин,— будто это самая глина и подтверждает ихнюю экспертизу. По-нашему, глина, а по-ихнему...

Как прошлый раз Александр Александрович, начальник участка брезгливо подавил свой рефлекс: «Вот с этакими мы строим!» Светлые, сияющие глаза Фокина глядели сейчас на глину, как тогда на волшебное «пи» в туннеле.

— Факт тот, что на этом нельзя ставить плотину,— сдерживаясь, красный от ветра и насморка, ответил начальник участка.

Геолог разговора не поддержал,— он уже снова шагал вверх, победоносно раздувая, как крылья, полы своей кожаной куртки. Легкая его тросточка вонзалась во встречные камни. Он бормотал, и каждое «о» тянуло в этой бормотке, словно вагонный состав, бесконечную вереницу «а», уподобляясь английскому «то-аст».

— Вопро-ас,— неслось сверху, сопровождаемое взлетом бамбуковой тросточки.

Фокин отстал немного,— он страдал от неразделенных мыслей. Только что им полученное знание не умалчивалось, не уминалось,— дождавшись рыжего, шедшего в одиночку, руки в карманы и наслаждавшегося природой, Фокин зашагал рядом.

— Здорово, а? Слышал ты? Эта самая глина — продукт туфа. Значит, все-таки верен был анализ, что там фельзитовые туфы.

Начальник участка повернул к нему голову.

— Уголь то же, что и алмаз, товарищ Фокин. Однако из этого не следует...

Но Фокина трудно было сбить. Фокин в эту минуту презирал начальника участка, как тот его. «А спросить бы,— думалось Фокину,— отчего сионский собор в Тифлисе пожелтел, или спросить, что́ есть туф,— хорош инженер-строитель, который ни черта не знает и знать не хочет про местный материал». Новичком, фанатиком узнанного, зажженный лазутинским пафосом, Фокин шел рядом с рыжим, просвещая на этот раз его теми же откровеньями, каких только что наслушался сам. В устах Фокина они были категоричны, они внушали легкое подозрение своей полной ясностью, и, быть может, Лазутин, услышь он сейчас фокинскую речь, смутился бы несколько, как повар, которого угостили его собственной стряпней.

— Туф, оказывается, замечательный материал! По туфу по одному можно кафедру открыть. Он с течением времени меняется, цвет меняет, консистенцию меняет, может от разных там агентов — воды, воздуха — превращаться в труху, глину, и если на этом месте мы нарвались на глину, значит, там туф был,— здорово, а? Иван Борисович говорит: произошла катастрофа, дислокация. Может, не надо было нам глубже копать? Может, и выдержало бы плотину?

«Иван Борисович в чем хотите уверит,— а вот почему он об этой катастрофе чуточку раньше, до отправки проекта, не обмолвился?» Впрочем, начальник участка не сказал этой фразы, он только подумал. Катастрофа так катастрофа! Пусть пропадает рабочий день в поисках катастрофы, и пусть они все станут Шерлоками Холмсами и докторами Ватсонами, ежели нет прямых директив. О, дикая, дичайшая, варварская манера строить.

— Послушайте, куда же в конце концов?!

Но геолог, взбежав на последнюю маленькую вершинку, высочайшую в этой местности, победно остановился.

Он был на потухшем вулкане Оган-даге, праотце здешних мест. Отсюда, если глядеть вниз, видать было все лорийское плато, прямое и странное в своей обрезанности, как куча сдвинутых вместе бильярдных столов. Невдалеке курилась сизым дымком неспокойная гора Ляльвар, стягивая к себе облака, словно магнит железные опилки. Горстью розовых шариков, в пяти-шести точках, насыпаны были тесные черепицы лорийских деревушек, разделенных черным провалом ущелий. Под

деревнями шла жизнь речных русел, шла жизнь квадратиков по берегам рек, фруктовых садов с выбеленными стволами и белым сырцом оград.

Еще ниже шла жизнь железнодорожного полотна, исчезавшего в черных дырках туннелей и дышавшего пенной полоской дыма по пройденному пути, как если б не поезд, а волны морские окатывали полотно.

Любитель в бинокль мог бы видеть мельчайшие подробности лорийского пейзажа, так не похожего на другой армянский пейзаж, араратский: если там в поле зрения набегали бесчисленные арыки и шлюзы, эти замочки на рту самого болтливого существа в мире — проточной воды; если там любовались вы остатком дуги или каменного акведука, древнейшим мостом, и все говорило о связи, распределении, высокой общественной роли воды, то здесь, на лорийском плато, вода представала губителем, червем, чье извивающееся длинное тело разрезывало и проедало земные массивы, отделяя людей друг от друга и швыряя их в пустынное одиночество.

Вместо мостов, символов связи, в поле бинокля входили монастыри. Каждая деревня имела свой монастырь, защитного цвета скалы. Вот он встает, скупой в красоте своей — конус, узкие впадины ниш, неровные редкие окна, неожиданно посаженные в насмешку над симметрией то в виде ромашки, то крестиком, то меандрической звездой; и душа развалины, веточка вереска, тихо раскачивается над камнем, седая от солнца и сухой пыли. Пыльной казалась и память здесь, меж красноватых могильников, выдающих окись железа,— запахом бездонного колодца времени, где глубина убивает звук, пахла память в этих местах, и только пастух нарушал тишину картины неожиданным появлением из-за развалины. За пастухом катились бараны, и львиный оскал собаки, как голова прокаженного, вынырнул... впрочем, вряд ли бы он мог вынырнуть через всю эту бездну простора в поле бинокля!

Геолог жевал губами,— он только что приготовился найти катастрофу. По правде, он нес ее с собой всю дорогу, как истые теоретики, потому что нашел готовой уже внизу, вместе с кусочком глины.

Но тут вмешались два обстоятельства, совсем разных и даже не связанных вместе. Первым вмешался ветер.

Над тишиной и неподвижностью воздуха, в которой они шли сюда, предвестником солнца пробежала дрожь.

В торопливом опархиванье ветра было почти телесное касанье, словно ладонь на щеке. Травы, камни, песок, голоса метнулись и потеплели от переданного движения,— никакой дирижер не смог бы подать в оркестре это кратчайшее мгновение перехода от тишины к солнцу. И каждый в этот кратчайший миг невольно потянулся к фуражке, чтоб снять ее.

Второе же обстоятельство пришло за первым, подготовленное секундой молчанья. Они стояли сейчас над необъятным простором, где зеленым паром курились лорийские каньоны; на склоне прямо перед ними вилась пыльная, красная, выпуклая, убитая сотней ступней дорога.

Сколько ни гляди на нее, видеть можно было лишь одно, обычное — как из верхней деревни шли дети и женщины с деревянными тяжелыми кувшинами за водой к роднику. Чувяки отскакивали от выпуклой глади, голые пятна шуршали по ней, подолы мели красную пыль, женщины были румяны тем кирпичным деревенским румянцем, что нахлестан ветром и снегом; их опавшие в веках глаза и опавшие вокруг десен губы говорили о непомерном труде,— и вот все, что виднелось там, кроме разве длинной вереницы спин, когда понесут они полные кувшины в гору.

Если сравнить с выразительным видом, куда раньше указывал геолог палочкой, упорно твердя о стране вулканов, об истечении Оган-дага, о позднейшем приходе базальтовой лавы, о катастрофе, оставившей здесь разбитый, как студень, кусок массива («вот эти грабены»,— собирался докончить геолог и последним отпрыском катастрофы указать там, внизу, осколочек порфирита — маленькую отсюда гору Кошку),— если сравнить все эти подробности с тем, на что глядели сейчас пристально все четверо спутников, то картина была так проста и обычна.

И, может быть, именно поэтому Фокин не выдержал.

— Послушайте!— сказал он геологу неожиданно другим тоном, совсем непохожим на прежний, ученический.— Вон наверху деревня. Внизу, в двух километрах, вода. За водой люди ходят четыре километра, вниз и вверх.

— Ну и что же?— несколько удивленно спросил геолог.

— Я хотел бы знать, может ли помочь геология? Вот вы сказали — страна мелких вулканов. Так неужели страну мелких вулканов нельзя изучить так, чтобы знать,

где, в каких резервуарах, по каким трещинам стекает вода, где она собирается, чтоб расположить жилье у воды или воду поднять к жилью? Страшно смотреть, сколько люди драгоценного труда зря ухлопывают. Мученицы эти женщины. Вон мне рассказывали про Чиатуры, что там упала вода при разработке и все селение обезводилось; разве это не дело геологии — помочь воду найти?

Тут и рыжий вступил в разговор, сочувственно блеснув стеклами на разгорячившегося Фокина.

— Вы раскапываете пласты, находите окаменелости, возитесь с ними, определяете, классифицируете,— обратился он к геологу,— но современные живые пласты, населенные живыми людьми,— разве нельзя мыслить их вместе с землей, воспринимать в целом? Мне думается, пора геологии, подобно истории, повернуться лицом вперед. Иначе мы не сумеем планировать. Это значит, и ей придется в некотором роде социологизироваться, включить в понятие земли еще маленькую добавку: земля как населенный пункт, населенный живым обществом, а не окаменелостями. Согласны?

— И во всяком случае...— простуженным голосом вмешался вдруг Левон Давыдович, заражаясь открытым нападением на геолога, как непроизвольно взлаивает собака на другой лай собачий из подворотни.

Он сидел сейчас на нежном голубоватом куске кружевного кварца, чья пустая сердцевинка полна была крупных кристалликов горного хрусталя, и глядел на весь этот солнцем залитый, недопустимый мажор встающего весеннего дня, забывая о навязанной ему деликатности.

— Во всяком-то случае, ведь можно ж было раньше сказать, что туфы там выперты над аллювием или чем хотите,— раньше, до отправки эскизного проекта в центр!

Глава десятая

ПРОЕКТ МИЗИНГЭСА

I

Ранний зной в городе Масиса — как и боялись садоводы — сменился неожиданным снегопадом.

Погибая, в лохмотьях снега стояли тысячи садовых деревьев,— фарфор лепестков, розовое и белое пламя персиков и абрикосов боролись со снежным пухом и уми-

рали под ним, а солнце топило снег под ногами прохожих и топтало его, как саранчу. В этой ранней весенней вылазке и в том, как зима нашлепала забежавшую вперед, раньше времени, весну, было бы чистое наслаждение, если б не мысль о причиненной ею беде: под снегом гибли не только сады, но и незащищенный, едва народившийся овечий и козий приплод.

К лихорадке прошедшего снегопада, нахлеставшего людям щеки, прибавилось еще нечто, добавившее оживленья и блеска глазам, встревоженности и взволнованности голосом; и особенно оживились те, кого знали в городе как шептунов или «беспроволочный телеграф». Из конца в конец города они передавали весть о том, что намечаются перемены. Шепотом называли того, кто должен уйти,— и даже знали, кем заменят его. Это было тем удивительней, что и уходивший и заменявший его только вчера приехали вечерним поездом из столицы Закавказской федерации, приехали в одном вагоне и с вокзала до города — в одной машине.

Но если об этой большой перемене ходили только слухи, то снятие товарища Манука По́крикова, заведовавшего «Отделом водного хозяйства» и одновременно начальника Мизингэса, с обеих этих должностей и перевод его на тыловой пост стало уже фактом. Событие это согнало со стульев служащих и остановило жизнь учреждения, как останавливается внезапно жизнь улицы под дождем: опустели столы, молчали клавиатуры ундервудов, надрывается от плача телефон, и к нему никто не подходит,— а зато в комнате зама собрались все, кроме зама (зам вызван свыше), и обсуждают свежие новости, гадая, почему, отчего и как дальше будет.

Нельзя было бы придумать более неподходящего времени для частного визита в отдел, но учительница Ануш Малхазян, как и все люди с сильной волей, всегда нарывалась на «неподходящее время» и научилась преодолевать его. Наследив мокрыми пятнами по лестнице, она отерла калоши о половичок в коридоре. Ей непременно нужно было собрать сведения насчет гидростроя и договориться о школьной туда экскурсии. И она твердо вступила в полупустую канцелярию.

— Вы обождите, товарищ, сейчас не до того, или вам лучше пройти этажом ниже, в управление строительства, там тоже могут дать все нужные сведения,— ответил ей уже на ходу взволнованный служащий, про-

бежав мимо нее в соседнюю комнату, на двери которой красовалась надпись «Зам. зав. отдела водного хозяйства».

Ануш Малхазян согласна была ждать сколько угодно, сидя или стоя,— раз люди заняты. Но учительница, обдумавшая свой визит в учреждение за неделю до этого, никак не была расположена уступить и уйти. Медленно сняв в углу калоши, она отряхнула большую плюшевую облезлую муфту и положила ее на стул. Потом размотала шарфик с шеи и вместе со свернутыми перчатками тоже положила на стул. Самой ей сидеть не хотелось, и, чтобы разрядить возбуждение, она принялась ходить из конца в конец пустой комнаты, разглядывая, что висит по стенам и стоит за стеклом в шкафу.

Она пришла сюда обобщить и собрать в систему свои материалы по водному хозяйству да заодно уж узнать и про «электричество», потому что давно обещанный ребятам «урок про воду» комом стоял у нее поперек горла и лихорадил ее, покуда не придет минута отдачи. А Малхазян по опыту знала, что минута отдачи — особенная минута — требует полноты знанья, той окончательной, последней нагрузки, какой у нее, чувствует она, нет еще, самую малость нет. Разгуливая по комнате, она нетерпеливо разглядывала все, что тут находилось.

В этой общей канцелярии неизвестный чиновник из плеяды «первослужащих», когда новизна учреждения еще охотит людей, словно молодость до нарядов, к приукрашениям, расстановке и уборке, развесил вдоль стен все полагающиеся плакаты, диаграммы и графики, снабдив их каллиграфическими надписями во всем позабытом уже искусстве «чистописанья».

Большая розово-зеленая карта Армении с черной сетью каналов висела на одной стене. К ней прежде всего и подошла Ануш Малхазян.

Своеобразная древняя культура была в этой карте. Она противоречила сборному виду канцелярии и ее наивной деловитости. Чувствовалось, что экономистом, плановиком, правителем, статистиком народ стал недавно и не приобрел еще навыков,— об этом рассказывали детская несложность диаграмм и родоначалие цифр, еще очень недавнее,— цифры вели свое происхождение с 1920 года, года рождения молодой советской республики. Но родоначалие каналов — черненьких черточек, бесчисленными штрихами изборождивших карту,— было несравненно почтеннее и отдаленней.

Иные датировались временами персидского владычества. Иные уходили еще дальше, в незапамятные времена. Пунктиром шли каналы древние, засыпанные и заброшенные: от них осталась местами каменная кладка, намек на древнейший шлюз, высокое искусство трассы, известное в старину. Зубчатой линией были помечены каналы, еще не заброшенные, которыми население до сих пор пользуется. Двойной колеей лежали каналы новые, созданные революцией, и своего рода пра-правнуками нарождались двухцветные линии,— это были запроектированные каналы, которым предстояло сказать свое слово в будущем.

Между сетью линий вставали особым треугольным знаком водокачки и прочие хитроумные сооруженья, подававшие воду путем электроэнергии снизу вверх. Словом, чем больше глядеть на эту карту, тем виднее было, как изучена здесь, в этой маленькой стране, вода и какая строительная культура связана с ней, во всей неосознанности ее для населения, передававшего из поколенья в поколенье искусный опыт водопользования, подобный строительному опыту бобра.

«До чего все-таки своеобразна республика наша,— вздохнула она, оторвавшись наконец от карты.— Египет — не Египет, Голландия — не Голландия, а так, смесь огня и воды, и не забыть, кстати, разницу...»

Здесь учительница полезла в муфту и достала большой, внушительный блокнот с заткнутым в него карандашом. Надлежало отметить для детей разницу, дать им пережить вот это раздвоенье физического тела страны — на север и юг.

Разница между севером и югом была огромная, и еще не нащупала учительница, как сказывалась она, в какой связи была с хозяйством. Если глядеть на карту, север лежал густой зеленой полосой, покрытой штрихами гор. На севере было много лесов, много возвышенностей и рек. На севере глаз не разыскивал меж густотой речных и железнодорожных отметок никаких признаков канала и искусственного орошения. Но под зеленым севером на карте лежал розовый юг — пустынная плоскость араратской долины и Котайка, где каждая пядь земли пересечена каналом или арыком.

Не успела она условным знаком для памяти поставить в блокноте пометку, как в канцелярию вступил еще один, по внешнему виду такой же несвоевременный посетитель.

Вошедший был уже десять дней в городе Масиса и пригляделся каждому беспризорнику, словно первомайское карнавальное чучело,— это был член какого-то заграничного армянского общества, цель которого по всем правилам и вкусам уже забытой нами буржуазной филантропии было: *дать деньги*. Но, разумеется, не просто дать деньги... Соответственно своему заграничному званию, прибывший напоминал в городе Масиса приемами, поступью, палочкой с монограммой, бриллиантом в галстуке, нафабренной горсткой усов, сжатой под самым носом, шиком пиджачных отворотов и белым взмахом искусственной челюсти — актера, только что, в чем был он по ходу пьесы, неизвестно для какой надобности сошедшего со сцены и пустившегося в настоящую жизнь, не жалеючи казенной спецодежды.

Там, на сцене, все это было сущей реальностью: тугой крахмал манишки, выпученной на груди, как рыбье брюхо, и проткнутой большим солитером — запонкой; тугой голос, выходивший несколько с запасцем, будя мысль о заложенном носе или плохо отхаркнутой мокроте; тугая поступь во всем величии заграничного лака и резиновой подошвы. Всем этим там жили люди, и человек, приехавший дать деньги, был «цвет интеллигенции», реальная личность, внушившая доверие капиталу. Через него, через эту манишку и заложенный нос, протягивал капитал деньги советской республике.

Но, приехав в советскую республику, достойный человек почувствовал вдруг бутафорию своих атрибутов. Он ходил по улицам, подкидывая набалдашником палки совсем как-то иначе, скромнее, нежели делал это у себя дома, а мальчишки все-таки улюлюкали, и не было знатока, способного отличить от стекляшки актера настоящий, чистой воды бриллиантовый солитер.

Человек, приехавший дать деньги, вошел сюда вместе с обязательным мосье Влипьяном. Вот уже десять дней, как он ходит по учреждениям и наркоматам, присматриваясь, куда эффектнее применить благотворительность.

Весь город Масиса с его беженцами, беспризорниками, жестоким жилищным кризисом, домами, подпертыми снаружи по ветхому фасаду балками от нежелательного разрушения; больницами, где койки, как начинка из пирога, лезли, не помещаясь, из переполненных палат; нескончаемым топотом очереди, гуськом еще с ночи становившейся у водопроводного крана на ули-

це, чтобы собрать к утру драгоценное ведро влаги,— криком как будто кричал о помощи. А если выбраться вон из города, там стонала земля о дорогах, там археолог разводил руками над дивными камнями развалин,— охране их по бюджету текущего года ассигновывались поистине «крохи»; там посевы требовали тоже охраны — градобитной пушки, да мало ли что было там! Откашливаясь и шевеля в крахмале воротника внушительным «адамовым яблоком», посланец капитала чувствовал себя мухой в меду — так много вокруг деятельности.

Но только один мосье Влипьян знал досадную подробность, еще не сообщенную человеку в манишке. Мосье Влипьян страдальчески переживал ее. От принятия миллиона здесь... воздерживались! Он остановил сейчас друга-приятеля, быстро переходившего канцелярию, чтобы войти в заветную дверь к заму, и об руку втиснулся с ним туда же. Комната была в табачном дыму. Говорившие плавали в этом дыму, раскрывая рты, как рупоры громковещателей,— они пересуживали ведомственную новость.

— Да ты понимаешь?— судорожно шептал мосье Влипьян своему приятелю, пока тот еще не вырвался.— Он нам деньги дает, миллион валютой дает, и условие пустяки, ну, так, ерунда какая-то: поставить на мраморной доске, что имени такого-то... И нет же, уперлись наши, а человек ходит, ищет, куда миллион сунуть. Сделай милость, расскажи ты ему о каналах, он каналами интересуется!

— Некогда,— отрезал приятель,— иди вниз, на строительство, хотя там тоже некогда.

II

Новость, снявшая людей со стульев в обоих этажах здания — наверху, где был водный отдел, и внизу, в управлении Мизингэса,— была только на первый взгляд обычная для них, ведомственная новость. Вместе с их собственным начальником (они это знали) уходило и лицо официальное. Точнее, начальник их уходил вместе с официальным лицом. А это значило, что установившиеся привычно удобные отношения для одних людей и тяжело напряженные для других резко прерываются. С уходом официального лица словно гигантский подъемный мост разводился над республикой, пропуская заждавшиеся корабли. Разводясь и повиснув в воздухе,

мост задерживал справа и слева потоки людей, повозок и мотоциклетиков, добивавшихся перехода со стороны на сторону в налаженной житейской спешке. А внизу, как заждавшиеся корабли, торопились пройти папки, лежавшие под сукном; назначения, сорванные зря; дела, задвинутые в тыл; решения, запутанные сознательно. Множество дел и учреждений оказывались задетыми в той или иной степени уходом официального лица.

Недовольные — из тех, кто хорошо «сработался» с уходящим, то есть нащупал слабые его стороны и под сенью их комфортабельно отдался собственным слабостям,— уверяли под шумок, что теперь начнется истинный хаос. Довольные открыто отдавались движению свежего воздуха, чувствуя, что наконец-то начнется размах в работе. Ожили коммунальные отделы горсовета, где с некоторых пор искусственно тормозилось принятие решений. И, словно лишний раз подтвёрждая древнюю метафору человечества, громко возопиял камень.

Собственно, это событие — открытая дискуссия о камне — готовилось уже давно. Камень в городе Масиса был свой, традиционный, крепко связанный с прошлым, с матерыми подрядчиками, с потной египетской работой каменотеса, трудившегося над ним в одиночку и с глазу на глаз,— туфовый рыжий камень, тут же неподалеку добываемый из карьера. Из этого камня воздвигались испокон веку дома, по дедовским правилам, с деревянными верандами во двор и однообразием фасадов снаружи.

Но под разведенным мостом уже начали плыть первые воинственные натиски бетона,— сперва в мальчишеских и срывающихся голосах молодежи, требовавшей «идти в ногу», потом в бурном нашествии новых элементов стиля,— казалось, в строительстве один угасающий древний род сменяется новым, нарождающимся. На эстрадах клубов, в табачном дыму собраний, перед сотнями возбужденной молодежи, изумляя город Масиса невиданным разгаром страстей, уже не раз кричал и жестикулировал художник Аршак Гнуни.

— К черту камень!— орал он, несясь с эстрады вниз бледным лицом в ореоле черных с проседью волос и руками, десятерившимися от жестикуляций.— Я утверждаю — камень дала нашему жилью церковь! Теперь фабрика, завод, промышленность дают нам бетон. Всюду, где идет промышленное строительство, там и новый стройматериал. Почему мы должны отставать? К черту камень, дорогу бетону!

Его поддерживали молодые архитекторы, увлеченные по фотографиям кубиками домов, строящихся на Западе, и мечтавшие о Корбюзье и Гроппиусе.

Вооружившись литературой и поблескивая в сторону зала воинственными улыбками, они всходили на эстраду — драться за новый стиль. В первом ряду сидел и накручивал ус полноватый мужчина в пенсне, товарищ из Наркомпроса. Он был благожелателен. Он очень смутно разбирался в архитектурных стилях.

Серебристо-седой архитектор, знатный человек в республике, сухо отвечал молодежи. Он с тонкой иронией говорил о дорогостоящем бетоне в стране дешевого строительного камня,— и это был довод экономический. Хрустнув подагрически тонкими пальцами, архитектор поднял руку, призывая аудиторию слушать без выкриков. Он указал на буржуазность особнячков Корбюзье, их связанность с безличным и безнациональным характером западного империализма,— никакой культурной традиции, отказ от народного наследства,— к лицу ли нам подражание? И это был довод идеологический. Он насмешливо улыбнулся в сторону Аршака Гнуни.

— Откуда вы взяли, где вы прочитали, что церковь дала нам туф как строительный материал? Раньше церкви был мост, был родник, было древнее винохранилище, были дворцы, были целые города из камня, хотя бы Ани,— да и, наконец, что же худого, если мы горды нашим великим национальным зодчеством средневековья и бережно сохраняем мастерство старой кладки камня? А цементный раствор, на котором стоят тысячу лет церковные плиты из туфа,— ведь он праотец вашего бетона, и ему больше тысячи лет!

И это был довод профессиональный.

Но молодежь должна была переболеть корью, а старый архитектор — увидеть первую неуклюжую кубическую постройку в городе — дань времени,— прежде чем слова эти ожили для нового поколения.

Художник Аршак Гнуни возмущенно дергался на своем стуле, слушая их. А поглядеть в зал — что только было в зале на этом невиннейшем диспуте об архитектурном стиле, устроенном обществом помощи беспризорным! На знаменитом Вормском соборе, где отрекался Лютер, или же в историческом зале jeu de paume — только там, может быть, нашли бы, порывшись в пыльных полотнах истории, этот судорожный трепет лицевых мускулов, зажженную силу глаз, магнетизировавших ора-

тора, хрустенье сжатых кулаков, хрипоту от волненья, топот ног — страсть сотен молодых жизней, еще недавно мирно и сонно сновавших взад и вперед, начистя сапоги и пригладя волосы, по главной улице города Масиса. А сейчас, впивая всем существом происходящее, они судорогой реплик твердили ораторам, что спор протекает глубоко под спудом, глубже сказанного, острее названий. Страстно хотелось спорить,— свежий ветер в стране предвещал большие работы.

Бетон протянул свои щупальца и в управление Мизингэса, куда сейчас, ничего не добившись наверху, спускались втроем учительница, человек в манишке и мосье Влипьян. На стройке уже давно шли работы с бетоном, а сейчас из центра приехал инженер организовать полевую лабораторию по бетону. Он тоже попал не вовремя. Он бродил из комнаты в комнату, не видя нужного человека, потому что в управлении происходил кавардак еще больший, чем в отделе водного хозяйства.

Здесь ни по стенам, ни вдоль стен никаких традиций не чувствовалось. Учреждение было молодо и откровенно пусто,— в новеньких комнатах новенькие столы, в ожидании новых служащих, были голы, словно земля под паром. Ни стопочки бумаг, ни обкусанной ручки еще не взошло над чистой суконкой, ни даже кляксы. Впрочем, на содержательного человека и тут была пища.

Учительница Ануш Малхазян, покуда шли они рядами пустынных комнат, заглядывая во все двери, внимательно, как лозунги, запомнила вывески: «Гидротехнический отдел», «Электромеханический», «Рационализации», «Снабжения», «Линий передачи», «Исследовательский», «Секретный»,— при желании можно было представить себе жизнь учреждения по этим вывескам, как представляют люди с воображением роман или фильм по названиям глав.

Начальник над этой армией призраков, товарищ Манук Покриков, заканчивал в своем кабинете разговор с замом, обращаясь преимущественно к завхозу.

Как и все, кто в городе Масиса уходил на более высокий, но тыловой пост, товарищ Манук Покриков испытывал некоторое стеснение сердца перед завхозом и несносную потребность услышать от него лишний раз преданные и привычные речи, которых — опять же как и тысячи других завхозов в подобные минуты — стоявший в дверях усатый человек упорно сейчас не говорил.

Завхоз непривычно молчал, он непривычно принял

бумажку, он непривычно выйдет из комнаты и в безмолвии коридоров обрушится на желтогубую уборщицу-армянку, мокрыми пальцами пересчитывающую куски сахару на подносе,— такова природа завхоза. А давно ли,— мог бы подумать, почти как романс, переживая это ничтожнейшее обстоятельство, товарищ Манук Покриков,— давно ли блокноты и ручки, тяжелая кожа английских кресел, бронза вождей на столе, часы без стрелки, но из черного мрамора, нарядный дамский портфель вызывали даже теплый укор со стороны начальника: «Ну, уж это, Минай Иванович, баловство!»

Через коридор, в длинном проектном бюро, где столы синели от чертежей, толпился почти весь штаб Мизингэса — главки пустых отделов, намечавшие учреждение, как булавки держат в узловых точках выкроенное, но еще не сшитое платье.

Это был цвет закавказского инженерства. Кто знал страну до революции, тот мог бы, заглянув в комнату, назвать почти каждого из присутствующих; среди них — среди позеленевших от частого окрашивания седин путейца, обветшалых усов гидравлика, блеска холерических лысин, немодных швов на спине тужурок и перхоти на полустертом сукне форменных мундиров, среди старейших консультантов с мешками под глазами, похожими на сточные желоба, куда стекает возраст,— были люди, честно служившие советской власти, но и такие были, кто чувствовал себя в родной стране, как раньше, так и сейчас, простою наемною силой, ландскнехтами.

Эти последние десятки лет работали на самых разных хозяев: концессионеров, капиталистов, чиновников департамента, а нынче на советскую власть. Они обсуждали новую перемену в штабе, понизив голос. Каждый из них чувствовал новый крен, словно был на борту парохода.

Уже несколько дней в Мизингэсе кривили губы над местной выделки анекдотами: рассказывали, как гидростанции, стоившие миллионы, стоят без потребителя, как спешно выдумывают потребителей в виде галетной фабрики или механических прачечных и как, в свою очередь, спешно приходится озабочиваться потребным количеством грудных детей для галет и грязного белья для прачечных; но, посмеиваясь и внося лепту в безыменное творчество анекдотов, инженеры были спокойны: они знали, что все пойдет своим чередом — проект перепроектируется, деньги отпустят, стройку закончат, их при-

гласят на новую,— хотя глубже и дальше этого они не видели и не судили. Из всех видов людей, способных на панику, к ней менее всего склонен ландскнехт.

Но сегодня выдался не совсем обычный день, и спор, занимавший людей в проектном бюро, был не совсем обычный спор.

Тот самый вихрь, что развел над страною Масиса гигантский мост и снимал сейчас с поста их начальника, пригнал к ним с севера, в управление Мизингэса, беспокойнейшего человека — создать и наладить новый и, по-видимому, беспокойнейший отдел рационализации. Покуда спутники Ануш Малхазян проходили в кабинет начальника, учительница, не желая по некоторым причинам встречаться с Мануком Покриковым, помедлила перед этой комнатой, где гул голосов прорезывал свежий басок, и сейчас же увидела приезжего человека. С пальцами на подбородке, где перышком вздымалось нечто вроде бороды, рационализатор чистейшим московским говорочком на «а», мягчайшими «скушна» и «конешна» вплывал в остроугольную атмосферу комнаты. Одет он был небрежно и даже напоминал слегка расстегнутой у ворота косовороткой, кожаным пояском и сандалиями «скороход» на ногах старого «вечного студента». Но когда он вставал, заложа руки за спину и скользя подошвой, в его, казалось бы, таком мягком облике, гармонически сочетавшемся с мягким говорком, неожиданно проглядывала огромная задорная сила и охота словесно подраться с собеседником. Именно этот человек в мирной беседе напал вдруг на инженеров Мизингэса со скандальной горячностью, изобличавшей в нем уже выработанную точку зрения.

— А конешна,— доканчивал он речь, обращаясь к старому и осанистому путейцу,— во всех однородных случаях ищите одинаковую причину. По-вашему, мелочи экспертизы виноваты, по-моему — нет. Я работу в моем отделе шире и глубже беру, чем другие берут, и если проект провалился, я ставлю первый вопрос: из каких источников возник проект, чем он вызван, где его предпосылки, почему именно могло случиться, что экспертиза ошиблась?

— Вздор,— пробасил инженер,— проект как проект. Сколько ни высасывайте — логику вы же не можете отрицать. Логически все было сделано в свое время. Изыскания были? Были. Сам Графтио на Мизинке работал. Обработаны изыскания? Обработаны. Вот шкаф, ройтесь, пожа-

луйста. За десять лет данные выверены, обработаны, никто Мизингэса из головы не выдумал. Там еще французы строить хотели. Уж если ставить вопрос, я прямо скажу: обоснованней Мизингэса мало найдется проектов.

Но рационализатор критически дергал себя за перышко.

— Насчет источников — тоже вздор,— спокойно продолжал инженер.

Он был тем спокойнее, что защищать Мизингэс приходилось ему, как лечить чужого ребенка,— без кровного страха и без волнения; глубочайшее равнодушие к Мизингэсу читалось сейчас в монументальных чертах инженера и его обвисших, как у бульдога, нечисто выбритых щеках.

— Вот вам мнение опытного человека: проект провалился, потому что нет, в сущности, особенной надобности строить. Где наши потребители? Куда мы спешим с энергией? В центре понимают, поэтому и придерживают.

Приезжий человек исподлобья глядел на путейца. Он еще не открыл рта, но в блеске глаз и в дрожании пальца на подбородке было больше страстного интереса к теме, нежели во всей тираде его собеседника.

— Факт тот, что Мизингэс не зажег вас, товарищ. Плох тот проект, который общими фразами защищают... Я почему говорю об источниках? Вы создавали проект по старым материалам. А что было в прошлом? Французы турбину хотели поставить для своих медеплавильных заводиков? Подумайте хорошенько — французы, концессионеры! Ну, что им была страна? Какое вообще дело, кроме интересов своего кармана, да еще на чужой, взятой в концессию, земле? А теперь вспомните нашу действительность. Мы не один киловатт, не одно электричество — мы миллиарды киловатт всей потенциальной энергии нашей системы поднимаем, у нас все связано, нет отрыва между вещами. Возьмите Волховстрой, Днепрострой. Волховстрой у нас решил задачу судоходную и энергетическую, Днепрострой должен решить задачу судоходную, энергетическую и оросительную. Вот как надо подойти к проекту Мизингэса, с наших позиций. Тогда не будете обожествлять старые французские бумажонки, и провала не получится.

— Интересно знать,— ехидно ответил спец,— какую вы конкретно имеете связь между экономикой и техникой? Я не говорю об общих фразах, общие фразы — по-

жалуйста. Каждый сумеет. Но вы мне объясните простыми словами, какую разницу это составит для технического проекта плотины, философствуете ли вы о будущих задачах или не философствуете, дадите ли энергию Мизингэса на медеплавильный завод, или на химию, или еще на что-нибудь? Вот бы вас главному инженеру послушать!

— Он слушал,— я с ним в Москве разговаривал. Он сам, если хотите, и подсказал мне эти мысли. Я вам...

Но тут, прерывая рационализатора, дверь в комнату стремительно распахнулась.

III

Товарищ Манук Покриков уже собирался бежать на очередное заседание и одной рукой втискивал в дамский портфель бесчисленные доклады, а другою придерживал у рта чубук, чтоб отвести его, словно соску, и выпустить, покашливая, дымок крепчайшего сухумского табаку, когда мосье Влипьян с фамильярной почтительностью представил ему денежного человека.

В былое время Манук Покриков чрезвычайно любил визитеров. Он знал наизусть, как учили мы в молодости таблицы силлогизмов в учебнике Челпанова, проект во всей его звонкой технической терминологии с колоннадой цифр и блеском различных ссылок. В столе у него лежали альбомы со множеством фотографий, газетные вырезки и собственные статейки, потому что товарищ Покриков, любитель литературы, и сам иногда пописывал. Но сегодня завхоз испортил ему настроение, и мнительный Покриков не доверял посетителям.

— Занят, занят,— откашливался он,— вот я могу, если хотите... основной докладик... а впрочем, мои инженеры...

Тут он встал и, широко шагая полноватыми ножками в крагах, похожими на бутылки из-под шампанского, стремительно отворил дверь в проектное бюро.

— Товарищи, будьте добры!

Здесь Манук Покриков сделал пояснительный жест рукой.

Он очень спешил. Он, со своей стороны, снабдил гражданина докладиком. И, предоставляя мосье Влипьяну в десятый раз рекомендовать и объяснять положение, покуда гражданин в манишке, подняв брови, прочитывает докладик, товарищ Манук Покриков так же

стремительно вышел, оставив в комнате солидный запах кожи и сухумского табаку.

Появление грузного посетителя с котелком в руке среди спора и трагический шепот мосье Влипьяна загнали рационализатора на подоконник. Он с живейшей любознательностью поглядывал оттуда на колоритную фигуру приезжего. Неуловимое нечто, чувство стиля отмечало силуэт гражданина в манишке, его эспаньолку и пухлые пальцы, листавшие докладик с важностью церковного попечителя. Гражданин был доволен. Впервые за десять дней пребывания в городе он почувствовал себя уверенно,— перед ним в докладике, отстуканном на машинке, были знакомые — в высшей степени знакомые — вещи.

— Вы, господа,— проговорил он тугим голосом, заставляя невольно подумать о заложенном носе,— как я вижу, воспользовались данными нашей харибовской комиссии?

— Что за комиссия?— шепотом справился рационализатор.

Ему объяснили. Харибов, богач, в дни дашнакской власти заказал лучшим умам республики: создать статистику. Лучшие умы воспользовались старыми экспертизами концессионеров. Материалами этой статистики, изолированной, как башня Эйфеля, и почти столь же бесцельной, как башня Эйфеля, все еще пользовались, потому что богатства ее в бесчисленных папках достались большевикам.

— Да, если хотите,— ответил старый инженер-путеец,— вот тут первый вариант проекта, он целиком из работ комиссии, а вот наш вариант. Тут, видите, какая разница: вы знали французский проект, концессионный, на маленькую, местного значения, а мы строим большую районную станцию на солидную мощность. Но, конечно, в основном, технически...— Он не договорил.

Он взял несколько чертежей со стола. Здесь был старый вариант станции с маленькой плотиной и второй, грандиозный, менявший всю местность,— пальцами инженер указал на высокую точку в ущелье, где должна была быть плотина в тридцать семь метров. Оживившись слегка, он штрихами набросал озеро, какое зальет постепенно... залило бы, впрочем, если б был осуществлен проект. Но сейчас дело несколько меняется, вместо плотины мы ставим шлюз. Заминка? Да, заминка была, осторожность — вот чем она вызвана. Будут ли строить?

Ну, разумеется, будут строить. Главный инженер в Москве перепроектировал узкие места, риску ни на копейку.

Он говорил сейчас ровным, приятным, солидным голосом. По-своему, по-ландскнехтски, он был на высоте и выполнял свою роль с безупречным тактом. Его спокойный, обыденный тон внушал доверие к фирме, доверие к знанию, к долголетней культуре лиц, взявшихся строить, к тому таинственному немножко миру наивысшей квалификации, за который он сейчас, здесь, представительствует.

Но рационализатор, хоть и чувствовал себя мальчишкой перед этим бастионом накопленного десятками лет знания, не мог усидеть на подоконнике. Он соскочил на пол и вдруг неожиданно молодым движением выхватил из рук гражданина докладик.

— Дайте-ка... Неужели вы так-таки всерьез убеждены, что данные... как ее, бутафорской этой комиссии пошли нам на пользу? Вот, оказывается, откуда вся музыка.

Путеец взглянул на него, подняв брови. Глубокое, искреннее изумленье выпадом, этой вылазкой на авось, неуваженье к мальчишеству, даже и строгий призыв к дисциплине здесь, в стенах общего для них учрежденья,— вот что было во взгляде старого инженера.

Под этим взглядом рационализатор смутился было, то тотчас же снова вспыхнул. Он был одинок в этой комнате, он был почти без оружия. Он знал, что Мизингэс и десятки Мизингэсов строились вот так, по наследству от прошлого, и не мог же он выступать бездоказательно против прошлого. Нет, не против он, чтоб даже и взять из этого прошлого все, что разумно в наших условиях, но... но...

— Послушайте, я эту комиссию не знаю, но возьмите факт. Комиссия ваша на заказ капитала изучает страну. А как она берет страну? Административно берет. Для нее губерния или уезд, скажем, сфера действия урядника,— незыблемая единица. Ее статистика — по таким слепым клеткам, а для нас — это шоры. Нас это гипнотизирует, мешает видеть. Вот вам, к примеру, две реальности на карте: север и юг, север — промышленность, юг — сырьевая база, а по старой статистике тут чересполосица, тут ни того, в сущности, ни другого,— и это мешает нам здраво делить, кроить, резать, соединять, иметь перед собой два реальных района. Нам нужен свой незапутанный узел, своя статистика,— нет, дайте докон-

чить, не перебивайте, пожалуйста!— и если хотите знать, мне вовсе нет надобности изучать ваши материалы и эту самую комиссию, чтоб доказывать ее устарелость, достаточно одного. Допустим даже, что капитал способен организовать, но это еще может быть, когда он ставит прямую, реальную цель, когда он видит выгоду, на голодный желудок, если можно так выразиться; но филантропически, на сытый живот, он просто в бирюльки играет и уже сам-то по этим своим материалам вряд ли всерьез стал бы строить, будьте уверены!

Он задыхался от потребности высказаться, статистика была коньком рационализатора. Он уже обобщал, забегал вперед, и особенности маленькой республики, все, что успел заметить,— ставки на дешевизну, малую к себе требовательность, привычку к обидчивости, к самоуничижению,— все это склонен был отнести за счет многолетнего приживальчества у благотворителя.

Но тут своевременно и его и Ануш Малхазян,— при первом же слове о севере и юге подобравшуюся к рационализатору с блокнотом в руках,— прервало резкое и радостное восклицанье: это специалист по бетону, бродивший без толку из комнаты в комнату, увидел вдруг здесь, среди инженеров, нужное ему лицо.

В «нужном лице» с большим трудом можно было узнать приехавшего в управление для доклада запыленного, тощего и расстроенного начальника участка Левона Давыдовича.

Он стоял здесь армейским солдатиком среди франтов генерального штаба. Как всегда с переносом людей из одной, привычной, среды в другую, он изменился в манерах и облике — и выправки меньше, и щукастый профиль слабее, и самоуверенности убавилось, но было и еще нечто: когда, чтоб дать людям встретиться, инженеры расступились и в раскрывшемся круге, как в медальоне, стал виден Левон Давыдович, с ним вместе в эту комнату ворвался фронт. Он ворвался в необычайно грязных, глиною вымазанных высоких сапогах, которые начальник участка не успел в городе почистить, ворвался в пыли и взъерошенности пальтеца, примятого от вагонного лежанья; в этом ярком, не городском загаре, выдававшем вольный воздух и ежедневный ветер,— из-под фуражки расстроенное лицо Левона Давыдовича выглядело молодым и свежим, словно приехал человек с дачи или из санатория.

Он сжимал портфель, ничуть не интересуясь спором,

его злило, что время уходит, люди заняты по пустякам, а тут дело ждет.

За спиною Левона Давыдовича, прекращая спор, стоял сам Мизингэс,— не тот, о котором рассказывалось в нарядном докладике, валявшемся сейчас у ног пыльного рационализатора, а тот, что уже вырос десятком бараков и тысячью рабочих рук на склонах лорийского каньона и требовал пищи, внимания, денег, людей, материалов, инструкций и руководства, отнюдь не располагаясь ни ждать, ни шутить.

Специалист по бетону тотчас вцепился в начальника участка. Завидно было смотреть, как говорят они, оба фронтовика, о совершенно фронтовом деле, и тому, кто бывал на участке, наезжал туда, проклиная временную, неудобную ночевку в бараке, вспоминались тотчас же резкий и свежий воздух каньона, шум реки, полет птиц, запах земли и глины, дымки над бараками — словом, все то, что должен еще завтра утречком увидеть специалист по бетону, если, договорившись с начальником участка о полевой лаборатории, выедет ночью с ним на строительство.

Вопрос Ануш Малхазян застрял невысказанный. Человек в манишке медленно поднялся, натягивая на левую руку перчатку.

Привычка находить в людях, как и в себе самом, скрытый, жадный интерес к деньгам, ко всему, что имеет отношение к деньгам, даже когда недосягаемы деньги, привычка чувствовать власть над людьми, возбуждая в них этот скрытый огонь, оправдывалась еще только на одном мосье Влипьяне, да и мосье Влипьян был сейчас непозволительно рассеян.

Посланец капитала оскорбленно двинулся вон из комнаты. Как недавно пережил он на миг бутафорию своей манишки, шляпы и набалдашника, так бутафорией показался сейчас ему (правда, тоже на миг) и миллион валютой, даже если сравнить его с теми таинственными «крохами» советского бюджета, что ассигнованы на охрану памятников старины!

IV

Твердо ступая маленькой полноватой ногой в коричневой краге, товарищ Манук Покриков возвращался уже поздно вечером с последнего заседания домой.

Дом этот уже знаком читателю. Нам приходилось

при совсем других обстоятельствах вступать в него, слышать запах стекающей на камни выплеснутой помойки, клонить голову под веревками с развешанным для просушки бельем и подниматься по очень высокой и крутой лестнице вверх.

Покриков миновал первую дверь, где раньше жила Марджана, а сейчас единолично жительствовала тетка ее, сорвал со второй двери лоскуток бумаги с большими армянскими буквами,— жена извещала, что ушла к сестре,— и своим ключом открыл вторую дверь.

Было уже темно. В окнах блестел иней — вечерами еще подмораживало. Небольшая голая лампочка — скудная, как в учреждении,— осветила квадрат, где у товарища Покрикова шла своя линия, у жены — своя линия. Стол в углу, куда полетел сейчас нарядный дамский портфель, табак, просыпанный всюду, где не следовало,— это была линия товарища Покрикова. Линия его жены выражалась в широкой расстановке стульев, которым не хватало пространства; в сердитом беспорядке платьев на вешалке, которым не хватало пространства, словно каждое из них облегало отдельное тело и тело требовало себе места; в раздражающей тесноте посуды, бросавшейся со стола на стулья, как в бегстве.

Нельзя было упрекнуть эту комнату в мещанстве, но в ней жила одна мысль, похожая на болезнь: мысль о необходимости еще одной комнаты, о совершенной невозможности поместиться и расставиться в четырех стенах, а если говорить о добавочной жилплощади, так уж именно только о соседней, куда вела даже соблазнительная заклеенная дверь. Там, в волшебном уюте, с выходом на крышу, где в горшках, даже сейчас, под снегом, цвели цветы, где был виден Масис во всей его светлой легкости, будто плавающий на блюде воздушный пирог, где под потолком нежным заревом сияли нарисованные «мотивчики», где пустая тахта выдавала отсутствие главного жильца, там, именно там следовало устроиться жене ответственного работника, а не беспартийной старухе...

Но обе линии рухнули разом, как рельсы над пропастью. Чтоб только не слышать злорадного голоса Ануш Малхазян: «Ведь вы уезжаете, товарищ, на что вам моя комната?» — жена Покрикова сидела сейчас у сестры.

И чтоб только не слышать режущего голоса жены, Манук Покриков не пошел вслед за ней, а сел к пустому столу без чая и без ужина и принялся потрошить «эпо-

ху»,— он вынул из дамского портфеля один за другим прошпиленные докладики, записки и сметы.

Будь рыжий сейчас, в этой комнате, архивариусом, быть может, он рассказал бы нам об уходящей эпохе, как о далекой чигдымской станции, и портфель Покрикова устарел бы на наших глазах, подобно чигдымской папке, знаменуя новый, высший этап, куда поднимается наше хозяйство. Но рыжего тут не было,— впрочем, рыжий тут был, но был совершенно особенным образом. Полноватые ножки в крагах товарищ Покриков закрутил вокруг передних ножек стула — любимая его поза с детства — и только что собирался разжечь свой чубук, как вздрогнул и встал со стула. Он вспомнил пустяковый, но неприятнейший разговор, который при данных обстоятельствах мог обернуться серьезно. Приятель один, имевший касанье к угрозыску, остерег товарища Покрикова насчет рыжего на участке:

— Там у тебя один фрукт, рыжий парень, Арэвьян по фамилии, так ты его лучше убери, потому что в учреждении, я слышал,— подробностей, жаль, не знаю,— почему-то заинтересовались этим фруктом.

Что за рыжий, Покриков и понятия не имел. Он на участке не был с месяц и сегодня еще не успел поймать и расспросить Левона Давыдовича, но было ясно, что предупреждение приятеля упускать из виду нельзя. Каждый сучок могут превратить теперь в бревно по его, Покрикова, адресу. Что ни случись, он будет виноват,— хотя тайное, жгучее, в высшей степени постыдное чувство и шептало ему: хорошо, если б случилось сейчас что-нибудь, хорошо, если б случилось именно без него и о нем пожалели, хорошо, если б трудности возросли, если б поняла публика, что не так легко дело делать и... почти физическая жгучая ревность, как к жене, уходящей к другому мужу, была у Манука Покрикова к Мизингэсу. Неестественно было бы желать «новобрачным» счастья.

Но в вопросе о рыжем другое дело: рыжий относился к дебету его собственной приходо-расходной книги. Товарищ Манук Покриков подошел к телефону и резко зазвонил во все места, где можно перехватить начальника участка.

Звонки разнеслись по дому и вызвали в соседней комнате злорадные смешки. Там у Ануш Малхазян сидели гости.

Не успела вместе со снегом пройти по городу но-

вость, не успел подняться подъемный мост, как жители города Масиса по неминуемой ассоциации вспомнили учительницу и ее племянницу.

Первой явилась коллега, Сатеник Мелконова, блестя ушными подвесками и ломая костлявое лицо в улыбке. Она еще с порога приятнейшим голосом, какой берегла исключительно для мужчин, поздравила милую джанчик. Милая джанчик, оказывается, была не в курсе. Она не слышала главной новости.

— Ведь он уходит, миленькая моя!— громким шепотом произнесла Сатеник Мелконова, делая вид, что не замечает кислоты на лице учительницы, терпеть не могшей гостей.

Слова она поясняла жестом: цыганский палец, с большим дутым золотым кольцом и красным от маникюра и не совсем чистым ногтем, торжественно вознесся к окну. Там, за окном, в темноте, сиял соседний двухэтажный дом, где жило лицо официальное.

Восемь окон, залитые светом, были хорошо видны отсюда и напоминали аквариум, где тончайший тюль гардин колыхался, подобный воде, а за тюлем взад и вперед большою беспокойною рыбой сновало лицо официальное, шевеля вместо жабр собственной тенью на стене. Тусклый ежик волос, провал глаз, папироса во рту, стройный, в хорошо сшитом френче, человек ходил мимо стола, где сидели люди, мимо пустых углов спальни, мимо оконных пролетов, все повторяя и повторяя круг своего шествия: это был тот самый, ничем особенным не примечательный пассажир, что ездил недавно в Тифлис.

Он ходил взад и вперед, куря одну за другой папиросы и не поворачиваясь на разговоры за чайным столом, где сидела его молоденькая жена вместе с сестрой своей, толстой мадам Покриковой.

Сгорая желаньем поглядеть на все это, а кстати и подольститься к коллеге своей, Сатеник Мелконова, не дожидаясь приглашенья, повесила на крючок плюшевую накидочку. Комната наполнилась запахом сильных и резких духов. Обтянув коротенькой юбкой коленки, Сатеник уселась на подоконнике.

— Живут, как буржуи жили,— ехидничала она,— вы посмотрите, не убрали даже дубовый шкаф; ковры Карапетовых, а несчастные Карапетовы на рынке старьем торгуют. Рояль, рояль! Ох, джанчик, я не могу: даже чайный сервиз Карапетовых!

— Оставьте его в покое! — отрезала Ануш Малхазян.

Новость не особенно ее задела. Как всегда, она в этом вопросе не понимала Марджаны. Ей казалось, самолюбие во всей этой истории — главное, да и давно ушедшим вставало время, то время, когда Марджана, не зажигая света, сидела тоже вот так на подоконнике, с платочком, растянутым у нее на плечах панцирем. Нежный профиль племянницы, ласточкой вскинутые брови, локти ее, голые из-под платка, и мутаки на тахте, — бедные мутаки, осиротели совсем, — ну, разве не святотатство пускать сюда Сатеник с ее скверным запахом изо рта!

Страдая от нарушенного одиночества, нетерпеливая Ануш Малхазян мысленно гнала Сатеник, оберегая от ее взглядов таинственный уголок с тетрадями и блокнотами, где она только что сидела и занималась. Но Сатеник получила подспорье во второй гостье.

Без стука приотворив дверь, в комнату заглянула старуха.

— Марджана где? — спросила она в дверях. — Слышала, милая, убирают молодчика, да чтоб смерила я его аршином![1]

Вошедшая — дальняя родственница, седьмая вода на киселе, уже много лет, с тех пор как пошла Марджана в партию, не приходила сюда. Приличие требовало вскрикнуть и броситься ей навстречу; к тому же ходил слух, что у старухи Ефросиньи Абгаровны дурной глаз. Круглое, гладкое, расширяющееся книзу, как морда гиппопотама, лицо старухи было румяно, и маленькие глазки пропадали в нем, словно изюм в тесте. Раскрыв для просушки зонтик и поставив его в углу, старуха приложилась сомкнутыми губами, под которыми крепко сжала беззубые десны, сперва к Ануш, потом к Сатеник Мелконовой и уселась на самую середину дивана.

Тут-то и зазвонил нервозный телефон в комнате Манука Покрикова. Фосфор еще зажжен был у Ануш Малхазян в мозгу, вызывая приятную ясность мысли и потребность работы. Она двигалась по комнате сомнамбулой, только бы не потушить его и не перебить работу, — а, в сущности, дело было потеряно: тяжелый старый гиппопотам не уйдет без чая, и нужно готовить чай и подавать реплики.

[1] Народное выражение: да чтоб он умер. Аршином меряют покойника, когда шьют ему саван.

Прислушиваясь одним ухом, она мысленно выметала из комнаты нечисть, а нечисть устроила между собой смычку: Сатеник повитухой уставилась в рот Ефросиньи Абгаровны, ловя нескромные речи. Ефросинья Абгаровна, польщенная вниманьем, высказывалась:

— Раззвонился петух — один девушку испортил, другой на комнату зубы точит...

— Тетенька!— опять лопотнула учительница.

— Ну, что, «тетенька»? Уж не обошел ли и тебя на старости? Из любви к яичнице лижут ручку сковороды. Я вот пойду глядеть, как они жен на вокзал повезут,— ты мне сахару внакладку не клади, а положи в чашку две ложки варенья,— пойду на вокзал глядеть, скажу молодчику два слова!..

— Тетенька!— опять лопотнула учительница.

— ...Зашел в деревню, где нет собак, и ходил без палки!

На этом афоризме старуха временно успокоилась и ждала, покуда Ануш придвинет к ней, вместе с Сатеник Мелконовой, чайный стол.

Сказать по правде, шибко двинула на нее учительница большой чайный стол, где музыка чашек и ложек в стаканах воплем зазвенела, отражая вопль ее собственных тысячи мыслей. Там в уголку лежали тетради ребят, их невинные милые буквы ползали по тетрадкам во всей радости бытия; там чистый, как дети, и такой же радостный план, криво перенесенный на картон отчасти по памяти, отчасти с пометок в блокноте, где север и юг перекликались, север и юг ждали связи; там тощий журнальчик по республиканскому хозяйству, еще не разрезанный, ждал ее старого костяного ножика,— и все это погибало сегодня, наверняка погибало. В лучшем случае (чтоб не пропал день даром) она успеет разве написать письмецо Марджане и насчет комнаты (остается комната), и насчет того человека (уходит человек)...

— Да ты задушить меня хочешь своим столом! Совсем, мать моя, мозги потеряла!— крикнула беззубо Ефросинья Абгаровна, обеими ручками упираясь в налетевший на нее стол.

V

Снегопад, промчавшись над городом Масиса, ушел.

Снежные вихри еще кружились по дороге, вдоль телеграфных столбов, уносивших от города бесконечные

провода. Но и по проводам, казалось, бежали остатки бури. Провода в нескончаемой дрожи несли и передавали из города Масиса последствия бури, музыку Морзе. В одинокой комнате старый телеграфист, быстро перебирая пальцами, вытанцовывал на аппарате изумительное разнообразие комбинаций из двух ударов — длинного и короткого. Тончайший регулятор звуков, носитель ритма, человеческая рука лежала на аппарате и как бы пульсировала с ним вместе. Два долгих, три долгих, три коротких, четыре коротких, короткий, два долгих, короткий, долгий.

— Москва,— выстукивал телеграфист.

Где-то привычное ухо принимало удары, по стуку прочитывая их в уме, как мы глазом читаем шрифт. В Москву шло чрезвычайное уведомление о том, что на место уходящего Покрикова начальником назначается главный инженер Мизингэса.

Главный инженер поздним вечером возвращался с решающего заседания к себе в гостиницу. О назначении он еще ничего не знал. С ним шли спутники, и московский весенний снег мягко поблескивал в электрическом свете. Попутчики разговаривали; огненные рекламы призывали отпраздновать победу, шел запах из ресторана, скользили по мокрому асфальту эластичные жгуты шин, естественный наркоз большого города держал в человеке подъем, как держит пробка углекислоту в бутылке, но если б можно было раскрыть человека, только что, защищая проект, пережившего огромный подъем и сейчас, подняв воротник, медленным шагом шедшего по Мясницкой, мы в нем прежде всего, как при позднем вскрытии, заметили бы начало серьезной болезни.

Главный инженер Мизингэса, в противоположность начальнику своему, товарищу Покрикову, терпеть не мог литературы,— честно сказать, он вовсе не знал литературы и смотрел на нее, как большие — на занятия маленьких, считая в порядке вещей даже нескончаемую неграмотность газетных заметок, путавших турбины с напорными трубами.

Он вел большие дела. Несколько лет он работал по водному хозяйству Армении, и карта, пленившая учительницу, где сеть каналов, древних, новых, новейших и будущих переплетается в сложном узоре, была его детищем.

Именно эта равнинная часть Армении,— где диктовала вода, потому что ее не было, где недостаток воды

был организатором быта, культуры, хозяйства,— и тянула его к себе, обостряя мысль тысячью технических догадок и предположений.

Здесь был дешевый киловатт-час, побочный киловатт-час, дававшийся в руки попутно, как попутно даются уходящее тепло или газы при сжигании кокса. Энергия как побочный продукт широчайшего водного хозяйства,— вот это и было любимейшей мыслью инженера; расщепить водную артерию, оросить тысячи га, скомбинировать оросительные участки и пустить воду после использования на семейство турбин системой каскадных станций — сложнейшая и увлекательная задача, где два зайца убивались одним ударом.

Водную проблему Армении он выносил и прочувствовал, и его мысль была целиком занята вопросами сечения каналов, их шлюзования, наилучшей технической формы для получения «побочного продукта», дешевого киловатт-часа энергии.

К северу, где вода ничему не диктовала и не играла в хозяйстве роли, главный инженер был совершенно равнодушен. Мизингэс достался ему совсем недавно, в готовом виде, весь, как он был, в нарядной беспомощности своих предпосылок,— необоснованный и сомнительный для строителя, опасный продукт формальных докладов и множества докладчиков, где число до бесконечности дробило ответственность.

«А в конце-то концов отвечать придется мне»,— была первая мысль главного инженера.

Но когда тот же Мизингэс потерпел крушение и ему пришлось отдуваться и перекраивать, он по привычке мобилизовал все свои силы. «Проведу, а потом откажусь!»— вот чем он жил в эти дни сплошной бессонницы, напряженных часов над проектными чертежами, утомительной возни с сотрудниками, самолюбием их, психологией их, мнительностью их, настроениями их. Посмотреть на него — никто не сказал бы, что главный инженер глотает досаду или же злится: у этого человека было терпенье гувернантки.

Сейчас он шел, борясь с желанием пойти наконец к врачу. А пойти к врачу нужно было. Его мучила нудная боль в правом боку, слабость правой ноги, боль при каждом ее сгибании, ходьбе, усаживанье.

Главный инженер был заурядный на вид человек с мужиковатым лицом, на котором только желтые виски выдавали страшную усталость; виски облысели, редкие,

неживые волосы на них лежали тускло, как у покойника. С головы же на лоб спускался некрасивый мысочек, укорачивая ему лоб и придавая неприятное и замкнутое выраженье глазам, мутным от утомленья. И только улыбка его — неожиданной прелести и тонкого, заразительного юмора — освещала вдруг это простое лицо, делая его прекрасным.

«Я, кажется, пойду все-таки»,— решил он про себя и распрощался со спутниками, чтоб завернуть к врачу. Прощаясь, они уговорились встретиться попозднее в ресторане и махнуть куда-нибудь. Но при мысли о театре, или кино, или баре главный инженер почувствовал озноб.

Вот уже много месяцев он переживал страх смерти, и преимущественно в кино. Стоило экрану вспыхнуть чужой жизнью, как больной человек вспоминал о неминуемости и близости ухода. «Со всем этим надо покончить и выяснить наконец»,— думал он, поднимаясь по темной лестнице и вступая в приемную врача.

По-московски это была не приемная, а узенькая передняя, где, чередуясь с вешалкой, стояли стулья и мимо больных проходили в уборную и кухню, или забегала собака в ошейнике, или, минуя больных, проплывал гость — вестником здоровья и ненарушенных человеческих обычаев.

Люди сидели, подобные испорченным двигателям. Больных было много. Каждый нес в себе внутреннего врага — невидимое семейство микробов, присосавшихся где-нибудь в загибе сердечной мышцы, или мучительные спайки в кишечнике, мельчайшие и стойкие язвы, тайную опухоль, гнездившуюся неведомо где; сигналом о внутреннем враге были темная кожа и неуловимая деформация черт и этот бессознательный испуг в глазах, какой есть у кошки, когда подвяжешь ей висюльку на хвост. Инородным телом приживался внутренний враг, обессиливая человека.

А в соседней комнате врач, сам больной диабетом, едва шевеля тонкими губами и безразлично глядя на очередного пациента, выстукивал и выслушивал внутреннего врага, утомительно повторяя: «Отдохнуть, отдохнуть надо, бросить занятия, не насиловать своего организма. Иначе... что ж иначе: еще хуже будет, если запустите».

«Публика здорово поизносилась,— думает главный инженер,— я все-таки еще ничего. Я молодцом все-таки!»

И так как он совершенно уже не мог сидеть, ничего не делая, а читать было темно, главный инженер принялся мысленно делать смотр всему тому, что произошло в эти месяцы.

Скитанье по учреждениям, отсидка в гостинице, еда с пятое на десятое на подоконнике с бумажек, бесчисленные встречи в коридорах и на заседаньях с людьми, протаскивающими проекты,— конечно, все это было в большой мере утомительно и безалаберно, и европейцу иному показалось бы, что не жалеют у нас людей на ерунду, но, в сущности... он вот сознательно прозевал две командировки за границу! Да, в сущности, это все вместе учило и снабжало знаниями, каких ни от какой заграницы теперь не получишь.

Каждый приезд, считая по пальцам, расширял ему горизонт. За любым проектом (и своим в том числе) он начал видеть уже совершенно не то, что видел и с чем ездил раньше,— не узкий интерес своей печки: «протащить во что бы то ни стало»,— не беспокойство о смете, не профессиональное самолюбие, вообще не... не... А что — я вам скажу что:

«Если за этим данным проектом, в хвосте его, я не увижу еще другого, третьего, четвертого, десятого, целую цепь проектов, так, значит, дрянь дело и не стоит».

Они тащили хозяйство, как рыбак тащит сети на берег: сеть выходила клетка за клеточкой, и огромнейшей сетью клеточек покрывалась страна; а в том, чтоб клетки тянули друг друга и были связаны, была та острая радость творчества и то волненье, с каким ученый открывает звезду в телескоп,— именно там и на том месте, где должна быть звезда, где ей приказано быть гениальной логикой мысли, отгадавшей законы вселенной.

Здесь он насупился легонько, как бывало с ним в редких случаях, когда навязывали проводить поздно вечером даму из гостей. Он вспомнил Мизингэс. Честное слово, он защищал его, как провожал даму из гостей.

Хоть новый проект был блестящ и обходил трудности, хоть строить по новому проекту и привлекало его,— там были особые технические новшества и завлекательные моменты,— но Мизингэс был и остался одиночкой каким-то, кастратом каким-то, черт его побери! За Мизингэсом воображенье не рисовало ему хвоста, тех далеких очертаний новых неизбежных проектов, как спины больших рыб, плывущих скопом. Без связи, без какой-

то центральной связи со всей экономикой страны Мизингэс был уродцем.

«Ты, брат, уродец, ты — дама»,— чуть не сказал вслух главный инженер.

Он увидел себя в приемной врача, где осталось еще одиннадцать человек до его очереди. Считая по десять минут в лучшем случае на душу, выходило два часа.

Главный инженер встал и снял фуражку с вешалки. Сумасшествие — сидеть два часа!

Над внутренним врагом, гнездившимся в теле, прошел ток той высшей формы материи,— зовите ее, как хотите,— электричеством, внутренней секрецией, энергией или просто, как средневековые храбрецы иные, духом,— что вернула внезапно больному человеку всю прежнюю власть над телом и чувство здоровья.

«Лучше лягу пораньше да высплюсь, да завтра встану здоровый,— успокоительно подумал он, направляясь в гостиницу,— завтра встану, а от Мизингэса лучше всего отказаться. Без него хватит дела! Завтра же откажусь. Пусть ищут человека!»

Но до самого дома он продолжал думать о Мизингэсе, испытывая почти физическую потребность увязать его с целым, разглядеть за ним нечто: быть не могло, не должно было быть, чтобы где-то, в чем-то не оказалось этого «нечто».

В номере было светло с улицы, и света он не зажег, а, раздевшись, понадеялся сразу же и заснуть. Но сон не шел. Главный инженер ворочался с боку на бок, ощущая работу сосудов, трепет и пульсацию крови, как в дизельной. «Откажусь,— бормотал он,— изолированная нелепость, предмет роскоши, к черту — пусть другие строят. Выпью брому, а то не засну».

Он встал, коренастый, в одном белье, босиком прошел к выключателю пустить свет и, когда осветил комнату, увидел на полу белый квадратик телеграммы, не замеченный раньше.

Прочтя телеграмму, главный инженер почесал у себя над бровями. Потом, вместо брома, сел к столу, где лежали бумаги и чертежи в синей папке с надписью «Напорный туннель». Новый проект понизил отметку туннеля; его разобьют на несколько метров ниже, и можно было протелеграфировать, чтобы приступили к проверочной триангуляции.

Но не в этом, конечно, дело было. А в том, что оди-

ночество Мизингэса с упорством психоза лихорадило ему мозг. Там, на юге, все было просто и ясно, каждый канал пойдет в работу, каждая капля отслужит двойную службу, игра стоит свеч... Чертя пальцем острые вершинки, одну за другой, главный инженер вдруг наклонился к столу и волосатой рукой, словно муху ловил, прикрыл эти вершинки. Простейшая мысль язычком вспыхнувшей спички вдруг осенила его: вершинки напомнили главному инженеру профили сезонных выработок энергии.

Стоило только отвлечься от бумажного гипноза, от всех этих докладных записок, где будущая энергия Мизингэса вливается в предполагаемый северный куст, стоило только представить его кустующимся в первую голову не с севером, а именно с югом, как получалась — блестящая вещь получалась! Особенность Мизингэса выходила тогда козырем. Его летняя мощь покроет летнюю недостачу юга, где вода летом служить будет для орошенья,— да еще хватит ли одного Мизингэса, чтоб урегулировать нагрузку?

Он знал, как и многие из его товарищей, что сейчас, в тиши кабинетов, большими, ведущими умами в нашей стране составляется грандиозный план пятилетних работ. Он знал, что план этот охватит и возьмет в свою огромную сеть и его республику, а с нею и маленький Мизингэс. Мыслить большими масштабами! Дожить, дожить — чтоб увидеть воочию, как покроется вся необъятная земля советская сотнями, тысячами строительных объектов, увязанных воедино... Первый пятилетний план!

Он выхватил из папки синие листы с проектами будущих нагрузок и профилями сезонной выработки юга и погрузился в них, не чувствуя, как стынут у него под столом голые пятки.

Только в третьем часу утра, судорожно зевая, веселый, взъерошенный, довольный, с чувством совершенного здоровья и убежденного бессмертия, какое вспыхивает в минуты полного обмена веществ в организме,— он поднялся из-за стола, уже имея в зародыше, про себя только, идею целого. Так, для будущего.

— Мы, по чести говоря, кессонщики, нам лучше не выходить из-под нагрузки — отсутствие ее состарит нас,— вслух проговорил он, уже залезая под холодное, жидкое гостиничное одеяло и грея пятку о пятку,— а ведь хорошо это сказано: «Кессонщики»!

Глава одиннадцатая

МАРКС И ВЕЙТЛИНГ

I

Начканц Захар Петрович был в эти дни занят — вот как: правой рукой он проводил у себя под кадыком. В отсутствие начальника участка такое стало закручиваться, что ни спать, ни есть спокойно Захару Петровичу не приходилось,— он был занят, как проговаривался иной раз в конторе своим людям, «консолидацией сил».

В стеклянной будке начальника, не подозревая о консолидации, сидел Александр Александрович и мелко надписывал бумажки; подагрические пальцы Александра Александровича тряслись; нанося подпись, он бормотал в пышные усы, что начальник участка всегда так, что это система: в труднейший момент уехать и обрушить ответственность на него, Александра Александровича.

На самом же деле труднейший момент целиком захватил не его, а начканца.

Шли увольнения. Работа сворачивалась на участке, как паруса и мачты на яхте во время штиля. В этом сворачиванье Захар Петрович видел для своей деятельности далекие перспективы. Почесывая концом ручки веко, лохматый и подтянувшийся, он устремлял зоркие глаза в невидимые пространства, где воздвигалась, кирпич за кирпичиком, умственная постройка, названная Захаром Петровичем, для краткости, «консолидацией»: отъехал с участка латыш, мастер Лайтис, увозя с собой острием корабля вытянутый нос,— «а не совал бы, куда не просят»; щелкая каблуком, в кожанке, пешком пошел на станцию Аветис со склада, получив расчет: этот, не в пример прочим, жаловаться пойдет; Заргарян и другие молодчики, с узлами и женами, отгромыхали на арбе,— будет ужо время подумать, каковы «узкие места» на участке...

В глубине своей беспартийной души Захар Петрович твердо был убежден, что уход бузотеров понравится кому следует и вышестоящим. Истина-то, не глядя на всякие лозунги и несущественные убеждения,— «едина»: приказано строить, и надо строить. А уж там как ни верти, при беспокойных строить, как по канату ходить.

Высматривая из конторы окно насупротив, в соседнем бараке, где помещался местком, Захар Петрович не продолжал мысли, но все знали, чем интересуется

дальновидный мозг его. Шли слухи, что местком Агабек не поладил с секретарем ячейки.

«Вот она где, истина-то»,— посмеивался про себя начканц, особым пристальным взглядом следя за крыльцом напротив: крыльцо было грязно, крыльцо было сбито набок, хоть сейчас возьми рукой да и надломи его. Дверь сорвана с петель и кой-как приткнута в угол. Из нее валил пар, когда в нее самое не валили люди,— а валили люди во все часы, приемные и неприемные, шли сезонники в овчинах, обозчики с хомутом на шее, комсомол в шерстяной майке,— видно было в стекле, как качается зеленое лицо Агабека, бледное до фантастики, и тень от горба пляшет гофмановским придатком сбоку,— «накачаешься», злорадствует Володя-конторщик.

Он сидит павой за своим столом, и никто не мешает Володе, как мачехе в сказке, чувствовать себя здесь, в конторе, глядючись в зеркало, «всех прекрасней и милей»,— рыжего-то ведь нет, спустили и рыжего по теченью. Правда, совсем уволить не удалось. Агабек, ссылаясь на просьбу техников, оставил его помощником на изысканьях, рейки таскать. Но для Володи такой конфуз казался худшим, чем увольнение,— с чистой работы да на простую, мужицкую, с которой даже толстый дурень Мкртыч справляется.

— В первый раз я, Захар Петрович, воздухом дышу,— с истинным жаром вырвалось у Володи-конторщика.

Но начканц, в поисках консолидации, не задерживался на победах. Он уже действовал стоя и на ходу, говоря «гм» и рукой отстраняя в коридоре мальчишку-почтальона, поспрошав у него предварительно то и се и между слов забравши письмо для передачи,— ни на миг и ни на вершок не простирал свои действия Захар Петрович бесцельно. Сейчас торопливой походкой, с письмом в руке, он перешел улицу и спускается вниз, кавалерийски выгнув ноги, а в промежуток между ходьбой откашливается подготовительно, без сплеву: так делает перед речью оратор.

Секретарь партячейки сидел у себя в бараке. Он готовил доклад. Чтоб не мешали, секретарь запер дверь на крючок и, опустив голову, собственноручно зажал уши, но, по-видимому, тревога или иное что грызли секретаря, потому что, зажав уши, он не мог остановить глаз на лежавшей перед ним работе и тотчас же встретился взглядом с Зхаром Петровичем, деликатно глядев-

шим в окно с письмом в руках: дескать, минуточку,— письмо примите.

— Людей у нас в обрез стало, мне по дороге: чем гонять кого — дай, думаю, занесу,— запыхавшись, сказал Захар Петрович, когда секретарь скинул крючок с дверей.— К докладу готовитесь? Ай, хорошо тут у вас. Это я одобряю.

Он медлил, будто обласканный чистотой этой комнаты, теплом, шедшим от русской печки,— секретарь тепло любил, и ему в эти дни снегопада и похолодания щедро топили печь. Половичок у входа и тот будто бы приглянулся начканцу. Умильно пригнув голову к плечу, Захар Петрович прочел армянскую надпись: «Вытри ноги»,— и, боком взглянув на секретаря, убедился, что тот, по собственной Захар Петровичевой терминологии, «скучает». Неспокойный взгляд и насупленное лицо, равнодушный жест, с каким секретарь отложил письмо, излишек движений по комнате — ясное дело, скучает парнюга, засел, как сыч, а то ему интересно, что на участке говорят и какую линию выдержать,— это я лучше его понимаю.

— Ну, уж попал, так извините — присяду. Мне сейчас вырваться из конторы не легше, чем папе римскому из Ватикана.

Захар Петрович сел и пристально оглядел секретаря. Тот все молчал. Захар Петрович не улыбнулся,— он стал серьезнее, добродушно серьезен, нежно серьезен, задумчивое отцовство было сейчас в его круглом лице и ладони, положенной на худую руку секретаря,— Захар Петрович совершенно опростился. Наипростодушнейшим своим тоном, понизив голос, почти жалостно, словно баба, припал он голосом к молчаливому уху, которое, впрочем, внимательного человека поразило бы упрямым чем-то в загибе и даже в краске.

— Уж хоть бы вы, товарищ, урезонили нашего предместкома. Ячейка-то в курсе ли? Я от службы хочу отказываться, вот оно до чего. Острый момент, режим экономии,— строительству нужна помощь... нет, уж погодите отвечать, дайте я вам выскажусь откровенно: тару он нам сорвал. Транспорт он нам чуть не разладил. В наших местах к весне сорок аробщиков договорить — шутка? Я с ими сапоги обтрепал, ходил, кланялся, улещивал — заместо Алексан Саныча, а товарищ Агабек — нате, тятя. Кулаки, говорит. Контора, говорит, кулацкие элементы на службу берет. Так ты дай мне,

человек-чудак, бедняка с арбой да с парой волов, я ж его хоть сию минуту найму. Или вот с увольнением. Я, что ли, хозяин? Советская власть приказывает сократить, так или нет? Ты если с умом — войди в положение, помоги строительству, а местком: этого нельзя, того нельзя, третьего не моги; выйдите поглядите, что делается, какую агитацию развел. Кружало сломали — в местком. Компрессор плохо работает, механик пьян — в местком. Цемент якобы перерасходуют — в местком. Демагогия получается. Или ты местком, или ты стенгазета, или ты жалобная книга... На нашем обыкновенном языке я это так называю: вредительство, вот я как называю. Неорганизованных элементов вокруг себя собирает.

Ухо секретаря дернулось,— Захар Петрович, неосторожно дыша в него, повысил голос до вскрика.

— Извиняюсь,— сказал начканц, снизивши против воли эффект своих слов.

«Безвредный, безвредный, а вот накося, раскуси его,— думал он про себя, неожиданно раздражаясь на молчанье и на жест, с каким секретарь, вставши с места, потянулся за кепкой, давая понять о выходе.— Одна сатана вся их публика, ты ему душу вывернул, а он деревом-березой развесился... тоже секретарь!..»

— Ну, так я пошел... всего!— довольно-таки принужденно и, можно сказать, задним числом проговорил Захар Петрович, выходя из барака вслед за «безвредным».

II

По улице навстречу ему шла Клавочка об руку с двумя женщинами — женой Маркаряна и счетоводовой. Платье ее рвалось вперед вместе с легкой, мелкой походкой, как занавесочка меж оконных рам,— соседки утяжеляли и придерживали Клавочку, они были грузны, и шаги крупнее. Вырвавшись, чтоб подбежать к мужу, Клавочка сделала круглые глаза. Она тоже действовала. Ее не тянуло с участка в город, ей на участке сделалось интересно,— вместе с мужем она «консолидировала».

Прошли времена, когда соседки, ей в пику, замалчивали, что выдают в кооперативе, или же из-под носа скупали яйца,— легко хохоча, она дожидалась теперь стука в стенку: «Клавдиванна, пойдете за рисом?», стука в окошко: «Клавдиванна, яички продают, вам десяток не надо ли?»

Выпархивая из дверей, с платочком на голой шее, розовая и теплая,— хотя бы другие от холода носы терли,— она продевала руки соседкам под локти и шла норовисто, играючи, словно воспитанница с гувернантками. Жене Маркаряна собственной бритвой она брила под мышками; старухе — Володиной матери — кофейную мельницу подарила (поищи-ка теперь в лавке кофейную мельницу!); счетоводовой гадала на картах, замирая голосом, всплескивая ладошками. И ничего не жалела Клавочка, ни времени, ни добра,— «разве не душка?» — думала про себя Клавочка.

В неслыханном оживлении и щедрости, с какой разбрасывала она улыбки и теплоту своих мягких, подушечками, ладоней, был, однако же, расчет: на чужого мужчину Клавочка теперь не глядела, и лицо ее делалось даже скучным, точь-в-точь как у воспитанного человека при виде людей, считающих деньги. Приличное равнодушие, зевок в пол-отворота, «я лучше у себя подожду»,— социальная угроза отпала, в поведении Клавочки наметился перелом.

— Я в кооператив, а ты чего?— шепнула Клавочка мужу таинственно.

— Иди, иди,— рассеянно ответил начканц, махнув рукой.

Отходя, она пересмеивалась, равняла шаги с соседками, и если б начканц имел время взглянуть через плечо, он увидел бы, что женщины спускаются по косогору, для чего-то избрав в кооператив самую дальнюю дорогу, низом.

Погода — нельзя сказать чтоб располагала к прогулке. Вот уже дней пять, как на участке шел снег пополам с дождем. Наверху, на Чигдымском шоссе, там подмерзло и ветер гнал гвозди в лицо — оледенелые длинные снежинки. А на самом участке грязь была — не вылезти. Прыгая, где по камушкам, а где по дощечке, Клавдиванна явно тянула спутниц по дальней дороге, судорожно и весело пощипывая их, в знак общей тайны. Женщины, уступая, шли.

Там, рядом со складом, был самый забытый барак, да и самый грязный притом. В отличие от семейных, он высился холостяком,— ни лужи, ни кровяных пятен от резаной курицы, ни мусорного ведра, на окнах — ни занавески. Крыльцо к ночи не запиралось, а так и било по ветру, мешая другим спать. Но зато обладал барак странными собственными предметами, заменявшими

жилые предметы прочих людей: по коридору стояли длиннющие палки, крашеные, с цифрами; лежали на столе цепи, веревки, катушки. В сарайчике, когда он заперт, неподвижно на трех ногах дожидались какие-то непонятные звери, треножники и ящики с тонкой штукой, теодолитом. Даже простой рабочий швырялся возле сарая всякими иностранными выражениями, вроде «нивелир», «экер», «мензула», «бусоль». Но сколько ты там ни швыряйся, уважать тебя за это не станут.

Ни одно место на участке не пользовалось меньшим почетом, нежели этот барак, где жило «хулиганье», как тихонько, холодком обдавая, определяла Клавочка,— публика бессемейная, с неистовым аппетитом и малой способностью считаться с салфеточками, или стульями, или мытым полом в другом бараке. Уходя раньше всех, еще до зари, эта публика позже всех, когда в столовке ничего уже не оставалось, возвращалась с работы, и знай лезет по комнатам, выпрашивая где кипяточку, где хлеба, где просто «нет ли чего пошамать»,— вульгарностью этой просьбы в ком хотите убивая добрососедское намерение угостить.

«В деревнях от них стоном стонут»,— рассказывала жена счетовода, у которой в деревне имелись родственники-кулаки.

Короче сказать, в бараке жили техники, изыскательная партия,— начальник партии, старый техник Гришин, его помощник Айрапетьянц и десятник. Изыскатели отнюдь не считали себя последними людьми на участке, тем более что, по совести говоря, они были первыми.

Еще когда и бараков не было, да и сам Мизингэс неизвестно быть ему или не быть, Гришин с Айрапетьянцем и десятком других, осев на деревне, взяли под ноготь всю эту местность, обшарив ее треножником вдоль и поперек,— днем они шарили — их длинные рейки шагами мамонтов, равномерно туда и сюда, утыкали пространство, исшагав его треугольниками; а ночью при лампе распухшими от ветра и стужи пальцами держали чертежное перо, и на бумажном поле квадратиков вставали — странным подобием все тех же шагов мамонта, движений реек — стройные и косые леса трансверсалей: техники заносили местность на план.

Земля со всей ее сложной прелестью, оврагами и пригорками, лесами и скалами, уминалась тут в точках и линиях, разглаженная, как примятое платье. Сейчас

Гришин с Айрапетьянцем заканчивали последнюю съемку на верхнем склоне каньона; им оставались проверочные работы по большому напорному туннелю да трассировка подъездного пути в тупичке.

В бараке с ними жил Фокин, сюда приходил ночевать Ареульский с вертушкой и своим неизменным Санчо Пансой, Мкртычем, когда позволяла Мизинка; и сюда же из комнаты для приезжих начканц временно переселил Арно Арэвьяна,— можно сказать, на свою голову переселил: рыжий, сдружившись с техниками, вместо расчета засел в изыскательной партии за рабочего.

Не дойдя шагов десяти до барака, Клавочка заволновалась еще пуще. Остерегая соседок, шепотом повторяя им, как и что надо, Клавочка не могла унять дрожи в локтях и, стягивая платочек, даже шепнула: «Ой холодно». Ей и всерьез стало холодно от волнения и завлекательно интересно, когда, мелким шажком, кошкою, подкрадываясь к крыльцу, она снова и снова шептала спутницам: «Душечки, милочки, не забудьте!»

Но женщины не забывали. У них был заговор. Жена Маркаряна втянула губы внутрь, пышные плечи в собачьем меху распрямила и первой, ступая по шаткой лестнице, поднялась в барак. За нею, хихикая в руку, дробно прошла счетоводова жена, а Клавочка замялась — «живот болит», но тут же, сияя глазами и вздернув ноздри, как у деревянной лошадки, бледная от волнения, холодея, со стиснутыми ладонями, шибче всех поднялась по ступенькам, обогнала обеих и постучала к рыжему.

И все-таки в этой комнате, как ни ругай, было славно,— рыжий сидел на длинной лавке, возле него на подоконнике стояла кастрюля, стены увешаны ружьями, рюкзаками, седлами на рваных ремешках, а на столе, в ожидании путешествия, чей-то готовый мешок и дорожная фляга в парусине. Рыжий приподнялся, держа пальцем место в книге, которую он читал. Глаза у него покраснели слегка под разбитыми стеклами и были сейчас вопросительно, почти раздраженно, устремлены на помеху.

«Гришина дома нет»,— хотел он сказать. Но в дверях жались женщины. Ежилась толстая Маркарян,— она, как было у них условлено, должна была первой сказать фразу и заученным голосом начала:

— Вы знаете, товарищ Арэвьян, мы в клубе спектакль хотим ставить, пьесу «Тайный бандит»...

— А, пустяки, не в спектакле дело,— вдруг подвела экспромтом Клавочка, быстро проходя в комнату. Она обдумала эту сцену давно — взять рыжего неожиданностью. Заставить выдать себя — как-нибудь, чем-нибудь. Помочь мужу своему, начканцу, выявить подозрительного человека.

Беря страшные клятвы с соседок о молчании, она им, как роман с продолжением, рассказала кое-что о рыжем, разукрашенное собственной фантазией. Два факта, никому не известных, личное ее достояние, составляли «документальную» сторону этого криминального романа: во-первых, рыжий был раньше (обратите внимание — раньше,— когда же это, при дашканах, что ли?) «агитатором», сообщено Аршаком; во-вторых, об адресе рыжего справлялся угрозыск,— источник тот же, но подтверждаемый письменно.

Дамы заранее поделили роль, как и что сказать. Но, хорошо все обдумав, Клавочка вдруг сорвала приготовления лобовой атакой. Ее охватило вдохновенье:

— Не в спектакле дело, хотя там действует тайный бандит на стройке. К нам, Арно Александрович, следователь из угрозыска приехал, сейчас, сию минуту. Будет вести допрос. Будет нас спрашивать. Чего мне сказать? Аршак под большим секретом сообщил мне... а я вот не знаю теперь, нужно ли это власти передать или смолчать,— как вы скажете?

— Да в чем же дело?

Она вдруг взяла рыжего обеими руками за воротник амазонки и притянула немножко с балованным видом очень хорошей знакомой, и зеленые, вывернутые, блестящие глаза ее уставились в разбитые стекла рыжего с неистовым, почти страстным любопытством,— правда? Она для приятельниц вложила в вопрос таинственное нечто, понизя голос до глуховатого шепота:

— Вы же ведь раньше-то были *агитатором?!*

(«Примечайте, все примечайте, глаз с него не сводите!» — говорил ее шепот двум другим женщинам.)

Но рыжий не вздрогнул, не побледнел и не упал в обморок, как они втроем ожидали, а очень спокойно снял руки Клавочки с воротника, словно отцепляя налетевшую жужелицу или же колючку, и кивнул, здороваясь, в сторону двери,— там уже с минуту стоял Степанос, не без удивления наблюдая сцену.

— Товарищ Степанос, вы за книгой? А я и кончить не успел. Войдите, войдите, товарищ Степанос.

Женщины неловко столкнулись в дверях с новым посетителем, выбираясь из комнаты.

Для Степаноса книга, которую он дал рыжему с условием прочесть в один вечер, была только предлогом. У него была дружба с рыжим. Он говорил ему «ты», хотя тот обращался к Степаносу на «вы».

Не изменяя себе, учтивый, как старички на пенсии, рыжий придвинул табуретку к столу и пошел запереть за женщинами. Но в воздухе контрабандой осталась женственность — смесь валерьянки с китайским чаем, влажный, как насморк, запах весны, даже мокрый собачий мех жены Маркаряна вливался в букет особым привкусом. Это был воздух, невыносимый для него. Чувствительный к запахам, он, вместо того чтобы запереть дверь на ключ, как собирался, взял да и распахнул ее настежь, изменяя обычной сдержанности и протестуя вдруг всем своим большим телом против всеобщей мании конспирации, охватившей участок.

— Нет, ты дверь закрой все-таки, будет разговор,— негромко предложил Степанос. Он хотел знать перед бюро настроение беспартийных на участке, о чем и как говорят. И собирался выспросить об этом у серьезного человека, рыжего.

Между тем три женщины спускались в кооператив уже не в обнимку, как раньше, а гуськом. Стало по-настоящему холодно, Клавочкин нос посинел.

Вышло или не вышло?

— А вы заметили, как он перевел разговор, точно и не его спрашивают? — сказала жена счетовода.

— И голос не дрогнул, вроде опытного преступника! Я таких типов по книге знаю,— прибавила жена Маркаряна многозначительно.

Русский язык Клавочки был милей и натуральней. Она берегла его про себя. Она подумала,— в опадающем платьице вокруг колен, когда шла за ними самой последней, потеряв уже удовольствие от прогулки, было что-то похожее на зевоту,— платье зевало, как и сама она, пережив возбуждение: «Сволочь ты, вот кто!»

III

В пять часов было объявлено бюро, но члены бюро, кроме восьмого, Фокина, с двух часов испытали потребность встряхнуться, запереть присутственное место или же просто выйти из комнаты, где сидят,— каждому бес-

сознательно чувствовалось, что надобно приготовить себя к бюро.

Один Фокин преспокойно орал на рабочих в туннеле, вырывая трамбовку,— работы шли из рук вон.

Доведенный до хрипоты, Фокин сел на бочку и вытерся рукавом,— может быть, день, сумрачный день, тучи, большое давление, может, малярия,— жужжит что-то в ушах, как от жара, но факт тот, что и Фокин стал частью этого разлаженного и никуда не годного целого: лодыри, стукачи, лапотники,— ругался он про себя. Инерция большой работы сегодня разбита, не вытанцовывалась работа.

Может, иной поэт какой-нибудь, сидя у себя при спущенной шторе за столом, с отчаяния грызет ручку и думает, что не пишется, нет вдохновения,— может, такой поэт и не знает,— а стоило бы ему заглянуть в смущенную душу Фокина,— что не для стиха только, а для каждой большой работы, для пилы, для молота, для трамбовки, черт побери, требуется вдохновение, та слаженность, согласованность, «само пошло», маслом смазанная дорожка усилия человеческого, то, чего нет сейчас в любимом туннельчике, и Фокин сидит, обтирая бесплодный пот, готовый лезть на стену. Только сегодня ничем не прошибешь рабочих,— выдался такой день. Давление. Или малярия? — а ну, на ночь хины выпить!

Но пока Фокин борется мыслями со странной, тупой разлаженностью, обступившей, подобно тучам, работы в туннеле, другие члены бюро, каждый по-своему, переживают нечто, похожее на фокинскую малярию.

Переживает ее начмилиции Авак, идя по шоссе и торопясь идти, чтоб поспеть в участок раньше машины: он был внизу, на станции, и пошел пешком, только чтоб не столкнуться с Левоном Давыдовичем. Честное круглое лицо Авака и подкинутый под самый околыш взгляд (так иной франт подкидывает фуражку, как у него — глаза) кажутся невыразительными, но сердце Авака обуревают сильные чувства. Вот если б взорвалась сейчас бочка на пороховоим складе, куда поставлен любимчик Левона Давыдовича, хромой Никита! Или вот если б вывалила машина начальника под откос,— зубы скрипнули бы, если б позволил себе Авак припомнить сценку возле кузни и собственное трусливое молчание,— не сумел, дурак, ответить.

Как дремоту, сбрасывая такие мысли, начмилиции силится думать о другом; он говорит себе насильствен-

но: «Ай, нехорошо»,— насчет положения вещей на участке, но взгляд его, против воли, выжидательно ищет внизу, где тоненько, через туман и слизь очень плохого, почти уже темного дня заблестели огонечки,— признаков суеты, катастрофы, чего-нибудь необычайного и неожиданного... Кажется, еще лишняя капля — и этот исполнительный, сдержанный парень забудется до непоправимого.

Огонечек горит в дизельной. Там член бюро, Амо, тот, что оброс не по возрасту бородой и чья прокурорская речь гремела по поводу Сукясянца, тоже волнуется нынче,— он снова готовит речь. Комсомольцы, зашедшие к нему, распаляют прокурора. Каждый принес новость: классовая борьба на участке; верней — наступление на рабочий класс! Вы можете, как хотите, отрицать эту борьбу, но, нагнув молодую голову, крепкий корешок шеи, сочный, словно морковка какая-нибудь, бородач, поблескивая умным и знающим взглядом, заносит по-армянски в блокнот:

«Пункт первый — увольнение, под предлогом сокращения штатов, именно тех, кто выступал с критикой. Пункт второй — явно бессмысленное увольнение,— Аветис со склада. Там штаты не сокращаются. На складе идет работа, склад получает по накладным. Оставшиеся перегружены. Будут нанимать на место уволенного другого рабочего. Так — для чего же? Пункт третий — рабочим не сделали доклада о причинах провала проекта, о возможном новом проекте, работа вслепую. Пункт четвертый — драмкружок. Засилие мещанской публики. Шкура барабанная (жена счетовода не пожелала играть с рабочим: «От него пахнет»,— и не разрешила по ходу пьесы обозвать ее «шкура барабанная», а вместо этого «дурочкой»)...»

Здесь пишущий плечами пожал,— дальше некуда! Кто они на участке? Наемная сила? Кто их хозяин? Капиталист какой-нибудь? Где они на географической карте?

Кинув окурок в плевательницу (курить запрещалось, ходивший в дизельной приезжий инженер-электрик невзначай оглянулся на Амо), прокурор дописал пункт пятый: «...распределение в коопе. Когда ни придешь — дамы с корзинками, отпуск в первую голову «чистой публике», рабочий не получает молока, масла, ждет лишнее время...» Впрочем, это уж по себе бить, по своему же члену бюро!

Как раз в эту самую минуту, примерно к двум часам, почти к закрытию, в лавочке кооператива рабочие ждали «лишнее время». Не то чтоб в очереди. Очередь была,— они загодя запомнили, кто где. Но отпуск продуктов затормозился. Заведующий кооперативом с улыбкой на лунном лице,— улыбка была, впрочем, неспокойная и скорее по привычке,— отодвинув покупателей к сторонке, делал подсчет. Он спешил кончить пораньше, потому что и он тоже перед бюро,— а бюро будет серьезное, драться будем,— испытывал неприятное, нехорошее чувство,— то ли выйти, то ли дело докончить, но что-то сделать, округлить как-то день; и он эффектно щелкал костяшками, закругляя день.

За его спиной, на стоячих весах, чей-то мешок с недосыпанным рисом вздрагивал, и рисинки падали, как капли с усов,— рабочий ждал, положив локти на высокую доску прилавка, а за ним налегли десятки других.

Лампочка светила скудно. Полки перед рабочими мерцали последовательным строем продуктов, маршировавших группами и со знаменами,— армия эмалированных чайников с белой дощечкой: «два сорок»; вихрь черных шнуров от ботинок, сплетенных, как змеи, под знаменем «по паре в одни руки»; пирамиды папиросных коробок; жестянка с сухими галетами, «400 граммов на пайщика»,— кому время, смотри, изучай, разбирайся взглядом, потому что нет вещи не поучительной, не способной лечь мостиком к выводу, не показательной для широты-долготы.

Но тут, прерывая, может быть, иной любознательный ход мыслей, на полки с продуктами легла пышная тень,— между рабочих пробирались жена Маркаряна, Клавочка и счетоводова, успевшие запастись плетенкой и посудиной.

— Мне, товарищ, только бы тертых помидор,— щи варятся.

Умоляющая гримаса хозяйки и ее беспокойный взгляд по полкам. Заведующий кооперативом, со вздохом оставя костяшки, поднял с весов мешок с рисом; потом привычным жестом поставил на весы, где еще блестели одинокие рисинки, посудину и ловко, из-под зажатых пальцев, на другую чашку весов — сперва камушек, потом другой, третий,— весы пришли в равновесие. Лизнув палец, которым она, свесившись всем телом, ковырнула откуда-то масло, жена Маркаряна деловито

смотрела, как густою кровяной гущей стекает в ее посудину пюре из помидор: щи не ушли бы!

А день и совсем стемнел. В начале третьего зажглись огоньки в бараках, зажглись и большие, качающиеся на канатах, придорожные фонари, в свете их заплясали реденькие снежинки.

Снег, впрочем, с минуты на минуту усиливался,— и вот вовсе нет снега, один дождь,— крупней и крупней дождь; по улице метнулись фигуры, разбегающиеся в разные стороны, словно шпарил дождь клопов сверху,— дети под мешком или куском брезента; три наши дамы под развернутою газетой; запасливый некто под зонтиком,— через минуту на барачной улице ходил только гусь Косаренки, а сам Косаренко с порога глядел на него.

Косаренко глядел на гуся, но думал, в сущности, не о гусе и не о погоде,— не свойственно для себя самого, Косаренко вдруг начал вспоминать прошлое. Хорошее у него было прошлое; да и места были — замечательные места, не чета этой стройке. Северный порт, а потом — Петроград, а потом — Донбасс, мариупольский завод, Красная Армия, опять Ленинградский порт,— за десять лет наберется, о чем вспомнить.

Перебирая события своей простой и напористой жизни, Косаренко остановился на одном — самом ярком. Во все трудные минуты он прибегал мысленно к этому событию. Он черпал из него помощь и совет. И сейчас перед ним встало свинцовое небо Петрограда 1917 года... В конце ноября, число он навеки запомнил,— двадцать второго,— он слушал на Всероссийском съезде военного флота речь Ильича. Теплая волна любви, нежности, преданности, готовности на смерть и любые муки ради революции, ради победы правого дела — опять охватила, как тогда, Косаренко.

Речь Ильича не была застенографирована. Простой хроникерский отчет о ней, напечатанный в тогдашних «Известиях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», до сих пор хранился у него в вырезке, и не дальше как утром он снова перечел полустершиеся строки. Он их наизусть знал, и особенно ему близки были слова: «Нужна твердая власть, нужно насилие и принуждение, но мы его направим против кучки капиталистов, против класса буржуазии. С нашей стороны всегда последуют меры принуждения в ответ на попытки — безумные, безнадежные попытки — сопротивляться Советской власти».

А разве сейчас, на участке, не видать этих попыток? Разве увольнение лучших людей не сопротивление советской власти? Разве шушуканье разных чуждых людей в кабинете чужого человека, инженера, когда в Донбассе инженеры предателями, врагами оказались,— разве это не сопротивление?

«А мы, восемь человек бюро, не то что их принудить, мы сами между собой никак не столкуемся,— додумывает Косаренко гневно.— Да я еще среди них моряк, бывший флотский, к нам, к военному флоту, Владимир Ильич особо обратился, чтоб мы «все силы положили», уберегли единство и сплоченность трудящихся. Но что делать, как поступить, ежели секретарь...»

Что́ именно секретарь, он, впрочем, и себе бы не смог ответить. Ему нажужжали уши о секретаре. Неистребимое «я слышал», «он говорил», «говорят», «рассказывали», «а ты знаешь», «а такой-то»... Даже Степанос, тихий и солидный Степанос, сказал ему вчера, вывернув малокровные, сероватые ладони перед приятелем, словно показывая этим безнадежность положения на участке:

— Начканц открыто заявил, что администрация нажмет — и Агабек вылетит с участка. По начканцу, жена Покрикова, Марья Амбарцумовна, вершит дела. На его мнение наплевать, конечно, а что получается, ты понимаешь? Чем я это мнение в глазах рабочих побью, если завтра снимут Агабека? Марья Амбарцумовна бежит к Нине Амбарцумовне, Нина Амбарцумовна к мужу, муж звонит в совпроф...

— Да ведь он ушел? — прервал его тогда Косаренко.

— Ушел, так не он, другой, третий; будет, одним словом, по-ихнему. И в такую минуту, знаешь, что наш секретарь делает? Ходит по членам бюро и говорит, что Агабек зарвался. Начканца выслушивает. Лично в окошко видел! Начканца слова повторяет. Я Арсена люблю, но, знаешь, у меня кипит прямо, я готов эту тряпку, этого франтика так пронести в газете... а с другой стороны, ынке́р[1], руки опускаю. Какой, скажи, во всем этом смысл? Культработа у меня на нуле, до сих пор из центра лектора не дают, кричат — строительный участок, а отношение хуже, чем собачье.

— Ох, Степанос! На прежней, старой работе разве мыслимы были бы такие разговоры? В Донбассе, в Ленинграде — разве позволил бы рабочий уволить его про-

[1] Ынкер — товарищ *(арм.)*.

тив месткома или рабкора снять — рабкора снять!

А секретарь в эту минуту сидел в комнате Косаренки. Он сюда пришел давно, и разговор между ними выгнал беловолосого Косаренку на улицу — гуся глядеть.

Постояв эдак, Косаренко вернулся назад, нервно высвистывая мотивчик. Он не любил секретаря и считал его слабым. Секретарь знал, что Косаренко не любит его и считает слабым. Но в эту минуту (она, как малая капля в ничтожно маленьком мире, где были они действующими лицами, отражала в себе другие такие же минуты в больших мирах и сильна была общностью, одновременностью с ними) секретарь знал, что каждый из них делает больше, чем свое дело, и отвечает за большее, чем за свое дело. В эту минуту, по упрямой и прочной особенности своего характера, он пришел за советом и помощью не к тем, в ком мог бы найти сочувствие и с кем мог бы, употребив слово начканца, Захара Петровича, «консолидироваться», а, напротив, к наисильнейшему критикану и порицателю, открытому своему противнику, Косаренке.

За час, что они проговорили, секретарь услышал не очень приятные вещи. Он, по словам Косаренки, не имел авторитета на участке, его спиной пользуются как щитом, партийного руководства не чувствуется, рабочий актив сокращен, комсомол без помощи, наплевательство на молодежь, Агабеку поддержки нет, Агабек на свой страх и риск...

— Да ты слушай,— сказал секретарь, когда Косаренко вернулся, своим спокойным и ровным голосом, словно продолжая только что прерванный разговор. Уши его горели. Но в загибе их было опять нечто упорное и неподатливое.— Я с тобой не насчет своих талантов советоваться пришел. Я предупреждаю: ты провоцируешь Агабека. Парень зарвется. Я насчет Агабека пришел. Понял?

IV

А в месткоме все эти дни творилось чистое столпотворение. Входя и выходя, рабочие оторвали дверь барака, и густые мокрые хлопья снега заносили коридор, уже, впрочем, до теста замешанный и залепленный бесчисленными следами.

К Агабеку шли увольняемые с жалобой, остающиеся — за советом. Шли и те, кому просто душа велит от-

вести ее. Сторож Шакар, оживившийся необыкновенно, стал приводить сюда самых неожиданных людей — и уже не с жалобами, а с просьбами, с заявлениями, чуть ли не с исповедями. То это был местный цирюльник, которому необходимо стало перевести все заведение под крышу, и срочно ходатайствовал цирюльник о жилплощади, а также о материале для вывески. То это была группа сапожников, добравшаяся сюда откуда-то из соседней республики, чуть ли не из Ахалкалак. Сапожники тоже требовали внимания и выдачи им хлеба, в чем кооператив упорно отказывал. Приводя их к Агабеку, сам Шакар в комнату предместкома не входил, а становился где-нибудь у наружной стенки барака, под дождем, сияя мокрым, до странности оживленным лицом,— и ждал.

Агабек никого не гнал и никому не запрещал говорить, сколько душа желает. Он стоял возле своего столика, опершись коленкой о стул, и напряженно выслушивал всех приходящих.

Если б был на участке большой музыкант в эти дни, из тех, кто слышит внутренним ухом незримую мелодию человеческого характера, то скрытое от наблюдателя движение в человеке, подобное росту травы, которое, словно годами накапливаясь, атом за атомом, медленней, чем часовая стрелка на часах, вдруг предстает перед взорами уже готовым, уже сделанным, выросшим — в поступке или действии; если б был, повторяю, такой музыкант на участке, он сделал бы неожиданный вывод.

Всегда живой и решительный Агабек, привыкший дело делать сгоряча, еще хорошенько себя не обдумав, казался сейчас до странности пассивным. Он бездействовал, отдавшись всем встречным ветрам, он, как губка, впитывал и впитывал в себя чужие веянья, ничего не высказывая и не выдавая сам. Только напряженное ожидание выдавал он в голосе, в зеленых глазах, направленных на говорившего. В первые дни заварухи на участке, начавшейся с увольнений, это ожидание казалось чем-то почти радостным, почти счастьем, даже скрасившим и омолодившим бледное лицо горбуна. Но со дня на день оживление потухало в нем, и вместо напряженного ожидания во взгляде Агабека проскальзывало все чаще и чаще недоумение.

Он был умен. Он не мог от себя скрыть, что «материал», набираемый им в папке, стал обретать некий

двойственный, нежелательный характер. С одной стороны, его дело как будто было правое дело — он боролся с вылазкой чуждого духа на участке, вылазкой буржуазии, как прямо определил в разговоре с ним Косаренко. Классовая борьба,— большевик должен знать свою ясную позицию в ней. Факты были бесспорные, их все перечисляли по пальцам, о них в стенгазете написано, он изложил в большом докладе, который собирался послать в уезд, а если застрянет там без ходу, то и в столицу республики. Но где-то с какого-то неопределимого, не имевшего четкой границы места начиналось сомнительное.

Поток шедших к нему людей нес с собой, вместе с законным недовольством, которое надо было разобрать, которому он, член партии, поставленный на ответственный пост на стройке, должен был дать по закону ход, и нечто другое, нечто переходившее от одного к другому, как зараза, как зевота или насморк,— нечто, чему он, как член партии, должен был дать отпор. Как это нечто другое поймать, уточнить, определить в слове? Как найти точность образа, точность определения, то предельное, высшее знание, каким Агабек не обладал? Склока — вот, может быть, слово, но нехорошее, приблизительное слово, не полно, а значит, и не точно покрывающее факт. Склока росла на участке, это всякий мог видеть, это горело в больных, горячечных глазах у некоторых рабочих, кстати же сказать — менее всего затронутых увольнением. Даже в себе самом чувствовал Агабек с ужасом этот больной огонек: прислушивался к тому, что говорил рабочим, и вдруг сам слышал, сам подмечал, что в речи его звенят чужие интонации, как врываются иной раз в музыку посторонние звуки — паровозный гудок, кашель, сирена автомобиля. Но тайком от себя самого Агабек гнал это знание, не признавал его, не хотел признавать, потому что, как он искренне думал, оно мешает ему правильно действовать. Думая так, и не подозревал председатель месткома, что именно в эти напряженные дни, не свойственно для себя, как раз и бездействовал он, сделавшись вдруг пассивным.

Подняв глаза на очередного жалобщика, но думая про себя все об одном и том же, о главном, как отделить нужное от вредного, Агабек и не увидел сразу, кто стоит перед ним.

А посетитель тут же опустился на табуретку, не в пример прочим, кто скромно простаивал в комнате, и пронзительным голосом говорил:

— Табельщик жулик. Агабек ынкер, одерни его. Человек злобствующий, выслуживается на нашем рабочем горбу. Один раз обсчитал меня при расценке, я смолчал. Хорошо, думаю, потерплю, поскольку рабоче-крестьянская власть. Жертвую кровью-потом. Второй раз обсчитал при расценке. Нет, думаю, нельзя, не по закону. И что же ты полагаешь,— сегодня объявляет, что гулял я. А где я гулял? Кто видел? Спросите товарищей, все знают. Последний ячмень в деревне доели, сын приходил — плачет, бедный. Айрик, говорит, кушать ничего нет. А этот табельщик, собачья душа! Не дам себя обсчитывать. Что же на строительстве делается, ынкер Агабек, нажим на рабочего идет...

И лишь при этих словах разглядел вдруг Агабек, кто перед ним сидит и тошным голосом, словно пародируя его заветные мысли, тянет неподходящую речь: бывший вор Грикор Сукясянц!

— Ах ты кулацкий подголосок,— неожиданно распалившись, пробормотал Агабек,— думаешь, я не знаю, как ты табельщика два раза обманул? Табельщик добросовестный, честный парень, подкованный человек. А ты лодырь отпетый, много ты для советской власти пота и крови пролил! Иди, иди, не о чем нам с тобой разговаривать!

Выпроводив Сукясянца, Агабек ладонью отер сразу вспотевшее лицо и, отогнув рукав, поглядел на часы. Пора, пожалуй, идти на собрание.

Что-то шевельнулось в нем, похожее на удовольствие. Может быть, чувство внутреннего одобрения, что вот дал все-таки отпор Сукясянцу,— значит, линия между важным и вредным, хоть и не определимая в одном слове, на практике сразу бросается в глаза. И, значит, не вовсе он, Агабек...

Что «не вовсе», председатель месткома додумывать не стал.

V

Поезд, в котором приехал Левон Давыдович со специалистом по бетону, опоздал.

Шофер раза три ходил на станцию, и все три раза буфетчик ставил на прилавок сполоснутую рюмочку. Шофер, выпив, говорил буфетчику, что при такой жизни не только ничего от жалованья не останется, но еще и своего доложишь. К приходу поезда он уже не гля-

дел в глаза и не разговаривал, обиды жизни взволновали его, как если б он прочел о самом себе в книге. Надутый и молчаливый, он подождал, чтоб сели, дернул рычаг, как поводья, и сорвал злость на машине, а если шофер срывает злость на машине — это уж последнее дело.

Машина участка, хоть и была не первого качества и чаще ездила в ремонт, нежели иной зав в командировку, любила хорошее обращение. Раза два на крутых взлетах она съехала назад, причиняя Левону Давыдовичу беспокойство и мешая отдаться разговору, потом пошла быстрее, чем следует, хотя и дорога, и дождь, и камни, налезшие с косогора, не очень-то располагали к скорости. Темнеть стало так быстро, что шоферу пришлось зажечь фары.

На темнеющий день и на эти два глаза, сверкнувшие внезапно на повороте Чигдымского шоссе, глядел снизу старый неряшливый человек без пиджака из окна участковой больницы, стоявшей поодаль от участка.

«Ишь несутся»,— неодобрительно подумал врач; он только что проводил из амбулатории последнего больного и разыскивал, сняв фартук, свой собственный пиджак, запропастившийся куда-то.

Врач на участке был старый общественник, успевший за время службы по промыслам и фабрикам насидеться до революции в тюрьмах и побывать в разных далеких местах административной высылки. Он основательно обрусел и давно позабыл армянский язык. В его носу, по-старчески тяжело висевшем на лице, в его пожелтевшей вокруг рта, растрепанной бороденке был явный староинтеллигентский дореволюционный стиль. Такими же были и манера носить подтяжки, и староинтеллигентский формат очков в золотой оправе. Он все-таки не успел найти пиджак. Разговаривая сам с собой в поисках пиджака, врач, неряшливый в личном быту, но педантически аккуратный по службе, занимался одновременно установкой флаконов, щипцов, ножниц, остатков марли и ваты — каждой вещи на свое место — в стеклянном шкафу, да так, без пиджака, с ворохом вещей вдруг и подошел к дверям, когда постучали.

Стук был сильный, хозяйский.

— Амбулатория заперта, прием закончен! — пискляво прокричал врач, подойдя к двери.

Но стук повторился и усилился: стучал взволнован-

ный Левон Давыдович, весь в грязи и глине. За ним виднелась длинная и тощая фигура очень стройного, в талию, специалиста по бетону. Он не был выпачкан, но именно он-то и пострадал: левый рукав на локте был дочиста содран и по руке сочилась кровь. Автомобиль вывалил их вниз.

— Э-ге,— протянул доктор,— вы меня извините, я без пиджака. Я это заранее знал. Входите скорей; так, знаете ли, нестись, как вы неслись,— это сумасшествие. Как вы сказали? Товарищ Гогоберидзе, Вахтанг Николаевич? Очень приятно, у меня слабость к грузинам. А ну, пройдите туда к столику,— сейчас займусь вами, вот только фартук надену. Удивительное дело у меня с пиджаком: как исчезает, значит, преждевременно, значит, будем еще фартуки надевать, фартуки-с надевать-с!

Надевая фартук, старичок присматривался к новому человеку на участке. Тот стоял молча.

Специалист по бетону был еще очень молод, но строг по наружности («Коммунист»,— подумал врач.) Он был в высоких сапогах, его новенький френч затянут на стройной и тонкой, чересчур тонкой, талии узеньким ремешком. Смуглое и длинное лицо, сейчас не побритое, видать было, что очень скоро зарастает,— волос опушил его чуть ли не с самых подглазниц до шеи. («Туберкулезный»,— опять решил врач, профессионально оглядывая длинное тело и узкий провал груди, узкие, почти детские плечи.)

— Сядьте, Вахтанг Николаевич, я сейчас.— Он мыл руки, теребя ногти сломанной, плохонькой, почти безволосой щеткой. Не без расчета он тер долго.

Начальник участка, редкий, можно сказать небывалый, гость в больнице, ходил сейчас вдоль по комнате, разглядывая амбулаторию.

«Ходи, ходи, братец. Разглядывай наши прорехи. Просишь, просишь — от тебя шиш с маслом»,— редко кого ненавидел так старый врач, как именно злополучного Левона Давыдовича.

— Скупенек у нас Левон Давыдович,— подмигивая грузину, сказал он, вытирая руки.— А ну, покажите, с чем вас поздравить. Царапина, больше ничего. Зашить надо. С полчаса времени займет, если позволите.

— Полчаса я не могу ждать,— вмешался Левон Давыдович, пропустивший мимо ушей «скупого»,— вы меня простите, товарищ Гогоберидзе...

— Вы в конторе будете? Я туда приду; вот, может быть, доктор даст кого-нибудь проводить.

— Я сам за вами пришлю, фаэтон пришлю.— С этими словами Левон Давыдович вышел.

Промывка раны — дело грязное, но старичок именно это дело любил и молча делал, сощурив старые, мохнатые глаза. Пальцы его после мытья были холодны и нетверды по-старчески, вату он экономил и поворачивал кусочек в руке чистым местом, покуда весь его не использует. Однако же зашивка вознаградила сторицей. Узнав, что приезжий — коммунист, врач необыкновенно оживился. С коммунистами он считал долгом побеседовать, излагая до тонкости свою собственную принципиальную точку зрения,— а сейчас на участке был острый момент, сейчас на участке такое, с позволения сказать, творится,— все старое, похороненное, казалось бы, безвозвратно на дне души, вдруг, словно свежей водой политое, зацвело в старике и даже побеги дало.

— Я старый народник, товарищ Гогоберидзе, в тысяча восемьсот девяносто седьмом году я... минутку, вон ту баночку с йодом, рядом, да, да, спасибо, дружок. Вы человек молодой, так вот что я вам скажу, я не марксист, чуете? Не марксист, нет-с. Я и в анкетах прямо пишу: принципиальный вопрос, социалист, но не марксист. Вытяните руку, еще вытяните. Так, а теперь штопать вам руку будем, пластическая так называемая операция. Я и за хирурга, я и за зубного, я и за акушерку на участке... Нет, для народника, для человека моей культуры — Маркс узок, товарищ Гогоберидзе, узок Маркс. Это я прямо говорю каждому большевику в лицо. Не та для нашего поля действия фигура нужна, темперамент не тот. Как вы себя теперь чувствуете? Хорошо? Минуточку, одну минуточку,— с таким, как вы, свежим человеком поговорить для меня — отдушина.

Старичок, сорвав с пальцев налипшие куски ваты и марли и похлопав для чего-то ладонями в воздухе, сунулся в другую комнату.

Там он жил. На неубранной и неуютной постели, на столе, под столом, на табуретке у старика валялись книги — желтоватые, залитые чаем и жиром, закапанные стеарином, с воткнутыми, для памяти, огрызками спичек, веточками, карандашами,— он подхватил желто-красный потрепанный томик и, выбежав к специалисту по бетону, нашлепал книжку, как шлепает акушерка новорожденного.

— Вот-с. Читали? Вам, в вашем возрасте, эта полемика ничего не говорит, а мы ее нутром знаем, чуете? Капитализм для народника, для человека старой культуры, для общинников, для старой русской общественности — чем, я вас спрашиваю, был капитализм? А первые-то наши марксисты, Ленин, для них, я вас спрашиваю, чем был капитализм на Руси? Вы не помните, а я помню, наш брат, подпольщик, помнит. Мы с первыми марксистами во́ как дрались. Больше я вам скажу. Бей буржуя — это наш лозунг.

Он налистывал книгу все еще грязными от крови и марли пальцами. Он не видел вежливой скуки, даже досады грузина, искавшего глазами часы,— в амбулатории часов не висело. Свои часики грузин разбил вдребезги, когда вылетел из автомобиля. Он не слушал, что ему болтает старик, а врач все налистывал книгу, останавливаясь, чтобы прочесть две-три фразы и снабдить комментарием,— старинные споры, удел мемуаров, учебников политграмоты, давно ставшие историей, вдруг ожили в этой голой, со стеклами вдоль стен, комнате, где стоял собачий холод, холодней, чем снаружи. Фаэтон не показывался.

— Не наша, не нашего человека фигура Маркс,— вдруг громко, над самым ухом грузина прозвучал голос старичка: врач держал его за плечо.— Хотите знать мое личное мнение? Вейтлинг — вот это фигура для нас, Вейтлинг — да. Борец, рабочий, бродяга, вольный тип, ветер, человек без предрассудков, без этой сидячей, без этого, как бы сказать, цирлих-манирлиха, рассудочности, скрупулезности, фармацевтики,— тоже ведь немец, а свой человек. Я Вейтлинга чувствую, а Маркса не чувствую. Ну, вот хотите не хотите — не чувствую.

— Скажите, у вас есть часы?

— Часы?!

Врач положил книгу на подоконник и стал снимать фартук. Часы у него были в пиджаке, а пиджак, черт его знает, куда запропастился. Впрочем, он вспомнил вдруг и почти с облегчением сказал пациенту:

— Часы у меня с четверга стоят.

Он и сам не заметил, как словно надпись сделал под собственным портретом,— надпись для дружеской пародии.

«Какие, однако же, тут ихтиозавры водятся»,— удивленно подумал про себя специалист по бетону.

В том, что до сих пор не было лошади и приезжего

позабыли в берлоге у старого говоруна, Левон Давыдович, по чести, не был виноват.

Он почти бегом дошел до дизельной, с которой и начинались первые бараки, и отсюда еще по телефону заказал лошадей, но кучер ушел неизвестно куда, а помощник кучера, прежде чем самому запрягать, сделает все от него зависящее, чтоб дождаться кучера и увильнуть от работы. Он ходит с кнутом от конюшни до грязного барака, где живет вместе с кучером, и все поглядывает, не покажется ли тот.

Сам же начальник участка, дойдя до конторы, немедленно и с головой влип в работу, даже забрызганное пальтецо не снял.

Повернув голову над бумагами, пододвинутыми Александром Александровичем, через стекло свой будки он встретил взгляд Захара Петровича — «кстати, Захар Петрович!».

— Здесь,— весело, с задушевностью ответил начканц.

— Вот что, Захар Петрович...— Начальник участка водил глазами по канцелярии и не видел рыжего. Все-таки он понизил голос: — Помните, я предупреждал — не мое дело? Так вот, этот архивариус ваш, каков бы он ни был работник,— нужно его убрать, немедленно убрать с участка, за ним из угрозыска следят, и хороши вы будете, если явятся сюда арестовывать. Он, может, вор какой-нибудь беглый, я, право, не разобрал, в чем дело, но он определенно под наблюдением.

— А-ах! — вырвалось у начканца.

— Это я не от себя. Приказ. Приказ от начальника строительства,— поняли?

— А-ах! — еще отчаянней простонал начканц.

Ах, черт его побери, как он влопался! За всю свою долгую службу ни разу, ни разу не влопывался так несчастный начканц. Недаром сосало у него под ложечкой. «Кто,— ну скажите, ей-богу, кто поверит, что взял человека по одной внешности, так, здорово живешь, с пьяного ужина, имени толком не дослыша?.. Кто тебе поверит, дурак ты!»

— А-ах, Левон Давыдович, убили вы меня своими словами. Я ж его сократил, да разве мы на участке хозяева? Местком его опять взял. Вместо десятника у Гришина,— и ведь ушел сейчас с изыскателями, наверх ушел, двое суток прошляется,— где я его искать буду?

Нет, даже начальник участка в эту минуту не понимал отчаяния Захара Петровича. Страх, больше того —

ужас овладел человеком. Приложив руку ко лбу, молча озираясь вокруг, начканц не сел, а прямо плюхнулся перед Левоном Давыдовичем на стул: вот оно — оправдалось, вот тебе и не верь в предчувствия.

— Имейте в виду,— голос Левона Давыдовича стал сух и визглив,— в этом деле ответственность несете целиком вы. Я не знаю этого человека. Я его не брал. У меня достаточно своих неприятностей. В управлении...

Уж конечно, в управлении он все взвалил на него, на начканца, можете не сомневаться! Но не таков был Захар Петрович, чтоб не забрать себя тут же в руки: еще сидя, рука на лбу, в хаосе мыслей, он начинал прощупывать ниточку, едва видимую ариаднину нить,— спасение для себя.

Не отвечая, он встал и пошел из будки.

Глава двенадцатая

ПАВОДОК

I

Погода, я вам доложу!

Мимо начканца быстро прошагал, завернувшись в плащ, сумрачный гидрометр Ареульский; он спешил вниз, к реке, откуда рабочие посылали тревожные сообщения. Мизинка, с утра вздувшаяся, безостановочно поднималась.

Застряв в реке, крестьянская арба показывала подъем воды. Мужик накручивал волу хвост, но, расставя ноги, вол не двигался, а вода все прибывала вокруг него и вокруг застрявшей арбы — так тебе и переехал реку!

Впрочем, на все эти мелкие подробности и даже на странное появление Аветиса в кожанке (вернулся парень), о чем-то пересмеивавшегося с плотником Шибко́, и на уход из конторы начальника участка, тоже вниз, к реке,— на все это, занятый своими мыслями, как-то недосужливо отмахивался Захар Петрович,— в характере его была черта всех сильных личностей: бессознательно верить, что события подождут, покудова им, личностям, недалечко сбегать по своей надобности.

Своя надобность — ариаднина нить — вела его домой, но не прямо домой, а, чтоб найти время оформить мысли, вокруг всего участка, по косогорам и людным местам,— на людях Захару Петровичу думалось легче,

чем в одиночестве. Потребностью быть на людях он как бы заботился о некоем внутреннем алиби. На людях Захар Петрович, как еж на иглах, чувствовал себя сокровенней и безопасней. Он имел свойство делать множество посторонних и успокаивающих зрителя движений — высмаркивался, за воротником тер носовым платком и долго потом глядел на платок, скоблил чем попало переносицу, а чаще рылся в карманах, щуря глаза на извлекаемые оттуда бумажки и бумажонки, будто бы никак не находя нужную,— это последнее он проделывал виртуозно. Мимо подобной занятости текли люди, воспринимая Захара Петровича как в своем роде пустое место; читатель и по себе знает, стоя где-нибудь в очереди или в трамвайной коробке, сколь успокаивает его при разговоре подобная занятость соседа.

Суетливо-отсутствующим придатком к этому дню, полному всеобщего беспокойства, прошел Захар Петрович по людным местам и застрял в столовке, где ел долго и канительно, присматриваясь к каждому куску на вилке и чуть ли не поднимая его на свет.

План, мелькнувший в уме его, зависел до некоторой степени от исхода бюро,— но вот узнай-ка об исходе бюро! Впрочем, по разным причинам бюро как будто и вовсе не состоялось. Заведующий кооперативом, воздев лунное лицо над борщом, был тут; начмилиции Авака спешно вызвали с тремя милиционерами к реке; Агабек все еще сидел в месткоме — видать, и нескоро соберутся.

Обтершись по-простонародному горсточкой и с ладони заброся в рот оставшиеся крошинки хлеба, Захар Петрович встал наконец,— будто это в царские времена, где-нибудь на службе среди крестьянства, он поискал бы образ в углу, чтоб накрестить усы, потому что начканц Захар Петрович любил пластику и обычай, но сейчас он только отрыгнул, больше для красоты, чем из потребности, и вышел.

Его сразу обдал ветер с дождем. Было почти темно, темнело с каждой минутой, перемена произошла во всем. Люди мотались под дождем взад-вперед, не жалея сапог; жены их высыпали с ребятенками, глядя из-под ладони; подняв длинную юбку, сухая, прямая как палка, пугая архаизмом своей одежды гусей на улице, прошла по дороге жена Левона Давыдовича. И наверху, будя ночь архаизмом своего появления, словно откликнулся кучер Пайлак: он гнал, раскинув руки с

вожжами, крысоногих лошадок, улюлюкая сквозь вой и свист ветра многозначительно, важно, охваченный близостью надвигающейся катастрофы, и его старомодная, с высоченной приступочкой, лихо отзванивавшая повозка подскакивала, как пустая жестянка из-под молока, на каждом придорожном камне.

Все словно кинулось навстречу чему-то выросшему впереди, как растет морской вал в бурю. Странная парниковая теплота была в воздухе после утреннего мороза,— стало ясно, что, кроме ливневых вод, в эту ночь хлынет сюда тающий по горам снег: тепло охватило снег, как ломота схватывает тело.

Внизу при вспыхнувшем электричестве горсточка людей суетилась на месте работ. Спешно снимались буровые, где еще осталось оборудование; люди таскали брезент, свернутые кольца шнуров, деревянные шесты, доски. Вол так и не вывез арбу из реки: он шел, распряженный мужиком, по половодью, задрав свой накрученный хвост, и безостановочно облегчал желудок, но не было свидетелей воловьей нервозности. Мокрый лориец глядел с берега на перевернутое брюхо арбы, плывшей, задрав колеса, к мосту — не выловить, не спасти арбу.

В быстроте надвигающейся катастрофы было нечто ритмическое, подобное танцу, и тем удивительней, что первые такты, можно сказать, мимо прошли Захара Петровича: сдвинув картуз на затылок, он попросту направился домой.

Клавочка лежала с ногами на одеяле, подушка на животе. Клавочка была расстроена: соль просыпала, да еще в пятницу. Придя из лавки и чувствуя боль в пояснице, она, раздражившись, метнула покупки на стол — весь день был такой неудачный, обидный для нее,— и тут-то и просыпала соль. Этого еще не хватало — с мужем поссориться! Правда, она тотчас же перебросила через плечо, как полагается, три щепотки, и верный заговор произнесла, известный от покойной матери, тоже трижды: «Сухо дерево — нынче пятница»,— но кто его знает, действуют ли еще заговоры при большевиках. Все на свете они перевернули. Праздники люди забывать стали — беда с числами. Великий пост — а поди-ка найди тут сухих грибов щи заправить или квашеной капусты. Квашеную капусту великим постом Клавочка любила страстно. Ей казалось — и поясница у нее болит от буйволиного молока, пахнувшего дымом, и от надоевшей до одури баранины. Решив, что нынешний день —

все равно пропащий день, Клавочка разлеглась на кровати.

Но удовольствие от лежанья и от приготовленного на этот случай грязного томика Оливии Уэдсли с мешочком изюму было омрачено просыпанной солью. При виде мужа она скользнула ногами на пол, подушка у живота.

— Заря, я соль просыпала.

— Подумаешь, золото.

— Да ты слушай: в пят-ни-цу! У тебя есть неприятность?

— Лопаешь изюм непромытый, а в деревнях брюшной тиф.

Он явно избегал разговора, а это была неприятность номер первый. Захар Петрович брезговал ревновать. Мелкие подробности семейной жизни он смахивал со счетов, как полушки при сведении баланса, но нынче во всем: в запахе жилья, в мягких складках Клавочки,— ее расслабленных локоточках, уткнутых в подушку, и бледноте распущенных по-бабьи щек,— чудился ему недопустимый дух, чужое присутствие, прямо сказать — присутствие рыжего, о котором, быть может, мечтает собственная жена его,— а, чтоб!..

— Я тебя предупреждала...

— Лучше молчи — предупреждала! Весь день шлюхой вокруг него ходишь; предупреждала! Сама же и в городе его выискала неизвестно как,— фактически ведь это ты мне его, матушка, нашла, а сейчас «пре-ду-преж-да-ла»!

Клавочка подняла рукав к носу и заплакала. Она всхлипывала с удовольствием, потому что пятница — доказательство; но, перескакивая с мысли на мысль и сквозь всхлипывания угадывая несвязную мужнину речь, деловито додумывала в эту минуту: хорошо ли?

Самому куда следует загодя написать — это дело. Это и была «ариаднина мысль» начканца...

Тотчас же угадав ее, Клавочка сама, сквозь всхлип, прибавила в семейную «кассу» и от себя малую толику: «Сейчас на Агабека везде косо смотрят!» Не муж в конце концов, а сам предместком Агабек без биржи принял рыжего, да еще уволить мешает. Главное — ты его уволил, а он наперекор опять принял... Увлекшись, она вскочила с кровати и уронила подушку на пол.

— Пиши так, Заря, пиши, что ты узнал, что про него в городе московский человек, интеллигентный член профсоюза, можешь при случае фамилию назвать,— я тебе

тогда сообщу, открыто говорил, будто он занимался агитацией...

— Агитацией? — Захар Петрович уставился на жену. Он даже кулак сжал от неожиданности. Дурак дураком предстал он сам себе в эту минуту.— Значит, ты (крепкое словцо сорвалось у него) все время знала и собственного мужа под суд подводила?

Ничего она не знает и не подводила; горькое действие рассыпанной соли в пятницу, неумолимая примета, подвергшая Клавочку роковой участи, почти пьянила ее сейчас своей неизбежностью. Ее даже тошнить стало; рыская в шкафу, где лимон, по засаленным за неделю тарелкам, в суете посыпавшихся немытых ложек, попадая пальцами то в муку с мышиным пометом, то в варенье, в открытую помаду для лица,— только бы опять соль не просыпать,— стояла Клавочка около шкафа, глядя в зеркало на пишущего начканца.

Но взамен курчавой с проседью, обезьяньей головы мужа ей вдруг померещился Арно Арэвьян, как он тут, в комнате, сидел и как упруго и нежно щека его охолодила тогда руку Клавочки. Звериная нега к чему-то убитому в ней волной прошла по животу,— ребенок, дитя, нерожденные младенчики,— она остро почувствовала, какие мяконькие, мяконькие, ну совсем как у сосунца, волосики у рыжего на затылке. Разнежившись, сладко представила себе Клавочка: посадят рыжего за решетку.

— Зарик, ты, дуся, брось, пожалуйста, волноваться. Я тебе, помнишь, говорила — вместе ехали, Мишей звать, молодой такой, в шерстяном свитере? Ты мне дай заявление, я этому Мише собственноручно отвезу, и никто знать не будет.

— Молчи, дай писать!

Он писал и успокаивался. Он писал благородно. С исторической точки зрения в порядке событий, Захар Петрович был прав на все сто — участок свидетель.

«...между прочим, вышеупомянутый шаг к сокращению и увольнению Арно Арэвьяна встретил сопротивление со стороны нашего месткома, товарища Агабека, и в силу этого, вопреки моей воле, произошло оставление Арно Арэвьяна на участке, несмотря на неоднократное указание на недопустимость такового, имея в виду прецедент с архивными бумагами, хотя я пустил в ход все имеющиеся законные меры ограждения строительства от безусловно неблагонадежной личности, по слу-

хам занимавшегося ранее недозволенной агитацией...»

Тук-тук-тук...

— Вы дома? Выдьте, пожалуйста, на минуточку, Захар Петрович! Вода идет. Весь участок внизу, даже мамаша у меня тронулась! — так я хочу знать: вы ничего против не имеете, если не успею к шести в контору?

Володя-меринос был приятно возбужден волнением на участке.

— Вода, говоришь?

Начканец сделал «гм» и шагнул к вешалке, где висел плащ с капюшоном. Он только сейчас сообразил — где же это у него голова?

— Обожди малость, я сам пойду!

II

Вода на участке была событием первой величины. По секрету передавали, что наверху, в Чигдыме, где пользовались двумя оросительными каналами, не в срок спустили воды и даже умысел был, но только Мизинка снесла первую перемычку для отводного туннеля и повредила у самой станции дамбу...

Паводок прошлого года, случившийся поздно, к концу апреля, был, как крестьяне говорили, «какого не запомнят старожилы». Именно этот прошлогодний паводок и успокоил насчет моста — в управлении сошлись на том, что вторично такой воды, повторяющейся каждые сто лет, не чаще, ждать в скором будущем не приходится и что мост с расчетом на двести пятьдесят кубометров свой срок простоит.

А весна между тем пошла с норовом — и вот уже третий раз били тревогу,— третий раз сломя голову любители острых зрелищ мчались к реке, вздувавшейся выше нормы. Но настоящего, полного паводка, какой проходит, можно сказать, единожды, как болезнь с иммунитетом, корь или оспа, и ошибиться насчет которого нельзя, еще не проходило.

Дождь и снег в последние дни, смена тепла на холод, едкие ночные росы смущали крестьян,— не один Месроп суеверно косился на Мокрые горы, покуривая козью ножку и сплевывая между цинготных зубов тоненькой струйкой.

Но с некоторых пор на участке принято было помалкивать. Шибко с артелью, задержанный на мелких плотничьих работах,— и тот насчет моста прохаживаться прекратил и даже, к тайному ужасу Александра

Александровича, самолично украшал мост к приемке комиссией из управления и на самой приемке всей артелью пьянствовал и веселился. Однако Александр Александрович, поздно вечером проходя мимо месткома, видел иконописную голову Шибко, что-то шепчущие алые губы Шибко, расчесанный пробор, ровный, как на нестеровских отроках; наклоняясь к бледному профилю Агабека, плотник обстоятельно ему что-то вшептывал, а карандаш Агабека двигался по бумаге. Но это было вчера, а сегодня при первой воде вся артель собралась внизу.

В молчании, с каким она расступилась перед начальником участка, было что-то намеренное. Начальник участка шел не один. Наверху догнал его наконец специалист по бетону, товарищ Гогоберидзе, и, чтоб времени не терять, как был с повязкой,— пошел рядом, умеряя своей близостью нервозность Левона Давыдовича.

Разглядеть мост еще нельзя было. Шоссе под дождем раскисло. Начальник участка водил рукой, показывая Гогоберидзе то одно, то другое. Но он это делал рассеянно; его щукастый профиль, когда падал свет, был мертвенно-бледен: не то чтобы он боялся за мост — ни разу, с первого дня постройки, он не испытывал сомнения в работе,— но в воздухе было нечто, причинявшее дурноту,— к перемене погоды, должно быть.

— У нас так: вода пройдет, и сразу установится погода. Хорошо, что строительный сезон...

Он только что собрался сказать: не потеряем строительный сезон (потому что новый проект, еще не дошедший во всех деталях до участка, но уже в общих чертах ясный, был утвержден по всем инстанциям),— как в ослепительном свете качающихся фонарей, из-за поворота шоссе, окруженный жужжанием голосов, похожих на пачку мух над съестным, им навстречу наплыл большой, видимый отсюда на все три четверти профиль моста.

Начмилиции Авак стоял у самого въезда на мостовой настил, раскинув руки. Его круглое лицо, красное от перуругивания с толпой, было напряженно; мнительному человеку оно показалось бы даже не ко времени пьяным или накрепко, словно чиханье, удерживающим усмешку. Милиционеры возились пониже, у дамб. На мост публику не пускали. Авак ругался: отчаливай! Кто-то в майке, синий и веселый от стужи, выкрикивал для интересующихся: «Опять камень подмыло!»

— Правая дамба ничего, а левую подмывает,— сказал, подойдя к Левону Давыдовичу, десятник.

Но Левон Давыдович не услышал.

Представьте себе идущего вам навстречу человека, представьте эдакого толстяка в реглане, с тросточкой, в новых полуботинках и заграничном котелке,— с тем дружелюбнейшим международным подмигиваньем, с каким пьяница видит пьяницу во всяком живом существе,— ноги толстяка заплетаются, трость в его сжатых пальцах, обтянутых замшей, игриво вычерчивает, как на дуэли рапира, неожиданнейшие зигзаги в воздухе, лишая его вдруг точек опоры... И вот именно таким толстяком, величественно смешной, самоуверенный, как пьяница, наплыл всей своей тяжестью призрак моста на остановившегося начальника участка.

Это было его детище, знакомое наизусть. Ничто не переменилось. Два покосившихся глупых шеста на перилах напоминали недавнюю приемку — лоскутья красных флагов, поломанные лампочки от иллюминации жалко торчали на шестах. Но призрак жил сейчас. Зыбкими, заплетающимися, почти куролесящими казались его четыре ряжа, стоявшие сейчас не на мокрой гальке, как их привык видеть Левон Давыдович, а в бешено бьющей, натекающей, стремительной массе воды. Тросточкой в руках гуляки ломались в зыбком свете вечера, в каскадах дождя, преломлявшего свет, очертания ферм, множившихся перед глазами,— построенный мост был в действии. Но если б он мог заговорить, мост, казалось, лихо запустил бы, спотыкаясь на четырех ряжах, классические слова всех времен и народов:

«Ты п...п...пьян, братец».

Отшатнувшись, Левон Давыдович перестал глядеть. Это длилось, впрочем, одно мгновенье. Впоследствии, вспоминая минуту, Левон Давыдович никак не мог объяснить, что, в сущности, с ним было.

Грузин, спокойно стоявший рядом, внимательными глазами смотрел туда же и видел большой деревянный, громоздко построенный через реку мост — только и всего. Он не любил и не знал дерева, и ему в голову не пришло критиковать, но специалист по бетону сказался во взгляде, каким он первым делом обшарил дамбу. Тут-то и показала себя работа Михаила Самсонова. Левая дамба, обложенная для красоты тяжелыми, добытыми повыше из карьера камнями, казалась сейчас толстой сигарой, уткнутой в пепельницу концом внутрь.

Не придушенный на конце огонек тлел и отмывался от сигары — именно так, оправдывая сравнение, легкими круговыми колечками отмывались, как дым, снизу от дамбы медленные, тяжелые каменные плиты.

— Вы крепили дамбу на цементе? — спросил грузин.

Левон Давыдович пришел в себя.

— Нет. Да это ничего, выдержит. Большого паводка не может быть. Какой там цемснт... Алексан Саныч, камни подвозят? Дайте распоряжение, чтоб засыпали справа, часть людей пусть пройдет через мост... Что? Я сейчас! Туда, туда пусть набрасывают... Ах, да передай, черт дери, ему кто-нибудь в ухо! Извините, Вахтанг Николаевич, вы спрашивали про цемент. Мы строили максимально дешево, на сопротивляемость в двести пятьдесят кубометров...

Часть рабочих, прорвав руки Авака, побежала через мост на ту сторону, паясничая и приплясывая, как бы пробуя ногами упругое сопротивление досок под собой. За ними медленно, подняв воротник, пошел начальник участка, извинившись перед спутником.

Грузин, новый человек на участке, остался стоять, глядя на мост, казавшийся ему, честно говоря, некрасивым. Но если б спросить его, чем некрасив был мост, он вряд ли бы нашелся ответить, потому что инженер Вахтанг Гогоберидзе не был строителем, а был человеком материала, и технология, а не форма — вот что открывалось ему в предмете.

Сколоченные из бревен ряжи, тонкорукие взлеты ферм, весь этот визг остроугольных, линейных, обнаженных в своем скелете форм ничуть не прельщал его со стороны конструктивной. Никакого смысла он не видел в нем, потому что не чувствовал в мосту передачи силы, косого движения, единственного в мире по гениальной всеобъемлемости законы рычага,— того, что прежде всего увидел бы и почувствовал механик. А видел он только намокшее, угловатое непрочное вещество.

Ему вспомнились ясные линии построек из бетона и очарование легких дугообразных мостов, где железобетон был почти живым телом, где скелет движения спрятан, как у человека скелет, и где просто стоит себе над рекой, очаровывая вас, полукруглый пролет белоснежного моста, словно радуга в небе,— опоясывая берег с одного конца на другой,— вот это мосты, да!

Впрочем, смешно было бы и сравнивать настоящие, серьезные, большие мосты, стоившие миллионы, с этой

деревянной нескладиной над маленькой речкой, сделанной... тут он осмотрелся и деловито сообразил, для чего, собственно, нужен был этот временный мост.

Для перевозок машин и материала на тот берег, где, во-видимому, пойдет главная работа: котлован, вход в напорный туннель...

«Да ведь и моя лаборатория должна быть с той стороны!» — подумал, уже остро захваченный судьбой моста, инженер Гогоберидзе.

III

Та сторона участка, отделенная Мизинкой, была только последние три дня связана с барачным городком постоянной и безопасной связью, а до открытия движения по мосту крестьянские арбы с материалом и машинами переезжали реку вброд независимо от погоды; рабочие иной раз тоже шли вброд повыше, где река текла не шибко, или пользовались зыбким висячим мостом гидрометра.

Сложность перехода наложила на ту сторону, где стояли два-три барака и два больших складских здания, особенный отпечаток, какой есть в больших городах на фабричных окраинах. Главные работы предполагались именно здесь, и для них строили склады и готовили кузню, механическую мастерскую, расчищали место под жилье. Именно тут, невдалеке, были каменные карьеры, откуда предполагалось возить камень для будущей плотины, еще когда не забраковали первого проекта. Тут же, в одиночестве, отгороженный высокими стенами из сырца, спрятанный в ложбинке и всегда охраняемый угрюмым, волосами обросшим, милиционером, стоял, как своего рода склянка с черепом в отдаленном шкафу у аптекаря, мрачный и одинокий пороховой склад. Сюда прийти — значило сразу нюхнуть работу как она есть и как она предполагается на ближайшее будущее. И здесь рабочие чувствовали себя больше хозяевами, нежели на той стороне.

Инженер Гогоберидзе опять нагнал начальника участка и перешел с ним через мост — он хотел посмотреть место, где будет полевая лаборатория по бетону, хотя время для этого никак не подходило.

У левой дамбы, на порядочный кусок обмытой, ковырялись свисавшие на веревках рабочие. Группа с тачками ползла под дождем наверх, чтоб взять из карьера

камень. На другой стороне любители надсаживались от критики.

Володя-меринос под большим ветхим черным зонтом держал под руку собственную мамашу, глядевшую неожиданно умными, старческими, толковыми глазами на картину перед ней. Старуха выходила изредка и не попусту; узловатым, нетвердым пальцем она указывала вперед и головой трясла — ей мост не нравился; по-армянски, жестким выговором, она сыпала замечаниями, как из сита: чэ, чэ, чэ (нет, нет, нет), не нравится и не устоит мост.

— Удивляюсь, какой он некрасивый под дождем,— сказала жена Маркаряна.

— А вот только вашей бабьей критики недостало! — Рассерженный Захар Петрович прошел мимо них к Аваку, но и в круглом лице Авака, и в его уклончивом взгляде было нечто.

Мост вышел на экзамен. Мост вышел на экзамен не один. Начканц знал, что экзаменуется с ним вся система управления на участке, весь подготовительный период работы, шесть месяцев, можно сказать, не одного Левона Давыдовича, а главным образом его, начканца, политической системы, в которую он непогрешимо верил.

Захар Петрович поворотился к экзаменаторам, прищурив свое мохнатое и уверенное око: экзаменаторы, черт побери, старались! Яростный теплый ветер дул с Мокрых гор, похожий на веселье собачьего лая, когда мчится собака за автомобилем. Черные низкие клубы туч висели сверху, источая редкий тяжелый дождь. Мизинка проносилась внизу без кудерька пены, и даже шума от нее как будто меньше стало — Мизинка была страшна. Ее гладкое черное, одутловатое, словно отъевшееся водой тело мягко прокатывалось внизу — как на резиновых шинах по асфальту катит лихач.

«Н-да!» — сказал начканц. И опять он услышал рядом бабий визг, и кто-то, хихикая, воскликнул:

— Ужотко он был красивше!

Так на участке говорили только Марьянка-уборщица или артельная прачка. Но восклицание относилось к мосту. Восклицание выразило общее мнение.

Раньше, кто ни посмотрит при дневном свете на этот чистенький, мнимомонументальный мост, строившийся над мелкой и как будто смирной рекой, тот обязательно скажет: «Какой красивый». И теперешнее восклицание «красивше», отнесенное к прошлому, показы-

вало, что вся эта публика видит ночью, в эффектной ночной обстановке, при свете тысячесвечовых, брошенных сюда волн электричества, в вое ветра и брызгах дождя, словом в романтическую минуту экзамена — то же самое, что видел специалист по бетону,— категорию эстетическую, а говоря попросту — уродливую, некрасивую, неблагообразную сторону моста, словно за эти несколько часов сооружение могло измениться или перестроиться.

— Дура-то, прости господи,— громко сказал Захар Петрович,— красивше-некрасивше, тебя бы инженером поставить! Для красоты мосты строятся? Чем зря балясы точить, шла бы по своему делу. Вот я возьму да за панику штрафовать буду, потому — имей понятие, о чем говоришь. При такой воде и выдерживает, вот что надо сказать про мост. Держись, надо мосту сказать. Отстаивать надо свое сооружение, поняла?

Но кто-то прошел в темноте мимо начканца, задев его рукавом, и в ответ сказал одно слово: «Дерьмо». Слово тоже относилось к мосту.

Быстро оборотившись, чтобы разглядеть бузотера, Захар Петрович оступился в лужу, а когда поднялся — первое, что он увидел перед собой, был мост.

Меньше всего понимал начканц в красоте или делал вид, что понимает. Но природный вкус, тайное чувство, неизвестно как жительствующее в человеке, даже в самом прозаическом, ударило ему в голову, и начканц не удержался. «Ах ты, мать твою»,— выругался он с бешенством не то по адресу выпачкавшей его лужи, не то вдогонку бузотеру, а вернее всего — в направлении моста, виновника неприятности,— мост и в самом деле был... не того.

Чем и как объяснить некрасоту моста, Захар Петрович не знал, и если технолог Гогоберидзе воспринял ее как плохое качество материала, ставшего несовременным, то начканц и с ним досужая публика участка — конторщики, дамы их, семьи рабочих, мелкий подсобный элемент — все они воспринимали по сей день и восприняли сейчас мост просто как составную часть пейзажа.

И в самом деле, в хороший день, на пустом галечном ложе, над тонкими струями веером бившей шумливой речки, под облаками, слегка, вроде как яичный белок, взбитыми на синеве неба, между стенами ущелья цвета старинной охры,— мост стоял ничего себе и даже

казался в уходящем покое своих четырех ряжей красивым. Но куда же и почему запропала красивость?

Подойдя ближе, начканц увидел своего бузотера — это был молоденький паренек, скромняк и тихоня, не имевший с начала работ ни одного замечания. Он стоял в группе рабочих, неотступно глядевших не туда, где левая дамба и куда другие глядели,— там весь скат был почти обнажен от камней, и люди сверху бились, чтоб остановить размыв,— а они глядели поближе, на крайний слева ряж. По виду ряж был как остальные.

Рабочие между собой переговаривались насчет практических вещей: как крепили ряжи, сколько и какого сыпано в них камня, всухомятку сыпано или на растворе; но каждый знал, что цемента на постройку не пошло и фунта. Все они были согласны между собой насчет моста; но если технолог брал его глазом как материал и женщины тоже взяли глазом как часть пейзажа, то эти рабочие-землекопы, так же как стоявшие подале плотники и работавшие на дамбе щебнебойцы и камнеломы,— все они брали мост не на глаз и даже не видели его целиком, а судили по седьмому чувству людей, делающих вещи: «Рази это в наших местах мост?»

Если б кто пожелал вытянуть из них замечания посущественней, то добился бы разве что одного. Каждый по порядку навел бы критику, касающуюся детали, ему понятной: место под мост неладно, под самым напором, берега тут некрепкие, дамбы для красоты заделаны, а толку мало, ряжи частые, большой воде пройти тесно, крепежу недостаточно, главное же дело — не соответствовал мост «нашим местам»: капризному нраву горных речек, который — нрав этот — был досконально изучен рабочими: «На живую нитку делали».

— А когда наш брат, рабочий, на живую нитку делает, не жди, брат, толку. Ежели ты всю правду хочешь, вон гляди толк-от каков: и стоит мост, да *не работает*.

Услыша громкую и спокойную фразу рабочего, суммирующую воедино все, что сегодня вокруг моста говорилось, Захар Петрович почувствовал легкое и неожиданное беспокойство впервые за весь день. Не то чтоб усомнился в мосте — мост был незыблем, как его система, и не то чтоб серое мужичье на миг выложило

ему свой резон,— «тьфу на их замечанья», мысленно сделал Захар Петрович: будто уж мог бы рабочий больше инженера знать и глубже его судить!

— Да чего ты понимаешь, колесо немазаное,— проговорил он с великим и убежденным презреньем, не очень, правда, громко, когда прошел мимо.

И тем не менее беспокойство он ощутил настолько, что решился пройти на ту сторону, к начальнику участка,— не случилось бы чего, мелкой какой прорухи! Всеобщее настроение показалось ему опасно: спички недостает. Хоть и облегчили участок от беспокойного элемента, а рабочий — вот он каков: и тихоня заговорил хуже бузотера.

Полный горечи и презренья, он отстранил рукой Авака и, не слыша, что ему кричат, быстро прошел тем же путем, какой за полчаса до него проделал Левон Давыдович.

Начальник участка, охрипший от крика, был внизу, под мостом, где крепили дамбу, но когда Захар Петрович, человек комнатный, с большим трудом до него добрался и хотел заговорить, держась ради предосторожности за спину рабочего, он увидел, что Левон Давыдович странно как-то стоит, деревянно и без всякого оживления, а ближе подойдя — рассмотрел его лицо.

Отсутствующим, недвижным взглядом начальник участка глядел прямо в воду, туда, куда смотрели и рабочие с другого берега, на ближайший к ним ряж, смотрел удивительно,— начканцу припомнилась мать его над больным братом,— так только мать и глядит, зная, что умрет ребенок.

Но ведь ничего как будто, стоит ряж... Невольно, покоряясь неподвижности этого взгляда, Захар Петрович с гнетущим чувством стал тоже глядеть и заметил наконец кое-что, самую малость. Водою давно сдвинуло и захлестнуло камни, горстью насыпанные вокруг ряжей, вода поднялась теперь выше. И вода медленно расшатывала ряж, словно слабеющий зуб во рту, незаметным плавным, сильным движением, взад-вперед, как душит жертву страшная судорога смерти.

Только в эту минуту правда дошла до сознанья Захара Петровича. Ничего не сказав и не спросивши, как кошка, быстро, где по спинам, а где хватаясь рукой за чужой пояс, вскарабкался он к мосту и услышал остереженья: уже ни с той стороны на эту, ни с этой на ту без очень важного, начальником участка данного при-

каза не переходил народ. Вместо Авака у настила выстроились пять человек с той стороны, и цепь была с этой.

— А пусти ты, черт тебя,— заорал начканц, врезавшись в цепь и ударив кулаком по чужой руке,— пусти, говорят!

Вырвавшись, он побежал по мосту, чувствуя или воображая странную слабость под ногами, но никакая опасность в эту минуту не задержала бы Захара Петровича. Тяжело проскочив мимо милиционеров, он на ходу крикнул:

— Володька! Я к гидрометру... Стой тут, не сходи с места, часы держи! Как первый ряж тронется, запиши время.

IV

Гидрометр Ареульский, натура для окружающих загадочная, с утра был в очень странном настроении. Странное настроение выражалось в нем преимущественно молчанием, но молчанием, обязывающим окружающих к принятию мер,— даже бедный Мкртыч испытывал неопределенные порывы к действию, считая себя виновным в молчании патрона.

Скосив рот в язвительной усмешке, Ареульский заносил весь день сложные данные своей науки из блокнотика в официальный, приготовленный для сего график, но делал это, как если бы сводил с землей последние счеты. Раза два за день раскрыв рот, он обронил, между прочим, фразу: «собираюсь уходить» или «скоро простимся», вынуждая слушателя, даже и постороннего человека, усиленно и с безграничным убежденьем упрашивать его «остаться», «не бросать дела», «малость обтерпеться».

Только один Фокин, услыша фразу, легкомысленно произнес: «А что ж, проводим»,— но от Фокина чего ждать!

Странное настроение гидрометра было вызвано людской несправедливостью.

Известно, что водный режим, наука, им ведающая, даже если похерить практику, не брать в счет эпоху, когда от наших, от гидрометрических данных зависит, можно сказать, вся индустриализация,— а возьмем вопрос с научной стороны, беспристрастно, разве ж гидрометрия станет в ряд с какой-то там геодезией, землемерным делом? Землемер испокон веков и в литературе описывался как незначительная специальность. И он,

гидрометр, для своих изысканий не мог человека допроситься! Ему, гидрометру, дали в помощники неквалифицированную личность, Мкртыча. А технику Гришину, для простейших работ,— здорово живешь, отпустили интеллигента с университетским дипломом,— рейки таскать!

Закрутив кашне, в макинтоше, гидрометр Ареульский шел под дождем на свой пост, и Мкртыч, всем нутром чувствуя собственную виновность и находя утешение только в табачке, с утра им припасенном, да в клочке газеты для закрутки, отмахивал умеренными шагами это же расстоянье, но поодаль.

В узком месте ущелья, при единственном фонаре, возносился похожий на финскую лыжу мост. Камни, накатанные Мизинкой, белели, как черепа, вдоль берега. Тесные здесь скалы почти касались друг друга, тянулись друг к другу, как дитя к матери.

Мрачное величие места, приятное испанской душе Ареульского, было, однако же, нарушено чьим-то присутствием. Подойдя ближе, гидрометр увидел двух ребят в накинутых на головы мешках от дождя, лихо покачивающихся на мосту,— это были соревнующиеся друг с другом рабкор Вартан и его закадыка Гурген. Уже несколько дней, как они победили Кошку и работали образцово, о чем даже в республиканской газете писали. Будь Ареульский не так занят обидой, присутствие этих двух парней на неположенном месте удивило бы его. Но сейчас он только рукой махнул, чтоб не баловали, и сунулся к реке.

Однако же в том, как бежала Мизинка, было сегодня нечто новое. Она замолчала, прикусила язык,— шума реки сверху почти не было слышно; отсюда, если глядеть, речка смахивала на конвейер из гладкой, вздутой, натянутой черной кишки, неслышно подаваемой слева направо, или же на узкое тело водяной крысы, животного почти мифического.

В молчании Мизинки был словно отзвук молчания гидрометра, оно казалось налитым тяжелым и зловещим смыслом. Резвая джан ахчик, красоточка кучера Пайлака, хрупкая зеленоглазая бегунья,— где она? Призраком с Мокрых гор, неизбежностью, паркой, безглазой головой крота на минуту поднялось черное тело реки, уставившись круглым, невидящим, тупым всплеском воды на мост,— и слепота стихии даже на Ареульского подействовала.

Покачав головой, он пробормотал: «Паводок!» Нет

сомненья, проходил настоящий паводок, большая вода, весенняя корь реки.

Нельзя было упустить время.

В каждом деле — у станка, при паровом котле, в игре пианиста, у наездницы, прыгающей через обруч, у больного брюшным тифом — есть такой момент, когда нельзя потерять секунду, а надо подогнать полную свою сообразительность и собранное внимание именно к этой кульминации, чтоб не сползла точка. Скрутить вовремя нитку, или камфару впрыснуть, или подойти к центральному узлу произведенья своего, соединяя высший расход энергии с моментом высшего на нее спроса,— в этом, в сущности, и лежит секрет всякой работы.

Для гидрометра Ареульского такой точкой был паводок, и думать о личных своих незадачах в такую минуту уже было нельзя. При всем испанском стиле Ареульский был честный профессионал, тотчас же почувствовавший в себе, как хорошая лошадь при первом движенье вожжей, знакомый прилив энергии.

Он побежал сам с вертушкой на мост, где уже невозможно было стоять без опоры,— ветер рвал его с тросов. Ночь шла сюда вместе с ветром, а с ночью неотступно шла вода, и надо было встречать воду,—каждая секунда теперь имела значение, потому что в каждую секунду расход воды увеличивался, уже не в воле Мизинки было не набухать и не идти к кульминации,— и Ареульский должен был поймать кульминацию, не прозевать высочайший момент паводка. Он стал высчитывать с часами в руках, залепленный дождем, жестким и сильным, как глина, расход воды, подобно врачу, державшему перед кризисом пульс больного.

Расчет теоретиков лопнул. Какой там раз в сто лет! Если на глаз считать, расход и теперь уже возрос втрое, и видать было, что нынешний не уступит прошлогоднему...

Гурген и Вартан, отошедшие было подальше, подошли снова и прислушались. Втрое — значило уже двести двадцать пять кубометров в секунду. Но если для гидрометра действие цифры было только действием воды на вертушку, а все вместе — умственным бегом за кульминацией, то Гурген и Вартан вцепились в эту цифру ушами, как следователи, цифра их, видимо, не устраивала, они почесали головы под мешком, переглядываясь,— «двести двадцать пять...»

— Ты, товарищ Ареульский, проверь, не многовато ли. Вода-то ведь с полчаса как пошла.

Голос Вартана звучал почти вкрадчиво. Он подошел к мосту,— мокрый серенький блокнотик в ладони. Его закадыка, Гурген, следил за большими, круглыми, старинными часами, бережно зажатыми у него в кулаке. Но Вартану ответил не Ареульский: гидрометр животом лежал на мокрых полозьях моста, несшегося в ночь с быстротой детских санок, и матершил в сторону своего помощника, Мкртыча. А ему ответил из темноты простонароднейший говорок начканца, Захара Петровича:

— Тебе, паря, не колбасу вешают,— «проверь». Хошь не хошь, а сказано вполне ясно: двести двадцать пять.

Захар Петрович подходил медленно, хотя сюда бежал бегом. Столько же, сколь недовольны и разволнованы казались рабочие, был Захар Петрович доволен и успокоен. Цифра — видать было — вполне устраивает начканца. Вначале, подбегая сюда, он чертыхнулся, завидя «общественников». Гурген и Вартан в мешках, их тени, лохматые от ветра,— «ишь, следопыты нашлись!». Но мозг его, как в трудные минуты жизни, после утреннего затишья работал ослепительно, на полный ход: «и оченно даже хорошо»,— одобрил он их присутствие тотчас же. Следопыты не следопыты, но свидетеля в этот каверзный час не мешает иметь. Пусть-ка утрутся! Двести двадцать пять — цифра в самый раз. Накинь еще пять минут...

— Растет вода! — крикнул он, тужась противу ветра и сплевывая изо рта дождик.— Верно, уж за двести пятьдесят перевалило...

А ну, кто кого пересилит! Меряя усмешечкой, от маковки до штанов, обоих примолкших рабочих, Захар Петрович обстоятельно располагался к отсидке в этом чертовом месте, где даже привычного Мкртыча тошнило от страха. Сесть, разумеется, некуда, но умному человеку стать с толком в заслон от ветра и от дождя, имеючи, между прочим, полный перед собой вид,— тоже не воробей-дело. Уже он стоял в наилучшей близости от гидрометрического поста, слушая звоночки и бормотанье сквозь ветер Ареульского, задавал между делом подсобные вопросы Мкртычу,— Гурген и Вартан, не желая сдаваться, опять полезли на мост.

Тут, вдалеке от освещенного фонарями главного фронта, где сейчас ежилась от холода участковая публика и где серой мышью — воротник поднят, руки в карманы — оцепенел Левон Давыдович,— тут, в темноте, было, по чести говоря, покойнее, хотя умозрительная,

высшего класса, окончательная борьба решалась именно здесь.

«Думали, дураки сидят... а ну-те, настряпайте-ка!» — с полным, счастливо вернувшимся к нему хладнокровием рассуждал начканц.

Мысль о погибающем мосте больше его не трогала. Мост погибал по закону, на самом что ни на есть законнейшем основании.

Хозяйственно, зорким оком вглядываясь в темноту, Захар Петрович и тут не терял времени, а перебирал в уме различные графы расходов на мост: материал — главная статья, а материал не пропадет, разберут да выловят,— словом, дело-то не так страшно. Шесть месяцев системы управления на участке совсем даже не проваливались на экзамене. Мстительно запоминая, кто в этот день радовался или ругал мост, Захар Петрович обещал про себя в будущем кой с кем хо-о-рошенечко посчитаться, но, впрочем, весь этот сложный букет мыслей он таил до времени про себя.

V

В первую минуту никто крика Захара Петровича, обращенного к Володе-конторщику, толком не понял: при чем тут гидрометр и часы?

Так не понимают деликатного появленья в дверях приличного человека с аршином,— кивком бровей и таинственным шепотом запрашивающего «из дубочка или фанеркой под дуб», покуда еще лежит больной, окруженный родственниками, в кровати. Был еще тот переходный момент в болезни, когда не знаешь, куда она клонится,— ни один человек в публике, кроме, впрочем, одного-единственного, но об этом позднее, не подозревал, что мост гибнет, умирает, дожил до последнего часа.

Мост стоял, как стоял раньше, странным и неподвижным, но вполне знакомым и как бы не изменившимся в своем лице, храня то же самое выраженье безразличия и покорности. Он не работал.

Не потому, что последними его перешли начальник участка и специалист по бетону.

Не потому, что справа и слева цепь из живых человеческих рук окончательно оградила его от действия, как ограждает в музее металлическая цепочка кресло какое-нибудь, ставшее памятником самому себе и насмешкой над смыслом бытия своего, лишенного человеческой нагрузки.

Нет, мост «не работал», в том особом, непередаваемом значенье, какое вложил в эти два слова произнесший их рабочий: он *не сопротивлялся.*

В картинной позе над бьющей водой мост высился, в сущности, только материальным препятствием, поставленным для игры,— и его ряжи напоминали кегли. Тот, что медленно расшатывался под ударом воды, был сейчас предметом всеобщего внимания. Он походил на утопающего, чьи ноги держат акула или щупальца спрута — сила, сильнейшая всех его сил, безнадежность которой влияет на ум человека, делая его безумным, и борца превращает в маньяка, прыгающего, как галушка в рот, навстречу гибели,— вот именно таким утопающим качался ряж на глазах у зрителей.

Его обреченность отзывалась почти что в зубах у людей: с каждым толчком воды люди мысленно тоже толкали его, чтоб наконец расшатать и свалить — словно это был не ряж, а вырываемый зуб.

Когда он екнул и втянулся вдруг в черную гладкую воду, у публики вырвался вздох облегчения. Но и в самом мосту гибель отозвалась чем-то радостным и облегченным: не успел упасть ряж, как легко и мгновенно, словно рассыпаясь легкими радиусами веера, раскрытого детской рукой, с треском наступающего освобождения, одно за другим развернулись перед зрителями действия: плавно, над упавшим ряжем, всеми своими точками, мостовой настил вдруг сделал кренделек, опустился выбоинкой, напомнив кастрюлю с ручкой или Большую Медведицу. Тотчас же другая, более длинная, часть настила начала медленно, медленно, словно шерсть на коте, вздыматься над тремя еще уцелевшими ряжами.

Но разрушение и на этом не остановилось, хотя стало уже невидимым. Оно перешло в незаметные движенья ферм, торчком выпятившихся под согнутым настилом, в ослабленную покинутость ряжей, в раздвижку бревен и досок,— в беспрерывное разложение формы, раскрепление ее, обратную работу, похожую на то, как крутит оператор задом наперед фильм. И оттого, что эту работу мост как будто проделывал более активно и наглядно, а еще верней — оттого, что эта работа, несомненно, велась мостом, как, несомненно, не велась в нем необходимая работа на сопротивление,— сейчас он показался куда красивей, чем раньше.

Его гибель и на людях отразилась шиворот-навыворот.

То глазели в полной неподвижности, потеряв волю к действию, а сейчас, не успел ряж поплыть, рабочие самостоятельно, не дожидаясь приказа, побежали спасать материал. Насколько — странная логика человеческая — ни один из них не пожалел о мосте, настолько все сейчас стремительно озабочены были жалостью к бревнам и доскам.

Десятник пошел к Сан Санычу договориться о разборке. Любитель из чернорабочих, скинув одежду, покрасовался в темноте на берегу белизной своего тела, попрыгал даже, прежде чем лезть в воду,— сверху ему смельчаки, доползшие до выбоины, кинули конец каната: это рабочие, с опасностью для жизни, весело и почти с песнями,— да и запели бы, если бы не стыдно,— вольные, как эта вода, разом окрепшие, весело чувствовавшие физическую свою силу,— как на игру или на спорт лезли валить и разбирать фермы и увязывать доски для спасенья гибнущей части мостового настила.

Вместе с ними, подняв воротник, невидимый Левон Давыдович, по голосу как будто ничего, без паники, спокойнейше руководил разборкой, в то время как старенький Сан Саныч, кряхтя от подагры, устанавливал по реке накаты, чтоб не упустить лес вниз по теченью.

Именно в эту самую минуту и вспомнил Володя-меринос крик Захара Петровича о числах и гидрометре. Крик припомнился, впрочем, каждому одновременно, точно он и впрямь появился в дверях человеком приличной внешности, с аршинчиком в руке и вопросом насчет дубка или фанерки под дуб.

В самом деле: *сколько же было времени, когда смыло первый ряж?*

Быстрей мыши сунувшись пальцами за пиджак, Володя-меринос поднес круглый часовой циферблат к глазам, выйдя предварительно туда, где ярче падал свет фонаря. Его распухшие от холода пальцы не остались на циферблате равнодушными. Семь часов двадцать пять минут... клади пять минут на возню, разговоры и прочее такое, итого семь двадцать — большой палец Володи прикрыл минутную стрелку, словно блоху поймал.

Но тотчас же голоса вокруг показали Володе, что номер этот не пройдет, что окружающие тоже заинтересованы в вопросе и что вокруг пяти разыграется торговля — в одну секунду словно порох взорвался: вся толпа зрителей, безучастная к гибели, проявила к вопросу

о времени, как рабочие к спасению материала, огромнейший интерес.

Стоя в центре надвинувшейся кучки людей, где среди женской публики уже стал преобладать мужчина, а женщин, не догадавшихся, в чем острота вопроса, сдвинули в сторону, Володя отчаянно с часами в руках жестикулировал: спор шел о пяти минутах, снимать их со счета или же нет. А какие там пять минут! Гибель моста и все, что произошло за гибелью, исчислялось по меньшей мере получасами,— дурака не валяй, Володька! В шесть пятьдесят пять погиб мост. Не зажиливай для администрации тридцать минут, заячья душа, да и зажиливай — не вывезет, потому что гиблое твое дело, слезай с верхов!

Комсомольцы, хохоча, довольные до того, что даже и притупилась злоба, глядели, тесня Володю, в его круглое, красное, нагловатое лицо с кудерьком на лбу и в его нашлепнутый на часы большой палец,— комсомольцы были уверены, что пришел их час.

Но и Володя был уверен, что никакой их час не пришел. Мост погиб, когда следовало, и не мог не погибнуть по закону. Подобно учителю своему, начканцу, Володя-конторщик в ответственные минуты чувствовал и понимал вещи именно так, как необходимо должно было быть по душе и желанию начальства.

«Поблагодарит вас, таких-сяких, начальство за вылазку,— думал он не без злорадства по адресу комсомольцев.— Отвечать-то за мост не вы будете!»

Хоть и не долга была его, Володина, учеба у начканца, но бессмертные догматы Захара Петровича жили, как в своем роде конторская предпосылка, всосанная вместе с входящими и исходящими, вдохнутая воздухом смежной с начальством комнаты, не проветривавшейся с царских времен,— и эти бессмертные догматы сделали сейчас Володю из глуповатого мальчишки-нахала членом великой корпорации.

Он знал, что ревизия наедет — неприятностей не оберешься, неприятностей для товарища Манука Покрикова, а за ним для лица вышестоящего, а затем для лица еще выше стоящего в первую голову — и что даже если примут эти лица вид безразличия, им будет усердие Володи — затушить или умерить неприятность — только лишь по душе, ибо такова сущность всякого службизма.

Радость людей, теснивших Володю, была проще,— вместе с мостом они, как там ни говори, получили в

руки оружие. Мост-то ведь, как там ни говори, провалился,— провалился мост!

В непроизвольной радости они держали карту козырем вверх,— их молодые лица,— а была тут все молодежь, армянские парни из механической, клубные работники, члены артели Шибко, члены пожарной команды,— их молодые лица, смеючись, не прятали секретов: вот тебе козырь!

Им дело казалось проще простого: шесть месяцев зажима на участке, разгон лучших общественников, единовластие держиморды-начканца, самодурство чуждого и ненавистного большинству инженера Левона Давыдовича, шесть месяцев издевки над голосами рабочих, людей опытных, знающих, не один мост на своем веку выстроивших, да чего там перечислять,— одно скажи — хватит: шесть месяцев без производственного совещания!

И для них, для рабочей молодежи участка, мост погиб по закону, не мог не погибнуть, но только закон был в неправильной постановке работы, а не в паводке, не в цифре паводка, не в лишних тридцати минутах, хотя сейчас и они, как Володя, вцепились в эти тридцать.

Ни до, ни после гибели тот, кто сидел сейчас наверху и суммировал факты и кто получил наконец козырь в руку, не спустился вниз и не побывал на реке, потому что у него не было свободного времени, но именно для этого человека, ставшего вождем недовольства, обремененного растущим багажом фактов, и должны они были отвоевать тридцать минут, приберечь тридцать минут, принести тридцать минут, чтоб дать ему в руки лишнее преимущество.

Агабек имел сведения о событиях на реке чуть ли не каждую секунду.

Он сидел в маленькой накуренной комнате месткома, под грязным зеленым абажуром лампы,— вернее, не сидел, а стоял, упершись в стул коленкой, а другую коленку безостановочно сгибал и разгибал под столом, как если бы она у него засиделась. Зеленое лицо Агабека с отекшими от усталости веками было, несмотря на хорошие новости, как будто невесело. Вот уже несколько дней Агабек жил, а еще больше внушал себе, что живет, в растущей атмосфере гибели и близкой катастрофы.

Чувство конца стояло в этой комнате, вместе с оторванной и никем до сих пор не приделанной дверью,

стоявшей прислоненно к наружной стене,— день и ночь в открытую дверь натекал холод, сырость, натекало людское недовольство, шлепавшее мокрой подошвой, пятнившее грязью, глиной, навозом совершенно уже не различимые половицы в комнате. Оно вошло сюда с нарушенным уставом трудового дня, не кончавшегося для комнаты ни в обед, ни в ужин. И конец был даже в том, что уборщица миновала комнату, считая уборку бесполезной и лишней. «Отмоешь, как же,— кричала Марьянка-уборщица,— ты сам и защищай мои трудовые антиресы, коли ты сидишь в месткомах!»

Этому чувству конца, утеснившему и сжавшему мысли и действия Агабека, подобно тому как сжимается к концу движение по параболе, принесенное известие должно было дать последний, решающий толчок.

Так по крайней мере думал запыхавшийся Гурген, самолично мчась снизу под мокрым от дождя мешком, красный от бега, довольный своим гражданским подвигом: он досидел до финала, хоть и не пересидел начканца. Он взял под ноготь ихний сговор, они в точности с Вартаном занесли цифру,— в шесть сорок снесло ряж, а тогда паводок был двести двадцать пять кубометров... Впрочем, цифры Гургена были несколько недостоверны, как и остальные цифры в этот вечер.

Ожидая встретить полное удовольствие Агабека, Гурген увидел только невеселый и странный взгляд горбуна, налитый чем-то бо́льшим, чем усталость. Против стола, повернув к Агабеку свой молодой и маловыразительный профиль, сидел сейчас секретарь ячейки и для чего-то некстати играл выпачканной в чернилах линейкой, поворачивая ее так и этак и похлопывая ею по коленке. Длинные полы его пальто, висевшие до полу, были вымазаны землей и глиной, указывая на недавнее путешествие секретаря по месту работ.

Когда Гурген кончил запыхавшимся голосом рапортовать, секретарь все так же в профиль, не поворачивая лица к нему, не поднимая глаз, негромко сказал, положивши обратно на стол линейку:

— А это нормально, что рабочие радуются гибели моста? Как тебе кажется, Агабек?

Глава тринадцатая

ИЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ

I

Сорок лет — возраст серьезный.

Думаешь смолоду, ежесекундно сбрасывая за плечо действия и поступки, слова и помыслы, что время — там, за плечом,— глотает и втягивает их, словно забвенье или пустое место. Но в сорок лет чувствует вдруг человек забытое за собой прошлое в его странной, усиливающейся, цепкой устойчивости, в окаменении всех, ушедших и позабытых, необдуманно сделанных, на ветер сказанных слов и поступков,— это пришел срок «схватыванья», страшный срок схватыванья для человеческой жизни, как он есть для бетона,— и теперь уж поздно.

Не разворотишь, не отдерешь, назад не возьмешь того, что вчера еще было гибким, податливым, готовым к формовке: время, «цементно-водный фактор», держит теперь все прошлое, каждую мелочь, в процессе твердения — и оно целиком тут, и как много подлости, гадости, убийства близких, непоправимых жестокостей, низких пустот начинает нести за собой тяжелеющий шаг человека!

Но если вы работали в жизни, если вы создавали в ней вещь, или форму, или же отношение,— усилием рук, ставших больными, нечувствительными от труда, ревматическими, огрубелыми; усилием мозга, оскудевшего сейчас кровью, насыщенного утомленьем, отдавшего весь свой фосфор и отвердевающего от склероза; усилием чувства, находившего в нужный час слово и взгляд, самозабвенные, исходящие соками доброты и страданья,— все это брошено, хоть бы и не знал и не видел никто вашей муки и вашей работы, в могучий раствор, где будет схвачено и затвердеет в несокрушимый бетон прошлого. Тогда, слабым шагом ковыляя к концу или досиживая жизнь в кресле, старческим костяком прислонитесь вы к этому прошлому, как к опоре и монументу, и улыбнитесь себе. Ладно, прожито!

Ни одной из девушек, сидевших сейчас вместе за длинным клубным столом, не было сорока, и ни одна еще не испытывала этих первых минут «схватыванья»,— но все три работали на эпоху, когда взят человек, как ком земли на лопату, в его наивысшей мере усилия и

когда напряженье, труд до восторга, до полной отдачи — попросту засчитывается человеку как норма,— до такой степени он стал обыденным.

У Марджаны, как и у тетки ее, Ануш Малхазян, была тоже своя армия,— это была армия молоденьких и хлопотливых завжен, разбросанных по глухим и дичайшим точкам района. Серьезные армянские девушки, кончая в городе краткосрочные курсы, несли в деревню городской метод работы, который усвоила и сама Марджана. Метод требовал от них, как требует вода от пловца, чтобы они, попав в инородную стихию, сразу сумели удержаться на ней, завоевать себе положенье, получить право голоса,— и все это было построено на двух-трех основных принципах, как два-три основных жеста у пловца.

Уважать деревню — был первый принцип; заставить себя уважать — второй... А оба вместе требовали от завжен, чтоб худенькая городская женщина, воспитанная под лампочкой в двадцать пять свечей, из школы пришедшая на курсы, знавшая жизнь по книжке,— чтоб эта будущая воспитательница женского актива на деревне, партийный руководитель, которому придется и разбираться в сложных житейских делах, и по-матерински опекать женщин подчас вдвое и втрое старше нее,— чтоб она с первого дня своего въезда в деревню сумела увидеть в деревне *общество* и войти в него, как входит человек в привычную для себя среду, а не ступенькой вверх или ступенькой вниз.

Деревня сидела сейчас перед ними,— это было делегатское собрание лорийских крестьянок.

Женщины всех возрастов — старухи, повязанные, по стародавнему обычаю, платком от уха к уху, хозяйки, с запахом очага и кислого молока от подолов, со множеством складок на юбке, таких засаленных и плотных, что в падении их было нечто стоячее, почти скульптура; молодухи с румянцем, словно надранным кирпичом на щеку, сгущавшемся от каждого слова.

Крестьянки сидели, подняв ноги к себе на скамью и оставив туфли, самодельные сандалии, грубо сметанные чувяки лежать на полу,— им все еще непривычно было сидеть, держа руки-ноги в бездействии, и на делегатских собраниях они отдыхали от обуви.

Женщины уже заметили на Марджане каждый пустяк ее одежды, как заметили бы и небрежность того городского гостя, кто в деревенской грязи нашел бы за-

щитный цвет для собственной лени и неопрятности и подумал бы про себя: «Ничего, сойдет, здесь не город».

Одним из первых условий «уважить деревню» была нарядность: Марджик, как и вся ее армия, приходила сюда в ослепительной чистоте блузок, в брошке на блузке, в чистых городских туфлях.

Судя по лицам, день выдался особенный. Судья Арусяк, с выражением почти нескрываемой досады, вырисовывала по столу, опустив глаза, кубы и треугольники, чтоб только дать выход судейской своей любви к разбирательству и симметрии. Судья Арусяк попала в почетный президиум тоже не зря,— день требовал необычайных мер и полной людской чаши.

Марджана, не совсем спокойная, закрыла собрание, потому что крестьянки нетерпеливо ждали конца. Как только сказаны были последние слова, сразу же и выяснилось, что дело не в собрании, а в том, что сейчас, после собрания, будет говорено,— и прежде всего с необыкновенною быстротою из клубного зала исчезла третья из девушек, сидевших в президиуме, чигдымская завжен Гинó.

Она встала и вышла вместе с президиумом. Но узкий проход, для нее раздавшийся, тотчас же за ней и сомкнулся. У самых дверей ее подхватили под руки две комсомолки. Болтая о том о сем, они увели ее подальше от клуба и держали теперь за углом с двух сторон под руку, как ведут и поддерживают за погребальными дрогами близкую родственницу покойника.

Таков был внутренний такт того общества, где завжен Гино жила и работала свыше года, и ей отлично ведомо было, для чего это делается. Высоким голосом завжен нервно поддерживала разговор, под взглядом девушек, сострадательно и любопытно уставивших на нее свои яркие черные глаза.

А в зале дело шло своим чередом. Арусяк и Марджану, шедших вслед за Гино, схватили в проходе цепкие, нетвердые руки крестьянок. Руки, давно потерявшие от тяжелой работы чувствительность, шершаво, в подмогу речи, ходили по блузе и пуговицам Марджаны, обшаривая каждую, словно ягоды собирая. Глаза, вскинутые сейчас на девушек, и рты, освобожденные от повязок, были необычайно оживлены,— крестьянки жаловались судье и Марджане на нехорошие дела завжен.

Опустившись на скамью между крестьянками, обе девушки слушали то, что давно им было известно и о

чем в кармане Марджаны лежало забавное письмо-жалоба, пересланное ей в район из центра. Письмо, подписанное комсомольцем, как и речи крестьянок, как и вся эта действительность большого села Чигдым, не представляло «юридического казуса». Никто не травил, не убил никого, не насиловал и не требовал алиментов. но и во всей тонкости талантов судьи Арусяк и ее высокой квалификации она вряд ли бы сразу разобралась, что тут поделать.

Бедная Гино, поддавшись возрасту и одиночеству,— ей шел тридцать пятый год,— полюбила первого своего помощника, «правую руку», как она выражалась,— восемнадцатилетнего комсомольца, краснощекого парня, которого явные чувства завжен привели в замешательство и несмываемый конфуз перед деревней,— он не разделял этих чувств.

Подняв два коричневых пальца, быстро-быстро по пальцам считает старая мелкозубая лорийка, мать комсомольца, сидящая сейчас возле Марджаны, возраст сына. За возрастом сына медленно и значительно высчитывает она другой возраст — возраст завжен. За матерью, перегнувшись к ней, молоденькая сестра комсомольца страстно тянет Марджану за рукав: «Гагик из деревни уйдет, вот что!» И крестьянки, устрашенные срамотой Гагика и разделяя страстность девушки, закивали Марджане: «Аё, аё»[1].

Когда наконец поднялись Арусяк и Марджана, в тело их перешла теплота от обсевших скамью женщин, одежда их пропиталась запахом кислого молока и очага. Юридического казуса тут не было, и казалось бы — личное дело, кто смеет вмешиваться? Но солдат безыменной армии завжен, рядовой этой армии, позволил себе оплошность. В штабе этой армии строились колонки цифр, указывавших из года в год рост числа женщин-делегаток, женщин — членов сельсовета, женщин, ставших грамотными, а букеты этих цифр с гордостью посылались в центр. Но цифры ничего не говорили об усилии, пошедшем на воспитание новых членов общества, о ежедневном труде и подвиге маленьких скромных завжен,— рядовой этой армии не смел позволить себе оплошность.

Потерянный авторитет! Страшная вещь на деревне, где воспитание нового человека требует убежденной

[1] Да, да.

веры в твое право воспитывать, в твое превосходство. Выйдя с крестьянками из клуба, Марджик и Арусь тотчас же заметили Гино, стоявшую между двумя комсомолками,— завжен Гино улыбалась им жалкой улыбкой, обнажив два остреньких белых зуба.

Но вместе с завжен тут было еще нечто,— выйдя из душного клуба, где столбом стоит пыль в солнце, они увидели это чистое солнце во всей его славе, без пыли, на деревенской площади,— сколько раз люди видят весну и все за свой век никак не привыкнут к ней!

Весна была в жирном блеске грязи, по которой медленно, чреватые птичьей любовью и полупьяные от тепла, ходили, поджимая лапы, куры; в зернышках ячменя, сверкавших из грязи,— зерна набухли, размокли, лежали, дыша жизнью,— вот-вот прорастут; в старом и грязном колесе чьем-то, заново вымазанном и прислоненном к воротам; в теплоте радушных, оплеснелых на солнце помоев.

Чуть-чуть малярийный запах весны охватил все село, сделав медленными шаги людей и прищуренными их глаза, а головы, словно стеклом набитые, расширяя под шапками весенней, стеклянной одурью.

Большое село Чигдым, хоть и метило оно в город главною своей улицей, двухэтажными зданиями, фабрикой, сыроварнями, обилием вывесок, парикмахерской, аптекой, почтовым двором, где стоит сейчас высокий железный возок Пайлака,— все еще сохранило на своих задворках весь стиль богатой, но древней армянской деревни, где рядом с каменными домами еще встает земля кротовым бугорком допотопного жилья и дым вылезает из невидимой дыры в потолке, тощий и одичалый, как кот из чердачного окна.

В первый же пролет деревенской площади, за двухэтажными домами, можно было увидеть кусок этой древней деревни, яркий на синеве неба, и там тоже вставала весна, в нежном зазывном блеянье матерей-овец, доносившемся с далекого выгона вместе с протяжным скрипом арбы, чьим-то унылым и дальним криком, растянутым эхом весны,— у весны только и слышишь подобные неслаженные и нестройные, неизвестно откуда берущиеся и волнующие кровь звуки.

Завжен Гино, зайцем забегая перед Марджаной и судьей Арусяк и ежеминутно оглядываясь на них длинным, неестественно оживленным лицом, повела через эту весну и грязь обеих девушек к себе в комнату, по-

мещавшуюся в школьном здании, далеко внизу от площади, на самой окраине деревни.

На той же окраине старый богатый лориец Агаси-ага принимал сейчас по знакомству, завязавшемуся еще с прошлогоднего лета, почетных гостей — Гришина и Айрапетьянца.

Гришин и Айрапетьянц забрели сюда по многим причинам,— их догнала весть о гибели моста и о возможной ревизии. Их догнала смятая повестка, врученная Арно Арэвьяну местным аробщиком после того, как раскутал аробщик дюжину тряпочек и мокрыми пальцами, меж пятаков и гривенников, нашарил повестку. Она вызывала Арно Арэвьяна в чигдымский угрозыск. Гришин вспомнил тотчас об Агаси-аге, и, чтоб рыжему не уйти одному в Чигдым, отчасти из любопытства,— в чем же там дело,— отчасти же, и главным образом, из нежелания ввязываться в ревизию, оба техника сочли за лучшее вернуться на участок кружным путем и, дав здорово крюку, сидели сейчас, сняв и оставив сапоги сушиться у очага, в одних носках на тахте у Агаси-аги, в верхней горнице большого его дома.

Гришин и Айрапетьянц... Но сперва: что за люди Гришин и Айрапетьянц? В семье техников, живших в дружбе, если не считать легкого трения между ними и Ареульским, Гришина уважали, как старшего. Гришин, начальник изыскательной партии, знал эти места как свои пять пальцев, с точностью помнил каждый крестьянский двор в окружности, мог дать справку, где у кого что есть, откуда вернее взять рабочих или тару, с кем лучше не связываться. Говорил Гришин мало, но его круглый лоб и челюсть, развитая, как хирургические щипцы, его щеки, втянутые внутрь, и вздутые от ветра и привычки к свисту губы указывали на характер. Он звал себя последним из изыскателей.

Маленькому Айрапетьянцу, с его интеллигентным видом, золотом пломбы в зубах и пенсне на шнурочке, мечтавшему подучиться на инженера, он говаривал: «Ты дура». А и в самом деле, если глядеть в корень, инженера поискать — всегда найдешь, даже хорошего слесаря поискать — найдешь, а настоящего изыскателя — шабаш! Кончается профессия. Изыскатель, подобно валторнисту или флейтисту, есть профессия дефицитная.

Школы, такой вот школы, чтобы всю страну облазить, работать с лучшими мастерами строительного дела

при прокладке больших дорог, под строгим военным начальством, как это было еще до революции,— такой вот школы молодежь не знает. И организм тоже нужен изыскателю, вроде как валторнисту легкие.

Гришин свой организм мерил на литры. После бутылки коньяку брался провесить любую линию — и провешивал. Треножник мог заплетаться, эккер мог косить свой зрачок, а он, Гришин, по-военному стоял твердо и смотрел перпендикулярно. Вообще же за тридцать лет ночевок под небом, ходьбы по болотам, прыганья по скалам он только и болел всего один раз, да и то, как конфузливо признавался, детской болезнью — корью.

У Агаси-аги был двухэтажный дом, крытый черепицей,— и внизу, на веранде, между неровными обтесанными столбами, поддерживавшими карниз крыши, похожий на околыш фуражки, шла жизнь всей семьи,— у Агаси было восемь братьев с детьми и женами и семнадцать душ собственного семейства. Двоих — еще с того лета, как жил у него Гришин и в верхней парадной комнате разместил контору,— Агаси-ага пристроил работать на Мизингэсе, а нынче не без тайных замыслов хотел хорошо накормить Гришина.

Острым взглядом кулака, привыкшим распознавать вещи и давать им цену, он отметил изо всей семьи племянницу, как отметил бы черную с белым телку или длиннолапую курицу: в хромоногой Каринэ был толк. Стоя в задумчивости возле жены, возившейся с молодым овечьим приплодом, Агаси думал, что такой надо дорогу дать, а там и сама пойдет.

Обруч висел на стене,— он мельком взглянул на тесный быт веранды, оснащенной, как корабль, для дальнего и, в сущности, черепашьего плаванья, бочками, полными добра, посудиной с острым днищем, медными котлами для варки, веревками от стены к стене, хворостом, гирляндами лука и красного перца, кнутовищем из ножки джейрана — местного производства, красильными принадлежностями, натянутой рамой с начатым грубоватым ковром и в углу, на сене, новорожденной семьей ягняток,— тесен был обруч для племянницы!

Его старуха, жилистая и еще не отрожавшая, нагнулась. Сотней обвислых складок легла ткань, жирная от грязи и пота, но между складками в линии бедер и натруженных ног, стоявших покорно и монументально, было зловещее сходство с материнским задом овцы. Старуха выпрямилась, держа за ноги двух ягнят,— их

шерсть еще мокра от непросохших родильных вод, и худые, влажно-кудрявые тельца будут волочиться вниз головой, словно картинка из библии, когда понесет их старуха подложить под мать, мелко и нежно блеющую с выгона.

Может, кому иному, старозаветных дел мастеру, и кажется все это прочным, но Агаси-ага был дальнозорок, предвидел неприятности, уже не раз стучавшиеся к нему, и знал, что советская власть не жалует кулака, или, по его собственной терминологии, «аккуратного хозяина». Он не прочь был поставить на всякий случай своего человека поближе к власти. «Каринэ — она и в партию может пройти, от такой будет семье польза».

В верхней нежилой горнице, где окна не открывались ни зимой, ни летом — от мух, где вдоль стен на деревянных тахтах лежали и висели паласы, скрипел под ногами пол и блохи танцевали на табуретках, было уже все приготовлено для гостей: овечий сыр и крупно нарезанный лук в глиняных тарелках, разной формы стаканы с ворсинками от утиральника вдоль мутного стекла, темный, водой окропленный лаваш пополам с песком...

Дочь Агаси, Вардуш, с обидой в круглых, выпученных, поволокой затянутых глазах, шибче, чем нужно, стучала тарелками. К вечеру выпуклые глаза нальются слезами, и в слезах отойдет обида Вардуш, но сегодня она бросает тарелками, сегодня она, не без тайного согласия своей матери, будет огрызаться на отца таким тонким и поднятым голосом, каким лается иной раз обиженная собака. Родная кровь мстила отцу за тайные мысли,— ни для кого в доме не был секретом план старика насчет Каринэ — хромая Каринэ и сейчас сидит в клубе, с гребешком в волосах, а она, Вардуш, разрывайся ради нее...

Если б помыть или мокрым полотенцем протереть окна, в них тоже глянула бы весна, надрывающаяся на улице в затяжном петушином крике; но весне было трудно спорить с мутной домашнего изделия лорийской водкой. Трудно спорить с яркою, в капельках пота, лысиной Агаси-аги,— густейший навар из барашка разлит по синим тарелкам, запах чеснока встает в паре, раздражая аппетит, после стаканчика пальцы лезут за мягким куском сыра, крошинками опадающим на скатерть,— зубы жуют медленно, мысли ползут и того медленней.

Агаси-ага — хороший хозяин, видавший виды. Как

и все лорийцы, он знает свой край,— во сне разбуди, по именам перечтет знаменитых лорийцев; где кто родился, из какой деревни вышел,— он знает, впрочем, и не только это.

С хитростью истого лорийца знает он час, когда гость в третий раз, не говоря ни слова, протянет пустую тарелку, а уже пальцы гостя в промежуток не идут на лук, а после затяжного вдоха и выдоха нащупывают грудь, тут ли, между прочим, табак или папиросница, и, не найдя, забегают по карманам штанов.

Эту минуту, созданную для спокойнейшей передышки, иные любители проводят сосредоточившись, чтоб дать осесть пище, и ковыряют в зубах дольше, чем надобно, спичкой, а на вопрос не отвечают. Менее опытный человек непременно сдаст в такую минуту, сделикатничает, будет ждать, пока гость откушал по третьей, но истый лориец, Агаси-ага, крепко знал, что упустишь — не наверстать. После третьей обмякнет и занемеет гость, хотя б и отведывал иных, поданных вслед за наваром блюд: разварной бараньей головы, кусочков мелко поджаренного барана или огромной миски мацуна, к которой Вардуш придвинет янтарный лорийский мед, все равно тут дело растянется послеобеденной мякотью пуховых, вынутых из сундука подушек и одеялом, принесенным снизу наверх,— вот почему, как только Вардуш, стуча шибче, чем нужно, посудой, в третий раз приняла от Гришина пустую тарелку, Агаси-ага повел разговор, что и как на строительстве и нет ли — аробщики говорили — нужды в молодом, сильно способном и жадном на грамоту человеке.

Гришин не сразу ответил хозяину. Он с удовольствием слушал, как урчит у него в животе пища. Перекликаясь неистово, на дворе орали весенние петухи. Запыхавшаяся Вардуш несла с лестницы третью до краев наполненную тарелку. Все это было хорошо.

— На строительстве момент неподходящий, ревизия,— отвечал наконец Гришин, поднимая многозначительно бровь над тарелкой,— вот после ревизии — дело, брат, другое, после ревизии, брат, нам и не один человек понадобится.

Мысль о ревизии напомнила ему рыжего — что-то уж очень долго запропастился рыжий!

А когда зайдет такой разговор, найдите мне человека в обществе, чтоб не вспомнил нечто, подходящее к случаю. Понизя голос и взглянув на дверь, старик Агаси

сообщил технику о местных чигдымских новостях: и в Чигдыме у них неспокойно стало,— на днях двух воров поймали — жили тут под видом дачников. И крупные оказались воры: по дорогам грабили. Теперь, говорят, награбленное разбирают и хозяевам возвращают.

— Воры? — удивился Гришин, прихлебывая навар и начиная смутно тревожиться за Арно Арэвьяна.

II

Где же был рыжий? Знал ли он, что говорилось вослед ему на участке? Икалось ли рыжему, по верной примете, от Клавочкиных пересудов?

Рукою Клавочки принятый и куда нужно снесенный документ лежал сейчас перед ним на столе, за которым сидел он против начальника угрозыска. Рыжий только что замолчал, и в комнате еще звенело эхо юношеского голоса, еще стояло очарованье задумчивых глаз рыжего и его спокойного рассказа. Рыжий уютно сидел, как у себя дома, на стуле, и если б не сжатые губы, изобличавшие в нем стыд,— рыжий не за себя стыдился,— и жест, с каким, перебрав, он отодвинул от себя писчий лист с убористым и банальнейшим, хорошо знакомым ему начканцевым почерком, можно было б подумать, что рыжий очень доволен и сейчас будет чай пить. Начальник угрозыска, крутя в руке папиросу, так и не удосужился закурить, покуда ставил, часто макая в чернильницу, последнюю букву. Он спешил покончить с этим анекдотическим делом, и внимательный рыжий, медленно прочитав все, что записал с его слов по-армянски начальник,— где нужно, поставил точку, а где нужно, и — запятую,— перечел еще раз, сощурился и подписал.

— Желаете получить вещи? — спросил начальник угрозыска.

На стульях были разложены: серый пиджак, альпийская палка, кожаный бумажник с монограммой, две-три толстых книги, вязаное кашне. Заношенно и враждебно глядели вещи со стульев, как будто набрали чужой жизни за полгода,— так глядит пойманная и одичалая, отвыкшая от хозяина собака. Бумажник был пуст.

— Н-да,— проговорил начальник, покуда Арэвьян, не торопясь, засунул бумажник за пазуху амазонки, обвязал своим кашне толстые книги, перекинул пиджак через руку и с удовольствием взял старого друга — альпийскую палку.— Н-да, гражданин в угрозыск за-

явление подает, что его обокрали, акт о том на месте составлен, мы воров изловили,— а тут целое сочинение! Вот уж у некоторых от страха глаза велики. Забавные у нас люди.

Коротко, кивком, ответил рыжий, ему все еще было стыдно. Он простился с начальником и понятыми и вышел из угрозыска.

С минуту он постоял на крыльце. Что за глупость! И стоило акт составлять! С полгода назад раздели его в темной улочке ночью,— отняв все, что было на нем и с ним,— и месяцами держали этот хлам, должно быть не найдя покупателя. Но почему «агитатор»? Откуда наплел начканц весь этот несусветный бред? Постояв, он двинулся. Он шел навестить школьную конюшню, где оставил рейки и теодолит.

Стараясь прочно забыть, что случилось с ним, рыжий отдался мыслям о новом своем ремесле,— за эти пять дней он привык к Гришину и Айрапетьянцу, привык к инструментам.

Люди были просты и грубы, без психологических тонкостей. Даже худой костяк Айрапетьянца, если глядеть на него не спереди, а в спину, был грубый костяк, видавший виды, носивший ношу, его ноги в сапогах шли под тупым углом, вразвалку, как ходит человек, близкий к природе и привыкший, если полезет штанина из сапога, сунуть ее на ходу обратно или заткнуть за голенищу пачку папиросной бумаги. Люди были просты и грубы, а и того проще были инструменты. Их можно было нести в мешке. С ними не очень церемонились в дороге. Да и сама дорога то там, то сям обсажена была простым и грубым следом их ремесла,— на вершине торчала в одиночестве веха, от нее, сбегая к ложбине с той простотой арифметики, с какой пить идет зверь непременно к логу и мерить идет изыскатель тоже, как на водопой, держась на лог, стояли другие тонкие силуэты, напоминая, что местность обхожена и вымерена.

В этой простоте ремесла и людей было нечто успокоительное. Последнее время участок и рыжий вместе с участком жили такой нездоровой жизнью, а вокруг, по терминологии начканца, «такое закручивалось», что вырваться с головой из сложности, отдаться простоте и архаике очень древнего, быть может древнейшего, ремесла, быть с нехитрыми и простыми мастерами этого дела показалось Арно Арэвьяну счастьем.

Арно Арэвьян, хоть и очень немногие догадывались об этом, был, в сущности, человеком нервным.

На участок ему уже не хотелось,— встретить начканца, вернее дать этому человеку встретить себя, рыжему было, как скромно определил он в мыслях, «не очень удобно». Посвистывая, чтобы изгнать окончательно привкус начканца, он дошел до конюшни.

Маленький школьный двор, где они остановились, был запущен, но и в этой запущенности сияла весна. Черная пирамида кизяка слезилась в углу двора от солнца, таяла желтой жижей мочи, как тает снеговая глыба. Славный дух шел от конюшни,— там стояли лошади, переступая с ноги на ногу и втягивая мягкой губой ячмень из стойла.

Рыжий поднялся в школьную комнату и здесь собрал по подоконникам и табуреткам, что Гришин и Айрапетьянц успели раскидать без надобности,— всю их нехитрую походную канцелярию: ролики, кальки, обкусанный букет карандашей, синие листы с белыми струнами трансверсалей,— Гришин учил рыжего искусству проложения местности.

Он подобрал с пола тонкий мелок, тушь в пузыречке, разную карманную труху, с удовольствием расходуя время и крепко увязывая дорожную сумку. Арно Арэвьяну не надоело чувствовать себя десятником, как никогда, впрочем, не надоедала ему ни одна профессия.

Собрав вещи, он оглянулся разок для проверки и сошел вниз. Под лестницей была деревянная дверь в комнату, где жила чигдымская завжен Гино. Он и в нее заглянул, проходя,— скорее всего просто нечаянно, потому что ничем эта комната не интересовала рыжего. Но, заглянув, остановился.

Эта неряшливо убранная комната, подобно сотне других, имела на себе стиль безыменной армии Марджаны, и аскетизм ее говорил об отсутствии у хозяйки времени на себя,— посреди была железная печь, почти никогда не топившаяся, на ней стоял сломанный примус. Кровать в углу, завешенная справа и слева бельем, чулками для просушки, сброшенным платьем. На выключателе возле дверей — дешевый бумазейный в клетку халатик, обшитый фиолетовой тесьмой, мыло в разбитом глиняном черепке на полу, возле ведра с водой,— но рыжий глядел не на это и даже не на чьи-то два увязанных и очень знакомых ему чемодана посреди комнаты,— рыжий глядел на письмо и телеграмму: письмо и телеграмма, видимо

просунутые под дверь, в отсутствие хозяйки, лежали совсем близко на полу и адресованы были Марджане.

Прочтя адрес, рыжий почти вскрикнул от неожиданности — он вдруг сразу узнал и чемоданы. Марджана была здесь, она должна прийти сюда,— потребность говорить с ней охватила его.

Он сунулся было в ворота, но тут же вспомнил, что и Гришин ждет его у Агаси и нужно было предупредить Гришина. Не зная, как ему быть, он замедлил в подворотне и тут увидел трех девушек,— они приближались гуськом по грязной деревенской улице.

Марджана шла последней, идти нужно было медленно и по камушкам, чтоб не увязнуть по щиколотку в грязи. Глядеть нужно было себе под ноги — занятие раздражающее, и поза — когда уже не думаешь ни о чем постороннем и не о самой себе со стороны, а просто, сердясь на обстоятельства и трату времени, балансируешь с камня на камень,— невыгодная, конечно, поза.

Мало кто мог бы простить себе, если бы застали его в этой позе и за таким занятием, но Марджана, насупив брови, замученная собранием, а до него долгим, мучительным путешествием верхом из дальней деревушки района в Чигдым, и без того шла сердитая и постаревшая.

Марджану расстроил потерянный авторитет. В Марджане боролось нечто,— она и сама не знала что,— боролось нечто против необходимости поднять авторитет. Бунт был в Марджане, жалкая улыбка Гино... Болезненно вспомнив эту улыбку, она вскинула голову и вдруг встретила блеснувшие из подворотни разбитые стекла.

На оплошность, как и на подвиг, нужно меньше секунды времени. Прежде чем сообразить, что она делает, захваченная врасплох, с забившимся сердцем, она ни с того ни с сего прошла мимо рыжего не поклонившись. Она и не притворилась, что не узнала его,— правая, обращенная к нему щека Марджаны вспыхнула.

III

Арно Арэвьян остался под воротами. Он был поражен. Рыжий был умный человек. Он понимал, что ребяческий поступок Марджаны,— серьезной и сдержанной,— мог только одно значить... Мысли смешались в нем.

И все же он не хотел и не мог верить медленной, разгоравшейся в нем, ослабляющей радости,— он стоял,

улыбаясь, почти сослепу, как если б из очень темной комнаты вышел на свет. Но и Марджана была умной женщиной: она поняла, что она сделала; двигаясь и говоря с завжен, подняла с полу письмо и телеграмму, прочтя их,— она холодела от стыда. Всему виной была глупая Гино,— она бесилась на Гино. Она чувствовала свою правую щеку отдельно от лица. Щека была ненавистна ей в эту минуту, как Гино, как Арно Арэвьян,— так бы и ударить себя в эту щеку! И взгляд у нее стал такой растерянно-виноватый, что судья Арусяк сделала свои выводы.

Письмо и телеграмма подруге были из города Масиса. Весь свет знал сейчас, о чем можно писать ей из города Масиса! Человек уходил, и «как она еще любит его», ревниво подумала Арусяк.

— О чем тебе телеграфирует тетка?

Опомнившись, Марджик взглянула вокруг себя. Легкое, невесомое равнодушие вставало в ней к этой комнате и ко всему, что тут было. Легкое, невесомое равнодушие к вопросу подруги и к письму на коленях...

— Ты накурила в комнате! — сказала она капризно.

Ей невыносимо было сидеть дольше. Она встала, словно хотела куда-то выйти,— в этом вольном или невольном движении было так много выразительности, что Арусяк от неожиданности косить перестала.

Изумленным взглядом она впилась в подругу,— подруга уходила, как если б стены комнаты были картонные, и сами они из папье-маше, и ничего вокруг,— так выходят во сне или в мечте. Хорошея с каждой минутой, Марджана стояла посреди комнаты, сжав пальцы в кулачки.

— Пусти ты меня,— вырвалось у нее, хоть Арусяк и не думала удерживать подругу. Предупредительная Гино рванулась было, но Марджана захлопнула за собой дверь.

Она прошла через весь двор, под ворота, и ничуть не удивилась, что рыжий был еще тут.

Рыжий стоял тут совершенно по-прежнему, руки в карманы, и не смотрел никуда, кроме улицы, но он услышал стук захлопнутой двери. Острое нетерпенье сжимало ему горло.

Четверть часа — материальное течение времени, когда вдруг то, что вошло в человека, имеет свой собственный, ни на что не похожий, сумасшедший ритм,— течение времени остановилось. Два спокойнейших чело-

века, равно охваченные нетерпеньем, пряча глаза друг от друга,— подобно борцам на арене,— должны были встретиться в подворотне.

Арно Арэвьян не верил еще. Марджана не знала еще, что скажет,— ей было важно отнять у рыжего,— она ненавидела рыжего,— этот маленький случай, безделушку, мелочь, пустяк, в котором она с головой себя выдала, этот глупый детский испуг без поклона,— а как отнять, она совершенно не знала, и она шла, сжав кулаки.

Перед тем как к ней повернуться, рыжий поднял к лицу пальцы — он снял очки. Он обратил к Марджане лицо с беспомощно-близорукими, сильно сощурившимися, неуверенными глазами. Сжимая очки, он стоял и ничего не говорил, сумасшедший ритм затих в нем. И Марджана, подойдя, вдруг почувствовала, что только об этом смешном человеке она и думала всю неделю, ни о чем другом, кроме него, не думала.

— Хоть бы вы наконец вставили это дурацкое стекло! — сказала она Арно Арэвьяну голосом, каким говорила с ним в своих мыслях, и протянула руки к той руке, где были очки.

IV

Гришин увидел рыжего в ту минуту, как к нему подошла Марджана. Прибавив ходу, он крикнул через всю улицу:

— Арэвьян! Где ты пропадал?

Он очень прилично поел. Он выпил. Не так чтоб уж очень, но выпил.

Айрапетьянц, тонкая жила, плелся за ним, делая плавательные движенья или вроде того, как дают барышням бицепсы щупать, но Айрапетьянц, известное дело, много не мог выдержать.

Радостно возбужденный Гришин до крайности интересовался, что́ там, в угрозыске, спрашивали у рыжего...— но! Хитро подмигивая, он ничем не обнаружил своего интереса. Как человек истинно выпивший, Гришин стал преувеличенно, до тонкости осторожен. Его хитрый пьяный глаз с обгорелыми бровями так подмигнул,— дескать, держись, знаем,— так скосился на Марджану,— «партийка небось?» — что рыжий не выдержал и расхохотался.

Смех был ему нужен разрядить волненье.

— А что я тебе скажу,— важно произнес Гришин,

дойдя до них и остановясь, слегка раздвинув ноги и загораживая собой явно подозрительного Айрапетьянца.— Налево кругом, марш. Иди, брат, в Молокосоюз, там обещали машину нам дать, скажи — Гришин послал. Скажи, чтоб в два счета — и никаких. Пустая идет на станцию.

— Вот и отлично,— вмешалась Марджана. Смех рыжего заразил и ее, она стояла теперь во всей своей обычной спокойной прелести, и милый негромкий голос Марджаны никак уж нельзя было не дослушать.— Вот и отлично,— вы меня тоже прихватите на машину. Я получила телеграмму от тети,— это она сказала одному Арэвьяну.— Тетя с экскурсией на участке, она очень просит приехать, чтобы повидаться. Я нынче поеду, а завтра как-нибудь доберусь назад,— прихватите, можно?

— Непременно прихватим,— ответил рыжий.

Он посвистывал. Он надел очки. Он опять стал десятником, а впереди был вечер в машине, стеклянное небо апреля уже становилось розовым, повис наверху нереальный, совершенно невероятный какой-то, тощий и трогательный, казавшийся мокрым, как новорожденный ягненок, и хвост под себя поджавшим,— месяц.

Самое же невыносимо забавное было в двух пьяных, веселых людях, до смерти жалевших рыжего. Айрапетьянц даже икнул от жалости и тотчас поправил у себя воротник.

Ребята теплые и не дураки, они припасли рыжему кой-что в бумаге, а главное — основательную бутылочку, высовывавшую свою честную голову из кармана пальто Гришина. Оба порядком мечтали накачать друга в дороге, да и самим раз-другой пожелать здоровья, а женщина — верней, и не женщина даже, партийка — всю музыку рыжему испортила.

Причмокивая и подмигивая, строя убийственно жалостные рожи, Гришин рукой показал Арно Арэвьяну на заветный карман и погибшее счастье.

— Я пойду приведу машину,— сказал рыжий.

Марджане тоже вдруг сделалось истерически весело. Уже Арно Арэвьян скрылся на улице, а оба техника отсчитывали ступень за ступенью наверх, в школьную комнату, а она все еще прыскала со смеху, тщетно стараясь задушить хохот платком,— ей вдруг вспомнился низколобый Гагик, мать Гагика, сестра Гагика, письмо Гагика, защищавшегося от срамоты, а срамота была — в нежной любви завжен. Только и было, может, всего,

что походила бедняжка завжен по улицам, чтоб встретить Гагика на перекрестке, или раз-другой под видом дела спросила о нем у крестьянок...

Трагическое вставало во всей нелепости и обращалось в комизм,— легко хохоча, она вошла в комнату, где обе девушки, озабоченные ее уходом, судили и гадали, что случилось. И пусть хохочет Марджана! Эпоха и труд сейчас слишком серьезны, чтоб не лелеять это коротенькое веселье, как драгоценный миллиграмм радия.

— Вещей у вас нет? — через полчаса постучав ей в окошко, спросил Арэвьян.— Вы знаете, кстати, кто повезет нас? Помните меланхоличного шофера на линейке, у кого жена умерла?

Чтоб окончательно закруглить юмористику, жизнь и тут подстраивала невероятный сюжетный фокус. Как его не помнить! Марджана отлично помнила шофера. Он первый сказал ей, кто был рыжий,— вернее, тетка первая рассказала ей о рыжем. Шофер получил машину, он служит в Молокосоюзе.

Нужно было садиться. Ей хотелось говорить с Арэвьяном, рассказать о тетке, но и Гришину хотелось говорить с Арэвьяном, узнать наконец, в чем дело было.

Первые пять минут у машины прошли в рассаживанье и укладке.

Уже вовсе стемнело, и было светло только от слабого света месяца.

Весна не ушла из воздуха, не подмерзли лужи, в свежем ветре дуновеньем лихорадки и остывающих луж стояла весна, как стоял месяц в небе. Пахло снизу запахом горячего лаваша, где-то прилежной хозяйкой нескончаемо выпекаемого в пурне.

Кто бы с ним ни хотел говорить, а рыжий помнил и знал свое дело. Он не спеша принес и уложил рейки, ящик с теодолитом. Любо было смотреть, как несет он с лестницы дорожные мешки, не забыв прихватить и шапку Айрапетьянца: сам Айрапетьянц спал бестревожно,— он первый залез в машину, на лучшее переднее место, и тотчас заснул.

Марджана не могла сдержать жалобную улыбку,— неужто придется ей сесть с Айрапетьянцем?

Но рыжий держал дверцу и помог ей сесть — рядом с Айрапетьянцем. Гришин полез к шоферу, удрученно зевая,— все были недовольны, и даже шофер был недоволен.

Один Арэвьян еще раз спокойно обошел автомобиль,

посмотрел, все ли в порядке и крепко ли увязаны рейки, потом снял шапку и поклонился двум девушкам, провожавшим Марджану.

— Я завтра вернусь! — крикнула им Марджана.

Наконец он вошел не торопясь в машину, захлопнул за собой дверцу, откинул переднее сиденье и сел лицом к Марджане. Колени их соприкоснулись. Арно Арэвьян отодвинул свои. Мерцанье разбитых стекол, укачиваемое машиной, казалось, говорило Марджане о невозмутимом спокойствии их хозяина.

Гришин, поворотясь, энергично толкнул его в спину. В громком шепоте можно было разобрать слово «шамать».

— Нет, спасибо!

— А выпить? — голос Гришина еще понизился и был полон уныния.

— Ни к чему!

— Ну и ну!

Отворотясь, техник занялся воркотней. В пьяном виде он ненавидел политику. Политика — не свой брат. Политика и выпивка — две вещи несовместимые, ну а партийка в ночной тиши, при молодом месяце, бок о бок с вами,— есть факт политический.

— Я с вами хотела говорить, а сейчас все слова растеряла,— сказала Марджана.

Голос звучал жалобно. Глаза глядели жалобно. Кончики пальцев она вытянула больше, чем требовалось, но пальцы лежали, не принятые чужой рукой, и, глядя на него, Марджана думала: а ведь этот смешной человек, чучело,— она вспомнила, как в вагоне назвала его чучелом,— он никогда ни в чем не был смешным, он был хозяином положенья, все, что он делал,— хотелось с ним согласиться, что это правильно.

Но в этот вечер автомобиль летел дивною лентой шоссе, месяц кружился в небе, незабываемый ветер шуршал в волосах, в этот вечер, который, быть может, никогда не повторится,— Марджана со вздохом вспомнила, что не дописала к завтрашнему дню отчета,— жизнь во всей беспросветной серьезности, столбики дней, как календарь на стене,— она видела, все это гонится и догоняет, завтра уже догонит... почему отодвинулся рыжий?

— Я с вами тоже хотел говорить,— сказал рыжий. Он хотел говорить с ней еще тогда, до встречи в подворотне. Он хотел рассказать обо всем, что пережито и сейчас остро переживается на участке,— о гибели моста, об Агабеке, о секретаре, о системе начканца, о нездоровом

настроении на участке. Он хотел больше всего говорить о секретаре. Мысли теснились в нем.

— Ведь я все время, с первой минуты встречи, разговаривал с вами мысленно,— почти пробормотал он приглушенно.

Могучий женский инстинкт подсказал Марджане, что рыжий отвечает ей глубже, чем протянутая ее рука, что это волнение, пришедшее с весенним ветром. Тихонько она оттянула руку.

— О чем же вы говорили со мной?

— Помните тот первый вечер на участке, разговор у Косаренки? Ваша подруга, судья, сказала о секретаре: «Не нравится мне секретарь»?

Начало было неуклюжее,— но рыжий торопился, он видел ее внимательные глаза на себе. Как бы хотел он иметь дар речи, быть гением слова, быть музыкантом, чтоб взмахом руки передать точность знания, ту точность знания, что ценил рыжий в других и себе выше самых блестящих талантов и что труднее всего передается в слове. Настроение на участке... Он любил Агабека и не очень любил секретаря, как Степанос и десятки других на участке, вернее — не очень его чувствовал. Но все эти дни, присматриваясь к секретарю, он с изумлением видел, как разворачивается этот медленный, не очень умный на вид, похожий на семинариста парень,— во всей смешной ерунде своей педантической, нарядной сущности,— как он разматывается изо дня в день, чтоб под спудом деталей, всей мелочи слов и жестов, дойти вдруг до оси человеческого характера — до содействия. Секретарь — один на участке — действовал, и правильно действовал в эти дни. Рыжий втянул верхнюю губу в рот, он засопел, он думал, подбирая слова, чтоб все это лучше, точнее, правдивее выразить...

— Я понял, что такое линия партии в этом хаосе событий и настроений,— закончил он наконец свою не совсем складную речь,— и хочу вам сказать...— Он вдруг покраснел, как юноша, он никак не смог договорить. Ему невозможным стало быть вне партии, его потянуло в партию, он написал перед самым уходом в горы с изыскателями письмо к Марджане. Быть частицей этого могучего, коллективного, единственного в мире движения к правильному действию, движения к истине в огромном круговороте мирских страстей и поступков, где случай, как безголовая обезьяна, гонит вещи,— случай, анархия, борьба интересов, самолюбий, честолюбие,

волчья грызня друг с другом,— и только ясная мысль коммуниста-большевика, мысль партии, пробираясь сквозь все заторы, отметая, ломая, пронизывая их, указывает человеческой совести дорогу к истине. Он никак не смог договорить это, потому что почувствовал в словах, встававших сейчас в его душе, беспомощную, наивную «беспартийность», как сам он охарактеризовал их.

— Секретарь — хороший партиец, но он там недавно и не сразу овладел положением. Рабочие справедливо критиковали недостатки, но критика рабочих стала вырождаться в групповщину, во внутреннюю склоку, и это, к сожаленью, потянуло за собой Агабека,— вот в чем секрет положенья на участке,— утомленно немного ответила Марджана.

Для нее все это было ясно и понятно. И она, как многие другие ее товарищи, в разговоре как раз осуждала секретаря — за то, что он дал склоке развиться, не сумел начать действовать гораздо раньше. Ей вдруг показалось, что сидевший против нее большой человек гораздо, гораздо моложе нее.

— Вот видите! — быстро ответил он.— Вы так скоро и точно все сформулировали. У вас уже есть опыт. Это как раз то, о чем я... Это движение к правильному выбору, к истине... Партийное сознание!

Марджана неожиданно для себя вздохнула. А сама она чувствовала себя в это время такою «бабой», как мысленно определила она. Ей было жалко вечера, жалко месяца в небе, жалко прошедшей по сердцу теплой волны нежности, которая — думалось ей — безвозвратно ушла, похоронена и оказалась случайной, как пролетевший ветер. Все снова становилось на привычное место.

Прошло полчаса, прошел весь путь до участка, трижды кружил месяц то справа, то слева, прежде чем опять заговорила Марджана:

— Помните мягкий вагон? Там ехал человек... Этот человек сейчас уходит, вы его знаете. Этого человека я думала, что люблю, и сошлась с ним. Это было унижение, а не любовь. Погодите, не отвечайте ничего,— не в том дело, что отношенье к своей женщине, к партийке: сошелся и отошел, никаких обязательств, не в том, что он неожиданно для меня женился,— так, что я даже и не знала, и притом на мещаночке, на чужой, а в том, что тут не было любви, ничего не было, и омерзительна мне память об этом, омерзительна память о лишнем в

жизни, ненужном. Омерзительно тащить в жизни, что не нужно было иметь. Я от этого мучаюсь, и никто не знает, отчего мучаюсь.

— Но ведь и нет ничего, раз не было! — голос рыжего прозвучал лаской. И голос и слова были так просты и так утешительны.

Айрапетьянц неожиданно проснулся: «Как это так ничего нет? В кармане, в газете...» Впрочем, тут же и заснул снова Айрапетьянц.

— Любовь идет долгими путями, ее никогда не надо форсировать,— продолжал говорить Арэвьян, и Марджане показалось, что он отвечает не только на ее рассказ о себе.— Любовь надо очень беречь, очень, очень беречь. Когда она есть — она есть. И неразделенная — она есть, и это очень большое счастье, очень большое благо. А о том, чего не было,— стоит ли вспоминать и мучиться?

Марджик засмеялась нервным, тихим смехом, чувствуя, как что-то, полчаса назад казавшееся ей похороненным, могуче встает вдруг из самой глубины ее существа и переполняет сердце теплом и счастьем.

На том самом месте, где когда-то остановилась линейка, шофер ловко, на полном ходу, затормозил машину. Он долго прощался с ними и тряс рыжего за руку.

Когда Арно Арэвьян покончил наконец со всеми своими делами,— Марджик терпеливо ждала его,— он с узлом и рейками в одной руке — другую, свободную, протянул ей. И она взяла эту крепкую руку, и рядом они пошли по тропинке на участок.

Глава четырнадцатая

РКИ НА УЧАСТКЕ

I

Станция в глубине каньона краснела горстью нескольких черепичных крыш, за которыми не было видно поселка. Здесь почти не было сколько-нибудь большого движения, указывающего на близость населенного центра.

Справа и слева стоял каньон, исчерченный зигзагом деревенских тропок и крепким нажимом Чигдымского шоссе. По тропкам болталась ослиная кладь, под кладью семенили сухие ноги осла. По шоссе катились шары

молоканских возов с силуэтом воткнутого в них кнутовища, словно ложки в воздушный пирог,— и это было все.

Было все, покуда пятой мамонта не вступил на станцию гидрострой. Тогда эта небольшая станция в ущелье с отголоском вечной, величавой бессонницы железнодорожного царства, с запахом нефти, возбуждающим, как алкоголь, со спящими вдоль перрона людьми на мешках, покуда неторопливо, к поезду, не подбросят люди мешки на плечи, с шелухой и бумагой, осаждающейся в виде атмосферных осадков, с грязными лестницами, грязным асфальтом, обшарканным залом буфета, где тоже спит сон на длинных скамьях, пропахших до безнадежности ножным потом, с торопливым фонариком, бегающим, словно клопик, по полотну, и голосом, полным влаги: это вдруг ударит язычок в медное небо колокола, возвещая поезд,— эта небольшая станция заразилась лихорадкой больших строек. Она внушительно обросла новыми для нее зданиями, расширилась, умножила рельсовые колеи. Расти было некуда — ущелье теснило ее, но черепичные крыши побежали наверх, по склону. Время стоянки поездов здесь удлинилось. Увеличилось число железнодорожных служащих. Появилась внизу длинная деревянная контора, а в сущности — постоянная гостиница, где приезжавшие на гидрострой с вечерним поездом могли переночевать.

Но за последнее время и станция, обязанная гидрострою своим ростом и значением, подхватила лихорадку, перебросившуюся сюда со строительного участка.

Перебегая за своим делом по рельсам, железнодорожник, остановясь, мог бы сказать вам, какая последняя на гидрострое неприятность. За игрой в покер толстый начальник станции передавал партнеру, скрывая от него свое тайное удовольствие, очередной гидростроевский скандал. На телеграфе, где подоконник изрезан перочинным ножом, наподобие курортной скалы, увековеченной туристами, строчили возмущенную заметку о головотяпстве на гидрострое.

Гидрострой пришел на станцию портфелями командировочных, суматохой сотен приезжих, нечаянным окриком не по адресу, завалами накладных, грузом десятков вагонов, множеством лаптей и сапог, обалдело обступивших ларек и скудный буфет, где под тусклою лампочкой качается одурь позавчерашнего сморщенного от сухости барашка,— и все, что вчера еще каза-

лось благом для станции, сегодня было встречено уклончивой усмешечкой железнодорожника, вспомнившего вдруг, что он — *лицо другого ведомства.*

У каждого ведомства, как известно, свои интересы. Между дорогой и гидростроем неожиданно вспыхнула борьба ведомственных интересов. Складской сторож, приемщики, артельщик ежедневно вступали в бой со станцией, называвшей себя в сношениях с гидростроем «доро́гой». Дорога вцеплялась в простои вагонов, неправильные накладные, перевранные депеши, занятость телефонной сети, не прямо, а через белые квадраты казенных отношений; чуть ли не каждый день казенный пакет от станции втирался теперь в сумку чигдымского почтальона, чтоб проследовать на участок. Так отразилась здесь лихорадка, бившая людей на участке.

Но в это утро, встречая тифлисский поезд, дорога как будто забыла ведомственный интерес.

Вот уже двое суток, как Аветис в кожанке и с ним три плотника из артели Шибко, при дружественном сочувствии дороги, жили на станции и беспрепятственно вторгались в станционную жизнь. Они залепляли телефонную будку, ведя по прямому проводу таинственные разговоры. Их видели на телеграфе, запросто, через плечо, заглядывающими под палец телеграфисту, когда принимал палец бумажную ленту с точками. Буфетчик нескончаемо мыл стаканы и отпускал чай и папиросы «на круг».

Начальник станции и прикативший на моторной дрезине помнач железнодорожного участка, возбужденно жестикулируя, самолично ходили с гидростроевцами по полотну и долго, покачивая головами, глядели вниз: внизу, у высокой каменной дамбы, отгородившей полотно от капризов Мизинки, лежал символ погибшего моста, несколько штук занесенных рекой и прибитых сюда бревен. Дамба, частично водой расковырянная, и бревна, застрявшие в ее вымоинах памятью о мосте,— так и держались рядком, бок о бок, подобно неожиданному сговору гидростроя с дорогой. По непонятному распоряжению бревен отсюда не убирали и дамбу хранили как она есть — в неприглядной размытости ее серого, крепко потрепанного бока.

Тифлисский поезд опаздывал.

Туман был так силен, что утро, пронизанное красными точками фонариков, походило на ночь. Но в вечной и хлопотливой бессоннице крохотный мир станции

продолжал свою жизнь,— он был форпостом строительства.

В это утро, как и всегда, старый замученный паровоз с собачьей судорогой понадергал из туннеля несметное количество товарных вагонов. От туннеля к туннелю весь второй путь была занят ими. Приход и отход товарных, неопределенность стоянья, дрожь их длинных старых составов и бесконечные аварии с ними были самым больным местом начальника станции. Вагоны скрипели, толкаясь, как люди в живой очереди, и требовался весь обычный моцион кондукторской бригады, свистки, беготня к машинисту, чтоб дерганье состава наконец прекратилось. Тогда выступил заведующий складом.

Забыв, что подходит долгожданный поезд, рукой махнув на всякие там поезда и людей в них, побагровевший от ярости, заведующий потрясал в лицо начальнику станции бумажонкой, массивным, но энергичным жестом крутил издалека голову вагонному проводнику и требовал немедля опростать вагон,— задерживать вагон было негде; но и принимать бочки, летевшие теперь вниз, на мокрую землю, тоже было негде. Терпеливые бочки с цементом ложились в лужи, терпеливый старый вагон с меловой отметкой стоял и скрипел, терпеливая грязная земля в лужах подхватывала бочки,— вещи ждали, чтоб их услышали,— и как раз в эту минуту на первом пути заблестели из туннеля два ярких, пронзительных глаза. Бойкий молодчина-паровоз с принаряженным хвостом пассажирских вагонов, шипя и свистя, вылетел из туннеля, зачавкал челюстью и, замедляя ход, как судьба, медленный и неотвратимый, подошел к затрясшемуся перрону.

Аветис поискал глазами единственный желтый вагон и впопыхах бросился к нему, но тут же и остановился. Внезапный страх охватил Аветиса: из вагона и в самом деле стали выходить люди. Верил или не верил Аветис в собственное могущество, вызвавшее вдруг из тумана этот поезд и людей в нем, но люди были реальностью, рано утром, в предрассветный час, они один за другим спускались из вагона, и людей было много — больше, чем можно было представить себе.

Кондуктор с фонариком стоял и ждал, а из вагона, опустив плечи, все выходили да выходили новые люди,— в тумане колыхались портфели, кружились роговые очки, сверкнула кокарда на фуражке железнодорож-

ника; пухло вылез бывший начальник строительства, товарищ Манук Покриков; за ним секретарь райкома; кого окончательно не ждали, вылез коренастый человек с серьезным лицом — главный инженер, прихваченный прямо с московского поезда; и, наконец, журналист с аппаратом.

Зайдя им навстречу, Аветис помахал над головой фуражкой.

Но приезжие шли мимо, не обратив на Аветиса никакого внимания; они шли мимо, держась особнячком,— шли мимо, как марширует — улица сама по себе, а он сам по себе — военный взвод.

Рабочие из артели Шибко и Аветис остались стоять. Они глядели вослед приехавшим со странным и неопределенным чувством; тут были, может, обида, а может, и нечто вроде конфуза; посильней, чем обида и конфуз, шевелилось неясное сознанье, что теперь пошло дело всерьез, теперь само пошло дело, теперь покатилось,— а куда докатится...

Тревожный вопрос о качестве — о качестве всеобщей работы и в том числе их собственной работы — неожиданно встал перед рабочими и Аветисом.

II

Приезжие, зайдя в станционное помещенье, пробыли в нем недолго и, когда вышли, разделились: группа их с главным инженером прошла туда, где грузили бочки с цементом, а старик в кокарде, предводительствуемый сторожами с фонариками, медленно повернул к дамбе. Он был высок ростом, его большое, старое серое ухо, торчавшее над облезлым бархатом воротника, было наслушано ведомственной грызни. Ухо привыкло ко всякой всячине, ухом улавливал он сейчас поспешающий вслед за ним шаг помнача железнодорожного участка.

Уминая рукой непослушный, почти пружинный напор своих лохм, помнач развязно спешил к дамбе, но перед самой дамбой пал духом. В бледном, редеющем тумане изрытое тело дамбы всплыло вдруг во всей своей пространственной величине, как жалобщица на суде. В корявых вымоинах тощие бревнышки лежали подобные птичьим перьям. Напрасно откашливался помнач,— вещи заговорили прежде, чем люди открыли рот.

— Роль тарана,— выговорил наконец помнач участка, озираясь за поддержкой.— Вон этаким образом...

Он для наглядности обеими руками взмахнул из стороны в сторону, чтоб изобразить гибельную роль моста, над которой они вот уже двое суток упражняли всей станцией свои возмущенные чувства.

— Дурака не валяй,— скучно произнес старик,— вам были отпущены на ремонт средства. Дамбу-то вы с прошлогоднего паводка осматривали? Ремонтировали дамбу?

Он уже уходил, и помнач почесал под фуражкой. Помнач даже сплюнул на три бревна внизу и бесцельно, хотя и несколько успокоенно, как человек, которого сняли с акробатического шеста, побрел по перрону.

Шофер гидростроевской машины ждал гостей утро, ждал день, ждал до глубокой ночи,— гости сидели в конторе склада, сидели в станционном здании, ходили по полотну, и предатели-вещи поднимали им навстречу рваные лица бумаг, тощие лица исходящих, твердые рты засовов, жалкие руки поломанных ящиков, битой посуды, потерянной накладной. Вещи цеплялись за фалды начальника станции, цеплялись за хмурого заведующего складом, как водоросли за утопающего.

Шофер, хоть и заходил в буфет, но, против обыкновения, был молчалив, глядел в сторону, на вопрос нехотя бурчал ни тебе «да», ни тебе «нет», а так, недружески, что его дело — машина. Его дело — скажут везти, везу.

Аветис в кожанке долго чего-то прохаживался по перрону, но никто не имел надобности ни в его речи, ни в пометках, ни в указаниях Аветиса. Молча и в сомнении двинулись он и другие рабочие назад, на участок — предупредить Агабека.

Только к трем часам ночи, нервно позевывая, вышли люди со склада, но и тут они разделились,— секретарь райкома, бледный человек в роговых очках, остался, чтоб присутствовать на собрании ячейки.

Время остановилось; мимо темных бочек, тихого дождика, остова деревянных балок, недостроенного склада, мимо размытой дамбы люди, повесив голову, шли к комнате станционного клуба, где краснел кумач из угла, а люди были все те же самые: телеграфист, начальник станции, помнач железнодорожного участка, рабочие с базы, завскладом, помощник завпочтой... Первое звено цепи, как бусинка с четок, было ревизией нащупано, и первое звено оказалось вовсе не хитрой

гипотезой о «таране»: халатность и нездоровые ведомственные отношения на станции — вот что отметили приезжие.

III

Ежегодно, в определенные сроки, проводится плановая ревизия.

Она стала частью самих работ; к ней привыкли и ее ждут. Каждый отдел встречает ее прошпиленным докладом, цифры сгоняются к ревизии отчетами, подобно концу семестра.

Она имеет свой метод: сперва проникает в штаб, чтобы изучить управленческие папки, проверить бухгалтерию; потом вдвигается в жизнь предприятия, обследует работу на месте, созывает общее собрание, слушает голоса людей и сама подает голос.

Но внеплановая ревизия, самый факт ее — неожиданны для хозяйственника. Внеплановая ревизия есть выражение недоверия, поднятая тревога, своего рода «руки вверх»,— она застигает вас как снег на голову.

Естественно, что товарищ Манук Покриков был оскорблен, был унижен в лучших своих чувствах, был нервно расстроен. Нижняя губа товарища Манука Покрикова раздулась, как бывало с ним в нервические минуты. Потребность высказаться держала его весь этот день в лихорадке, и к ночи он не чувствовал никакой усталости; быстренько подходя к автомобилю, он думал про себя, тревожно косясь на приезжих: «Середнячки, мелкая публика!» Ни один из них не мог бы поспорить с самым младшим инженером из его управления.

Середнячки, кряхтя и позевывая от усталости, уселись с ним рядом. Главный инженер занял место возле шофера.

Ревизия ехала сюда впервые. Но как раз в этот период времени, когда правые уклонисты в партии мешали строительству и подрывали доверие к нему, на многих стройках появились общие недочеты и погрешности, вызванные одними и теми же причинами — медленным прохождением проекта, приостановкой строительства, трудностями финансирования,— и каждый из трех инспекторов руководился на практике знанием этих типовых ошибок. В пределах этого узла ошибок могло быть только «более или менее», и это более или менее

падало на хорошее или дурное руководство, на большее или меньшее умение людей.

Они уже знали, что тут, как и на некоторых других подобных ей стройках, их встретит недоработанный проект, неутвержденная смета, ошибки первоначальных данных, притянутая наспех экономика; знали, что бараки будут течь, сапоги не выдаваться, клубная работа хромать или отсутствовать; знали также, что местное начальство будет желать, чтоб всего этого в полной мере не называли, из опасения лишить стройку доверия в центре и подложить свинью с кредитами,— но это знание их было отнюдь не программное, а скорей инстинктивное и практическое, какое бывает в пальцах или в ногах от привычки к одному роду движения.

Главный инженер, сидя спиной к ним, думал о том же, но совсем по-другому.

Шоссе пядь за пядью поднималось. Каждый вершок подъема отмечал падение речки, бежавшей им навстречу. Подъем шел крутой, и падение было крутое,— речка, маленькая и мелководная, набирала своим падением так много силы и энергии, как может набрать волей или талантом человек щуплый, больной и тщедушный.

Все Закавказье выбрасывало с вершин хребтов, с уступов ущелий, с высоты кочевок и нагорий множество таких речек, тощих и энергичных за счет падения,— лихорадкою этих энергий опоясывались внизу города и долины. Речки крутились, делали завороты, скачки, пороги. Росчерки этих петель на плане можно было пересекать карандашом, высчитывая, где удобней взять и куда удобней бросить отрезок полученного падения,— всегда находились блистательные возможности.

И вот инженер думал о практике начатых строек, о душе этих речек, чьи фокусы стоили денег и времени; о тайне русел, дававших самые разнообразные комбинации грунта, иной раз расщелину в пядь шириной между массивными стенами порфирита, или глину под туфом, как было у них, или пеструю рухлядь на несколько десятков метров; о борьбе с валунами, похожими на мячи гигантов,— он думал о сумме опытов, что получится через три, через пять лет, когда их одиноким усилием, трудом тысяч еще не очень опытных, не очень обученных рабочих, скудною пока техникой, первобытной архаикой штанг, бедностью машин, оборудования, знаний и тяжестью условий для жизни в этих глухих местах, куда и доехать трудно, и хлеб перебросить труд-

но, и человека нелегко заманить,— будет достигнуто знание, коллективное знание, будет накоплен опыт, коллективный опыт.

Новым социалистическим опытом, новым знанием, величаво встающим навстречу, глядела на него со дна Мизинки владычица этих мест, будущая гидроцентраль. Говорить он не собирался и только сказал, немножко неожиданно для соседа и не очень громко:

— Проектирование отстает в силу целого ряда причин... Но мы исправляем проекты, мы находим новые решения.

Однако Манук Покриков не дал ему разговориться.

Товарищ Манук Покриков, как и все они, думал о тех же вещах, но думал опять по-своему. Чуть ли не с каждым метром шоссе делало зигзаг, шофер фыркал в темноту сиреной, замедляя машину, и, откидываясь на поворотах, товарищ Манук Покриков представлял себя самого рулевым. Он видел пройденный путь — как цепь собственных усилий. «Я»,— мог бы сказать товарищ Манук Покриков.

Кто, кроме него, мог в такое время, когда со всех сторон шли слухи: в центре проект провалился, смета не утверждена, на месте чехарда с людьми, когда были минуты — даже обыватель поговаривал, что курс на электрификацию оскандалился и дан лозунг попридержать,— кто смог бы выполнить задачу: не развалить строительство? А деньги? Прищурившись и понизя голос, товарищ Покриков готов бы намекнуть на тонкое обстоятельство — связи. Случайное, но счастливое обстоятельство,— кроме него, ни один человек не смог бы достать деньги, а достать деньги, когда не утверждена смета, а на участке надо платить рабочим, материалы надо оплачивать, служащих надо оплачивать, инженеров в управлении надо оплачивать,— это вам не фунт кишмиша! Если б не он — тю-тю ваши инженеры, половину переманил бы Тифлис, слесарей не нашли бы днем с огнем, лучшие рабочие разбежались бы, ведь вы не представляете этого факта: удержать дело при совершенно неопределенном будущем,— и ответственность!

— Всю ответственность я нес,— проговорил Покриков.

На отдалении подвиг казался почти грандиозным, хотя он сложился из переговоров по телефону, мельканья в машине полноватых ножек в крагах, спешно всходивших по лестницам, из пожиманья рук, голоса,

полного значительных интонаций, спешки, спешки из того, может быть, что сам товарищ Манук Покриков очень мало спрашивал себя и других, что такое Мизингэс и как он задуман.

— Я пять кило потерял за три первых месяца!

Вызов ревизии он считал актом злонамеренным:

«Завистники, раз. Склочники, два. Склочников у нас сколько хотите...»

Шофер, может быть, слушавший, не объехал камня, и машину крепко подбросило.

— Кого вы считаете склочником? — спросил один из членов ревизионной комиссии.

— Я вам не могу персонально указывать, кого считаю склочником,— он покосился на шофера,— но назовете вы нормальным, когда на важнейшую стройку в республике не находят более подходящих личностей, чем, скажем, местком — полуграмотный кожевник, да еще без профстажа, прямо с фабрики в предместкомы такой сложной и ответственной стройки, как Мизингэс, да еще русского языка толком не знает? Я сам работал в Совпрофе, я два года был, если вам неизвестно, наркомом труда,— мне смешно было, когда указывали нам, управлению, на недочеты,— да я сам лучше них, если потребуется, укажу недочеты! Но, знаете ли, агитировать, палку в колеса вставлять, каждую бездарь, каждого бездельника, пустопляса на нас за ворот поднимать,— я вам документально представлю,— это вредительство!

Они уже подъезжали к участку. Главный инженер приподнял веки, да и шофер покосился вниз: всякий, кто видел место впервые, и тот, кому оно давно знакомо, вряд ли бы смог остаться равнодушным при въезде на участок.

Это был все тот же лорийский каньон, земля, развернутая веером, с прорытым в ней ходом неутомимой речушки; по земле, локонами на вызвездившем и уже бледном небе, стоял спутанный, редкий, еще голый лесок: объеденные козами мелкорослые деревья. Странным оскалом бежали вниз камни, играя, как зайцы в поле, без страха перед человеком: приседали на задние лапы, вытягивались всем телом, поднимали ухо. А внизу, выпятив вперед оскаленную пасть с натуженными каменными усищами, торчком высилась среди них, как перед прыжком, присевшая гора Кошка.

— А это когда сделали? — улыбнулся главный инженер.

Им навстречу, блестя сквозь сумрак, горела на горе Кошке красная звезда.

Шофер замедлил ход, начав по-армянски рассказывать про Вартана с Гургеном, но не успел еще кончить, как машина мягко вкатилась в барачный городок. Коегде горел свет. Справа и слева пролетали бараки с пятнами освещенных окон. На высоких столбах качался свет; только темные окна конторы да верхних бараков спали; и хотя на участке, как всюду на земле, было много пришлых собак, живших по темным углам возле ящиков с мусором, эти собаки не выскочили и не залаяли,— деревенский стиль в этом месте был отменен даже собаками.

IV

Агабек не ложился вовсе. Глаза его в синих кругах воспалены от бессонницы. Больной костяк, нездоровое тело, которому не дает он ни сна, ни отдыху,— измучено вконец.

Но экзальтация держит Агабека, он отдал себя целиком; каждый, кто в его комнату входит, смотрит на Агабека жадным взглядом, каким человечество глядит на своих вожаков,— Агабек принимает с чужих плеч тяжесть.

Комната, где он живет, жильем почти не пахнет. Любой на участке, даже сезонник, обживается в своем углу и заводит подобие уюта, хотя бы это был кирпич в печке для поддержания тепла или махорка в газетной бумаге, сунутая под тюфяк. Но одинокий горбун, охваченный чувством катастрофы, с некоторой поры и вовсе перестал думать о течении жизни: он не снимал сапог, не ложился на койку; серый кот с обкусанным ухом, питавшийся самостоятельно, был охвачен тревогой, как перед покойником: кот, задремав, вздрагивал, раскрывал во всю ширину голубые глаза, менял место, перестал мыться. Кот прыгнул без видимой надобности с подоконника вниз, снизу на табуретку — подоконник и табуретка были пусты, чашка и тарелка стояли пустые, календарь на стене висел задним числом, комната была теперь холодней и запущенней месткома, где так и не повесили до сих пор двери.

Но и в этой комнате, как в месткоме, стоял тот же тонкий и острый дух, он исходил от самого Агабека, и только он был реальностью. Дух был — никак его не

определишь, любившие Агабека безошибочно знали его. Так пахнет, быть может, полное нервное истощение,— тело, дошедшее до отказа, до забвенья себя,— тонкий, как ладан, запах кожи, сгоравшей от вечного внутреннего жара.

На полке серой пылью покрылись книги. Агабек перестал читать. Он это сделал сразу: буквы шли медленно, требовали условности, навязывали и не отвечали,— он их прихлопнул, держа в руках книгу обеими ладонями, словно мух раздавил, и после этого не читал. Газеты так и не забирал из конторы, они накапливались, и уже исподтишка все, кто был незастенчив на руку, тащили его газеты.

Когда стало известно о приезде ревизии, люди зачастили к нему еще шибче, и в эту ночь сюда заглянул чуть ли не весь участок, оставляя после себя новый предмет жалобы,— в папке Агабека были особые листы, куда он заносил кривыми буквами, по-армянски, доводы жалобщиков,— мост имел особый лист, кооператив особый, компрессор особый, отводный туннель...

Впрочем, с отводным туннелем вышла целая история: когда Фокин прослышал, что Агабек ведет списки жалоб, он ворвался к нему с поднятым кулаком.

— Ты кого слушаешь? Аристида Самсонова слушаешь? Ты лучше скажи, где Аристид Самсонов околачивался, когда мы перемычку спасали? Ты мне Аристида Самсонова покажи, чтоб он мне пожаловался, мне самому, вот я тогда послушаю Аристида Самсонова!

Утихнув, Фокин сел и вытер пот. Он сказал Агабеку: «Стыдись». Ему времени не было разбираться, потому что все три дня, как прошла большая вода, Фокин дрожал за отводный туннель — выдержит ли перемычка, и только и видели его в бараках: ночи и дни безотлучно проторчал Фокин с горстью рабочих, отстаивая перемычку, но работа и без того была хороша.

Почти законченный — последнее кружало сегодня сняли — туннель, гордость Фокина, не пострадал. Он стоял сияющим жерлом пушки,— маленькая, очищенная от лесов, стройная деталь целого, она одна, можно сказать, и говорила за постройку, а через неделю пусть хоть все воды с Мокрых гор войдут в него,— достроен туннельчик!

Весело и с прибаутками новый рабочий, с необычным для здешних мест и редким названьем «сопловщика», ловко орудовал соплом, засыпая из пушки сухим,

гороху подобным, дождем цемента ровные, вогнутые бока и нёбо туннеля: он торкретировал... Это была последняя операция.

— Лучше бы ты зашел да посмотрел, что за штука торкрет, да увидел, как рабочие рты поразевали, да подумал насчет повышенья квалификации,— соплом, брат, орудовать научиться — это не папиросу курить. Я сам учусь. Я...

Тут Фокин, перегнувши к месткому свое круглое, веснушчатое, как у девочки, лицо, задушевно и чуть стыдливо, как иной о любви, и зачем-то понизив голос, спросил Агабека насчет лаборатории по бетону,— смотрел ли внизу Агабек лабораторию по бетону?

— Интересная штука — бетон!.. Сходи послушай грузина. Лет через десять... Эх, Агабек, если б мост не подвел, да ты знаешь, будь оно проклято, как нам этот проклятый мост влетает?! Если б не подвел мост, нам бы уже развернуть лабораторию, нам бы как раз время к напорному туннелю приготовиться. Я, знаешь, решил в будущем на бетоне специализироваться. Лет через десять...

Агабек и сам не знал, почему визит Фокина перед самой ревизией раздражает его. Он хотел попрекнуть Фокина, но не нашел слов. Лексикон Агабека был беден, «аполитичный» — вот слово; в такую минуту, когда идет борьба, когда класс отстаивает себя, когда старый мир в атаку идет на советскую стройку, в такую минуту не время насчет бетона разгораться,— но ничего этого он не мог сказать, потому что слово «аполитичный» было ему незнакомо ни по-русски, ни по-армянски.

— Это хорошо, что приедет РКИ,— сказал вдруг неожиданно Фокин, поднимаясь с табуретки,— очень хорошо! Подтянет публику. В другой раз неповадно будет такие мосты строить.

— А! Дошло до твоей шкуры, так и ты,— мрачно блеснув в него воспаленным взглядом, сказал Агабек.— Мост, я считаю, последнее дело. Спасибо — он нам помог...

Но Фокин не слышал, он уходил. Он оставлял Агабека в самую острую минуту разговора,— и все оставляли его, не договорившись.

Опустив вниз голову, на свои бумажки, на папку с жалобами, Агабек вдруг почувствовал легкое полыхание на плече,— это серый кот тревожно взбирался к нему, беспокойно расширяя зрачки. Агабек снял кота,—

кот был особенный, не любил ласки и не часто шел к человеку. Он был прокусан в боях с крысами, слегка лыс в том месте, где ранено ухо; шерсть его загрязнилась, хвост был тонок и стар. Но сейчас, переживая тревогу, кот не уходил, а скребся когтями у самых ног Агабека.

Даже себе самому не хотел бы признаться Агабек, что грызет его.

В первый период борьбы он знал, за что и против чего; он объяснял, как все объясняли,— мало ли где неправильно поставлены работы; но вот уже несколько дней, как Агабек упал духом.

Веру, что его услышат и положенье изменится, он потерял. Бессонные ночи, недомоганье, возвратившийся к нему кашель, ночами не дававший покою, замучили его. Он сидел вот так, голова в руки, упорно уставясь перед собой в одну точку, да если б и не было фактов — фактом вставали перед ним темная боль в голове, темный поток мыслей и непослушные руки, беспомощность пальцев,— ах, он так мало знает, каждый, кто хочет, обойдет его, посмеется над ним, он не в силах ни определить точным словом, ни разорвать паутину, душившую его: малограмотен, вот в чем беда! Как хотят, так и вертят, чего надумают, того и поднесут; кто их проверит,— баре, баре, вот они кто! И ревизия, которую он ждал, которую сам же и вызвал,— какой там черт ревизия! Кому надо прикажут, головами покрутят между собой, вот оно и будет ревизия.

Может, заболевал Агабек. Может, есть такой изворот чувства, раковая опухоль мыслей, когда все существо человека теряет ось, дает крен в одну сторону, видит и слышит одну половину,— тогда торопись помочь человеку, чтоб не покатился под гору, не погиб парень.

Но уж, во всяком случае, не начканц, Захар Петрович, поторопился бы помочь человеку!

Начканц тоже не спал, хотя для видимости, чтоб спрятать концы, делал работу не в конторе, где с вечера было темно, а у себя на дому, с Володей в помощниках, при густо завешенном окне. Он приводил в порядок счетные книги, спешно заканчивая сложную отчетность, сверяя цифры со свежим листиком из блокнота, куда были наспех занесены какие-то хитро прикинутые знаки,— избави бог, если подумает кто, что прикидывал и заносил их Захар Петрович вполне самолично и на свой страх.

Тоже и грех сказать, что вполне спокоен был Захар

Петрович и в сознании своей победы. Наоборот, он был неспокоен, был нехорошо бледен, давил отрыжку, хоть и не съел домашнего ужина, оставленного с вечера Клавочкой на подоконнике: отрыжка, полагать надо, была с ним на нервной почве. Еще с вокзала товарищ Манук Покриков, уважавший начканца, звонил ему и говорил, что приедет, а зараз спрашивал насчет того и другого.

К утру он надеялся докончить работу. Сложные вычисленья касались тех самых графиков, о которых он вспомнил еще у моста, когда погибал мост; вычеты стоимости спасенного дерева, разный другой непредвиденный момент, новая статья, не включенная в прежний список,— мост, прикинутый на счетах, облегчался от лишнего груза рублей и выплывал если не вовсе младенцем, то значительно — по собственному определению Захара Петровича — «дешевше».

— А и пущай надсаживаются, пусть кляузят,— говорил он в процессе работы верному своему помощнику Володе,— пусть-ка шиш с маслом выкусят! Да еще попомни: отблагодарит ревизия строительство за дешевку!..

Когда машина подъехала, он приподнял краешек оконной занавески и глядел на прибывших. Они поднялись на ночевку в барак для приезжих, а там, распоряжением начканца, с вечера жарко топила Марьянка, застлала постели чистым, от клопов посыпала порошком, самовар и все прочее — ни о чем не позабыл Захар Петрович. Выспятся гости, утро вечера мудренее.

Он увидел, как товарищ Манук Покриков, проводив их, сам завернул в сторону — ночевать к начальнику участка; и начканц, забрав кое-какие бумаги да без шума накинув пальто на плечи, двинулся туда же.

— Ты, Володя, в случае чего беги спроси меня. Не попорть бумагу. Я к Левону Давыдовичу минут на десять, на двадцать, а уж ты — сделай милость.

— Да я и так, Захар Петрович, в поте лица!..

V

Два дня комиссия РКИ не выходила из конторы,— и тут впору было вспомнить рыжего, хотя лавры его пожал начканц. Архив гидростроя, входящие и исходящие, переписка — все было в образцовом, удобном для обозрения порядке.

Из сметы, кроме стоимости погибшего моста, работы не выскочили, и к концу второго дня было ясно, что бой пойдет из-за перерасхода на мост, а насчет моста товарищ Манук Покриков не беспокоился. Трое инспекторов делали свое дело не очень поспешно; их почти не было видно. На третий день, рано утром, ревизия вышла из конторы.

Группа людей, в окружении рабочих,— в пути налеплялись все новые и новые попутчики,— двинулась вниз, к мосту, вернее к тому месту, где прежде стоял мост. Усилиями этих нескольких дней мост был уже разобран до последнего бревнышка и материал аккуратно сложен.

Вода еще не спала, сообщенье с другой стороной велось по гидрометрическому мостику, и нарушенное равновесие работ уже дало о себе знать: по эту сторону для прибывающих материалов не хватало складских помещений: бочки с цементом, те, что мокли на вокзале, по-видимому, и тут не могли быть желанным гостем,— а левобережный склад пустовал.

Навстречу ревизии шел специалист по бетону, и по нем тоже видно было, как сильно его зарезал мост,— лаборатория, точней здание лаборатории, была на том берегу, а прибывшее оборудованье, без крыши над ним, под жалкой защитой брезента валялось на этом. Мкртыч, ухмыляясь во все свое круглое лицо, под терпеливой рукой грузина, самолично ему помогавшего, набрасывал на спину связанные веревкой, вложенные один в другой квадратики открытых ящиков с решетчатым дном,— Мкртычу невдомек было, на что нужны людям еще и эти диковинки. Мкртыч с величайшим трудом привык к вертушке и батарейке гидрометра, потом он месяцами привыкал к шаганью треножников и теодолиту; и сейчас снова навьючили на Мкртыча несообразные, ни на что не похожие вещи: качели на цепях, сита огромных размеров, кубики вроде тех, какими дети из песка пироги лепят.

Кивком поздоровавшись с прибывшими, грузин повернул толстяка Мкртыча лицом к реке и, придерживая рукой его груз, зашагал с ним рядом обратно: так они сделали уже три рейса.

На впечатлительного человека вид разваленного равновесия, архаизм этих сношений берега с берегом, опасность и медленность перехода по тонкому, финскую лыжу напоминающему мостику на тросах, удален-

ному от места работ, должны были сильно подействовать — сильнее, чем все письма и донесения, скопившиеся в папке у РКИ.

Почти болезненно поджал губы главный инженер, покосившись на это. Он шел несколько в стороне, заложив руки за спину, и, должно быть, крепкое слово застряло у него в горле.

С каменным лицом впереди шествия двигался за неделю отощавший Левон Давыдович. Его щукастый профиль был непроницаем ни для чьего глаза. Он отвечал на вопросы и делал жесты. Голос его был писклив. Левон Давыдович загадкою для окружающих в эти дни как бы превратился в тряпичную куклу, в автомата. Нашитыми бусинками казались его глаза: так мало понятно было их неподвижное выраженье. Он точно прислушивался в разговоре и в полной тишине к чему-то, похожему на условный сигнал,— и не получал его, но рабочие и даже Сан Саныч, чья рука горсточкой торчала сейчас над глуховатым ухом, называли про себя невразумительное состояние начальника участка «толстою кожей».

— Вот вся наша работа за полгода, сами видите,— задыхаясь от несомненного торжества, потому что картина сама за себя говорила, сказал комсомолец из дизельной.

Он шел в своей группе — Аветис, начмилиции Авак, несколько рабочих,— и на этот раз они держались по правую руку ревизии.

— Шесть месяцев готовились к капитальному строительству! Теперь бы к стройке приступить, а...

— За стихийное бедствие инженер не отвечает! — возвысил вдруг голос старенький Сан Саныч; он неожиданно для себя услышал слова комсомольца. Радостный факт услышать чужую речь сам по себе взвинчивает тугих на ухо, а тут был, кроме того, и новый начальник строительства. Сан Саныч, тишайший на участке, подняв палец кверху, заговорил:

— Вы почитайте, молодой человек, труд Сюрреня, классический труд, «les ponts dans les Alpes»,— французское название он произнес очень нарядно и в нос,— и тогда вы узнаете, что мосты на горных речках — проблема сложнейшая для строителя. Горная речка опрокидывает все расчеты. Вы сами слышали, высокий паводок здесь бывает в сто лет раз, а нынче мы имеем его два года подряд.

— Насчет паводка!..— свистнул комсомолец.

— Паводок паводком, а мост мостом!

— Сами не младенцы, знаем, каков был паводок!

— Товарищи, разрешите.— Парень в майке выскочил вперед. Парня подталкивали сзади под ребра.— Разрешите два слова! Мы тоже считали, когда прошел паводок.

— А ты, паря, акт подписал? — Саркастический голос принадлежал начканцу, Захару Петровичу. Он тоже был тут. Вездесущий начканц незаметно шагал и все слышал, все видел, но обезьянье лицо его, простецки и даже добродушно осклабленное, ни следа уже не носило беспокойства или нервов каких-нибудь.— Акт, говорю, подписал?

Сказав так, он подмигнул окружающим — дескать, слушайте, слушайте, срамота будет, и в подмигиванье была крепчайшая уверенность, что все присутствующие, в ком мозги шевелятся, так именно и мыслят обо всем происшедшем, как он, Захар Петрович,— акт, этот главный показатель, все, что осталось от разобранного моста, должен был открыть ревизии чистую правду, как она есть,— акт же подписали все. Да, жалуйся не жалуйся, доноси не доноси, а вот так оно и вышло, что акт, составленный в момент гибели моста силами и напряжением Захара Петровича, был подписан чуть ли не всем участком, да и самими жалобщиками. Зная вес документа, Захар Петрович подмигивал.

Но жалобщики не ставили документ ни в грош.

— Что с того, ну, говори, что с того?

— Да ты ответь перво-наперво, подписал или нет?!

— А я тебе возражаю, гражданин, что с того?

Парень в майке взвился улыбкой:

— Есть такие разные обстоятельства, при которых подписываешь... Нажим бывает, уговор общий бывает, а еще бывает «дипломатическая необходимость»...

Он запнулся слегка, его глаза-черносливы налились напряженьем: так ли и уместно ли слово сказано? Они подписали официальный акт, чтоб выиграть время. Предместком Агабек, придя в контору, тоже подписал акт,— большая, неровная смесь силы и беспомощности, подпись Агабека, где по старой карабахской привычке, воспитанной от соседства с мусульманским востоком,— Агабек был карабахцем,— он ставил только согласные, выбросив гласные на произвол читателя:

— эта подпись была до сих пор величайшим трофеем начканца.

— Ну, голуба, это ты нам лучше не рассказывай, придержи язык за зубами,— медленно отозвался Захар Петрович, словно кулаком взмахнул, чтоб верней выбрать место,— за такие дела людям высылку дают. За такие дела ты об себе, как об юридическом фрукте, докладываешь. Мы тут, на строительстве, не в пятнашки, да будет тебе известно, играем. Понял?

«Мы вынуждены были подписать явно подтасованный акт, чтоб выиграть время и посмотреть, куда клонит администрация»,— так, склонив голову набок, выводил Амо из дизельной при молчаливом согласии товарищей: «Прилагаем за нашей многочисленной свидетельской подписью настоящий акт, что мост по часам тронулся в шесть сорок, а в то время паводок был от силы двести тридцать кубометров, в чем может засвидетельствовать сам гидрометр Ареульский...»

Ревизия РКИ хранила этот документ, как и много других, у себя в папке.

Почти с недоумением выслушивал, руки за спину, всю эту перебранку главный инженер, хотя недоумение его было обращено не на бранившихся. Он глядел насупленным взглядом на товарища Манука Покрикова, ожидая от него слов или поступка, требуемых минутой, но товарищ Манук Покриков был красен, как кумач, красен, как страдающий насморком, слезы бешенства закипали в его круглых глазах; когда наконец он прорвался, это было продолжением перебранки:

— Потрудитесь, Левон Давыдович, раскрыть портфель... Тут нашлись люди...

Покриков задыхался. Почему слушает РКИ голословные выпады? Невежество берется судить,— невежество простить можно; но когда вмешивается явный умысел, явное склочничество, вы слышали — фальшивое свидетельство, обвиненье в лицо всей администрации...

— Я должен сказать, что по адресу моста допускались такие ребяческие, такие невежественные сужденья, бабьи ахи и охи,— участок повторял не критически, что болтают плотники или лорийские аробщики. Следует...

Они дошли до механической мастерской. Красавчик

Вартан вышел навстречу комиссии. Здесь, в большом светлом помещении, стульев почти не было, но комиссия, вопреки всем правилам, расположилась на ящиках — и вокруг нее, притесняясь все гуще да гуще, сели и стали разгоряченные люди с багровыми взволнованными лицами, кровью налитыми глазами:

Левон Давыдович жестом автомата положил портфель перед бывшим начальством. Сказать по правде, Левон Давыдович и его странное поведенье из себя выводили и начканца и товарища Покрикова.

В сущности, главным лицом, против которого направлены обвиненья, был именно он. Мост был его работой, гибель моста на его совести, ненависть рабочих — к нему. А вместо помощи Левон Давыдович — хуже колпака был Левон Давыдович с его пассивными, деревянными жестами, с кашне вокруг шеи, руками в перчатках, щучьим лицом — заснул человек стоя: манекен, а не личность!

Мысленно и начканц и Покриков честили начальника участка чуть ли не одними и теми же словами.

Было и в самом деле загадкой поведение человека, считавшегося до этих пор задирой в принципиальных технических вопросах. Бояться ему вряд ли и было чего. Щелкнув застежками, товарищ Покриков раскрыл портфель.

Если прогулка по месту работ и слова, брошенные на ветер, были величинами в ревизии невесомыми и относящимися скорей к понятию «атмосферы», то здесь, в портфеле, были собраны вполне весомые — больше того, веские — доказательства, обелявшие начальника участка и его злополучный мост.

Здесь был прежде всего проект моста, прошедший четыре авторитетных инстанции,— четырежды оправдан был автор проекта. Здесь были солидные справочники, монументальные книги, большие, хорошие издания со множеством иллюстраций и чертежей, учебники с датой текущего года,— только вот так, гуляя, как обыватель, по тропинкам да слушая ерунду, можно представить себе дело, солидное дело, начатым с бухты-барахты, без огромной технической культуры, без того, что зовут традицией, школой, опытом... В управлении у товарища Покрикова не зря работали лучшие специалисты.

— Мостовое дело...— начал пренебрежительно Покриков, но тут его перебил председатель комиссии, огляделся, что-то спросил на ухо у соседа, а потом под-

нял руку: он предложил до начала беседы послать за отсутствующим, чье имя неоднократно упоминалось сегодня,— за гидрометром Ареульским.

Глава пятнадцатая

МОСТ

I

Белые стихи, нечто вроде того жидкого и слитного состояния, в какое впадают тела подогретые, были далеко не единственным признаком заболевания Ареульского. Человек сдает в иные минуты, как сдают, скажем, головки гвоздей или веревки от качелей.

Это началось со странной ритмической прозы,— гидрометр вдруг начал писать ритмической прозой. Хорошо, если б ограничилось письмом к матери: «Мать дорогая, тебе адресует твой сын злополучный, брошенный в вихрь необъятных и тягостных сердцу сомнений...» Но ритмический стиль полез в таинственный, в высшей степени важный документ, над которым, собственно, и заболел Ареульский.

К мысли об этом документе, о необходимости создать таковой документ он пришел в результате многих роковых обстоятельств. Начать с самого вечера паводка. Вначале, как отметил сам Ареульский в вышеупомянутом документе, он:

«безумно доверчивым был и ответ без заминки давал».

Но и более крепкий мозг не выдержал бы того, что пришлось в этот вечер пережить Ареульскому. Гидрометрия, дотоле никого не интересовавшая, гидрометрия, униженная и оскорбленная, или, еще крепче, оплеванная в его лице, когда, как говорилось в документе:

«жалкий какой землемер помощника вдруг возымел», а он, Ареульский, был предоставлен работать в стихийную и ответственную минуту не с кем другим, как с невежественным Мкртычем,— именно эта униженная гидрометрия и превратилась вдруг в центр вселенной.

Красноречиво рассказал Ареульский в своем документе, заимствуя отчасти из Байрона, отчасти из Безыменского эпитеты и обороты речи, как странные фигуры в темноте обступили в грозу и молнию его зыбкий ночной пост и ехидно задавались целью выудить у него цифру паводка. Только в ту минуту и понял Ареуль-

ский все роковое значение собственных ответов. Тогда именно он сменил «безумную доверчивость» на «темную догадку». А иначе сказать, Ареульский понял, что цифра паводка имеет какое-то особое и решающее значение для всей будущей судьбы людской, цифрой паводка хотят воспользоваться, чистый научный факт хотят сделать жупелом и оружием для всякого рода «личностей». Поняв это, Ареульский устрашился великой и необычайной ответственности, ниспадавшей на него, и вот тут-то, по словам первого и единственного свидетеля, невежественного Мкртыча, Ареульский и «тронулся».

Человечество не должно было оставаться без обличающего этот важный момент документа, а также без цифры паводка... Цифра паводка...

Определить точную цифру паводка дело было, конечно, нехитрое, если иметь точные данные, но точные данные — кто мог ручаться за полную точность данных? Можете вы поручиться за точность свешанного в магазине сахара? Можете вы поручиться за точность накапанного в рюмочку смертоносного лекарства? Сейчас вам кажется — двадцать пять, а через секунду — двадцать четыре, и нет гарантий, что не двадцать шесть,— точность есть нечто в высшей степени неточное, особенно если стоят над вами с ножом к горлу.

Расшатанный мозг Ареульского не вынес. Ночью, после того как подписан был акт, где цифра паводка, отнесенная к приблизительному периоду времени, указана была в приблизительном колебанье от четырехсот до пятисот кубометров в секунду,— Ареульский в холодном поту постучал к месткому.

Заикаясь и шепелявя, он признался, что абсолютных гарантий он дать не может. Говорил ли он в вечер паводка насчет двухсот двадцати пяти кубометров? Говорил. Было ли тогда шесть сорок? Возможно, и было. Не в том суть, что говорилось, а в позднейших, более сложных исчислениях... Движение воды, как настоятельно повторил Ареульский, имеет место по параболе, и если исчислить...

Он взял себя пригоршней за лоб. Глаза Ареульского приняли совершенный испанский стиль. Он человек науки, он не хотел быть участником заговора, но подписать на акте... Мог ли он поручиться? Нет, Ареульский поручиться не мог.

С той поры гидрометр засел дома в чрезвычайной,

одичалой задумчивости. Он знал, что за ним пошлют. Видимый мир нуждался в нем, зависел от мозговой операции Ареульского. Небритый и важный, с отдельными, выросшими свыше нормы седыми волосами в черных бровях,— раньше Ареульский пинцетом выдергивал эти волосинки,— в дождевом, даже в комнате не снимаемом, плаще, исхудалый, он торжественным голосом промолвил «войдите», когда к нему постучались...

В ожидании Ареульского перебранка насчет моста разгоралась все шибче. К товарищу Мануку Покрикову с его портфелем притеснились,— он стоял в окружении возбужденных людей.

Сбегав куда следует, парень в майке уже приволок главного свидетеля, плотника Шибко. Свидетель, расчесывая указательным пальцем иконописную бороду, спокойный, как статуя, выжидал минуту. Но начканц не мог этого оставить. Начканц иронически тряхнул свидетеля, употребив старинный парламентский способ опорочивания:

— Уж ты-то бы помолчал! А кто жуликом деньги по копии слямзил?

Плотник спокойно повел голубыми с поволокой глазами и высвободил плечо из-под начканцевой руки — за него ответили из угла.

Тут такие слова пошли, что самого Захара Петровича скрутило,— пошли слова насчет копий и подтирок, насчет казенных денежек, которые плачут, насчет убытку, а насчет убытку загнулось и нашим и вашим: в воздух, словно мяч, полетели козыри.

Начканц допытывался: «А ну, какой убыток от моста?» — и, посмеиваясь со злорадством, метнул для посрамления противника настоящую цифру; но противник, обученный участковым экономистом, комсомольцем из дизельной, отпарировал: «Ты считай убыток плюс сумма от простоя, от теперешнего развала работ, от задержки, причиненной гибелью моста...»

Не дождавшись гидрометра, товарищ Покриков в нетерпении сердца обернулся к членам комиссии. По его мнению, раз зашла речь, с недоразумением пора покончить. Он попросил, чтоб раз навсегда, вот сюда, перед ним,— кулак Покрикова обрушился на портфель,— выложили все, что говорят и думают о мосте рабочие. Не за спиной, пусть скажут в лицо,— левой рукой он нашарил в кармане закладочку: в закладке

стояли пометки, цифры страниц и названия книг. Товарищ Покриков знал, что по всем пунктам он посрамит невежество.

Тщетно стали бы сейчас задерживать стихийно собравшуюся публику. Через час в клубе должно было состояться общее собрание. Но уже все, весь участок, за исключением женской его половины, занятой в кухне и по службе, был здесь, напирал в двери механической, ждал за дверьми.

Сам Степанос, лихорадочно потирая длинные малокровные ладони, дышал воздухом назревшей бури, он явно беспокоился и был необычно бледен. Был тут и секретарь ячейки, дотоле никем не замеченный. Сам Фокин пришел из туннеля,— работы повсюду остановились.

Переглянувшись, члены комиссии сделали то, что уже само собой сделалось,— они объявили в механической мастерской общее собрание.

Роль стола сыграл ящик, поставленный на станок. Белый, из кармана Степанова появившийся лист лег на стол. Молоточек заменил звонок. Председатель комиссии РКИ, до сих пор, как и другие два члена комиссии, как будто ничем не проявивший себя, приподнялся.

Но здесь к слову сказать о членах комиссии РКИ, мысленно названных товарищем Мануком Покриковым «середнячками» и «маленькими людишками».

Опыт множества проведенных ревизий дал этим людям ту спокойную силу действия, какую зовут философы «единством метода». Глядя со стороны, да еще очками европейца какого-нибудь, очками слепца какого-нибудь, воспитанного на делах судейских и на книжечках, где ведут следователи разбор всяких острых и таинственных случаев,— глядя вот этак со стороны на слова и действия трех инспекторов,— и впрямь можно было пожать плечами: дескать, что же, мелко, товарищи,— никаких с вашей стороны талантов допроса, подковыристых штучек, тайной беседы с напуганным человеком с глазу на глаз, для беспристрастного показания, никаких, дескать, умных и хитрых моментов в ревизии... Но, однако же, так мог бы подумать только чужой человек. А своя публика, приглядевшись, неминуемо бы почувствовала во всем поведении комиссии то, что я назвала выше «единством метода».

В чем был метод? В уменье дать говорить фактам. Люди и цифры, вещи и явления, психология и обста-

новка во весь голос, перебивая друг друга, разгоряченно заговорили вдруг на участке, обступив трех молчаливых людей, державших покуда мнение свое при себе.

Только одним ясным признаком и сказался, быть может, председатель комиссии. Кто привык взвешиваться на медицинских весах, знает уверенный жест, с каким опытная рука фельдшера или сестрицы, дав поколебаться весам, находит верный момент, когда прищелкнуть затвор и остановить качанье, чтоб доложить вам о вашем весе.

Вот это уменье, полученное от долгого опыта, вовремя щелкнуть задвижкой на бесконечно тонких, тончайших, нескончаемых качаниях вверх-вниз обступившего вас материала, уменье остановить поток фактов, сказать «довольно», когда вес явления найден,— вот это и было личной заслугой человека, стоявшего сейчас выпрямившись, с бумажкой в руке, и повернув безволосое, внимательное и простое, морщинами тронутое лицо в сторону собравшихся.

Он прочитал повестку и объявил общее собрание открытым.

II

— Товарищи!

В повестке дня:

1) Вопрос о мосте.
2) Слово предместкома.
3) Слово секретаря ячейки.
4) Доклад главного инженера.

Выступления, товарищи, без предварительной записи, в порядке живой очереди. Кто имеет сказать относительно моста, переходи налево... Дай перевод, товарищ!

Когда взволнованный голос, переводя речь на армянский, умолк, наступила на несколько мгновений нервная и возбужденная тишина, и в ней каждый сильнее почувствовал важность того, что должно быть сказано.

Несколько раз скрипнула дверь — входили запоздавшие. Зеленовато-бледное лицо Агабека застыло у самой стены. Появившийся Ареульский через всю толпу мрачно проследовал к президиуму и остановился, потому что сесть было негде.

— Эх,— сказал Фокин довольно громко,— жаль, Арэвьяна нет!

Даже и в этом сказался самостоятельный нрав Фоки-

на: жалеть рыжего на участке не смели. Соединенным усилием участковых дам рыжий прослыл таинственным беглецом, преступником заграничного калибра. Одни говорили, что он перешел с пулеметом персидскую границу; другие — что, будучи дашнакским агитатором, снял ответственному лицу, по поручению иностранного капитала, вместе с шапкой и голову; третьи — что под видом архивариуса он собирал шпионские сведения; но убедительней всего говорили факты: повестка из чигдымского угрозыска и обыск, который будто бы, по уверению местных дам, хотели произвести в помещении рыжего. Не удался обыск потому только, что помещения, как и вещей, у Арно Арэвьяна, в сущности, не оказалось, а это наполнило участковую публику и само по себе почти мистическим ужасом.

Один Фокин плевал на слухи. Угрозыск или не угрозыск,— дело разъяснится просто, а по его мнению — Арно Арэвьян был хороший парень,— он самолично даст ему рекомендацию.

Приглядевшись сейчас к движению толпы, Фокин озабоченно встал и тоже двинулся: он шел налево, где набиралась своя публика. Тут был иконописный Шибко с указательным пальцем в бороде, был начмилиции Авак, был молоденький рабочий, последний тихоня на участке, и немало других. Каждый из них ждал минуты, когда придется сказать о мосте.

— Слово принадлежит товарищу Шибко!

Плотник вышел вперед, ставя ноги в сапогах разбивочкой, медленно, по-деревенски. Издалека он казался важным. Лицо плотника, строгое и картинное, глаза, вскинутые под потолок, палец в бороде — не подведет парень, сейчас видно — себе на уме человек. Собрание, в предвкушении больших и веских событий, разволновалось, тем более что Шибко перед речью помедлил, как бы нахватываясь воздуху.

Но вот минута прошла, а Шибко все помалкивал. Тишина стала неспокойной. Шибко помалкивал, хотя все знали, что насчет моста он собаку съел. Шибко помалкивал — саркастическая усмешка тронула пухлые губы Манука Покрикова, сидевшего в президиуме. А Шибко помалкивал не случайно.

Не то чтобы он растерял слова или струсил: он помнил очень хорошо все, что хотел сказать, но в эту минуту непредвиденное и большое затруднение ощутил плотник Шибко: слова его, загодя приготовленные, нуждались

в том, чего не было: в видении гибнущего моста. Главным доводом для тех, кто видел гибель моста, было седьмое чувство; а повторить, что́ тогда знал и всякому мог передать,— в обстановке механической мастерской, где благоухают пылью и жестью спокойные стружки, где стоят станки, где солидно пачкает металлическая пыльца, где ничто не напоминает ту ночь,— повторить эти доводы оказалось неимоверно трудным.

Шибко молчал, и вдруг, выдавая себя, этот крепкий и величественный человек переминулся с ноги на ногу. В самом конце мастерской местком Агабек опустил низко голову,— он переживал его стыд, как свой.

Товарищ Манук Покриков встал. Он сделал ручкой, подманивая к себе свидетелей против моста: да ну же, ступай вперед, иди, кто собирался, ближе иди! Он выжидательно и даже ласково нацелился на тихоню рабочего, пристально, в упор, взглянул на Авака,— товарищ Манук Покриков был в эту минуту великолепен.

— Смелей, товарищ! Повторяйте ваши доводы. Я ваши все доводы знаю, они у меня вот здесь,— он ударил по портфелю,— если хотите, я вам лично могу повторить...

— Для наших мест это не мост,— угрюмо сказал Шибко.

— А почему?

Тут раззадоренные усмешкой Покрикова и тем, что Шибко занимал место оратора, а им можно крикнуть из угла,— выступили и другие, кто собирался.

Замечания были те же самые. Неделю назад они звучали убедительно, они были полны простой деловой правды, к ним хотелось прислушаться, от них пришел бы в восторг любитель всего ясного и не банального, близкого к искусству, но сейчас сами говорившие высказывали их нерешительно и с ноткой недоверия к себе.

Фокин, подняв руку, вышел вперед.

— Место под мост, на мой взгляд, было выбрано неудачно,— сказал Фокин,— в любом руководстве нас учат, что ось моста надо направлять нормально к потоку и нельзя ставить мосты, где река меняет русла... А именно в этом месте Мизинка сплошь да рядом меняет русла, разбрасывается на рукава. Когда прорабатывался вопрос об отводном туннеле, это было отмечено. В вопросе же о месте для временного моста это недостаточно принято во внимание. Вот, я считаю, главный грех. Второе обстоятельство: нельзя, товарищи, завязав глаза,

полагаться на теорию! Теория хороша, а и сам не плошай. Теория говорит, что паводок бывает переодически, раз в определенное число лет, а собственные наши глаза и уши, если б мы их держали открытыми, нам бы сказали, что снегопад в этом году ненормальный, что ломка погоды в этом году катастрофическая, что надо ждать неминуемых последствий этого, то есть большой воды... Следовательно, или надо было отложить стройку моста, или увеличить сопротивляемость моста хотя бы кубометров на пятьдесят...

— Ну и еще больше денежек ухнуло бы!

— Нет, не ухнуло бы, если б приняли во внимание всю совокупность!

Покриков выслушивал Фокина, чертя карандашом в записной книжке. Когда Фокин кончил, он поднялся, с виду спокойный; губа Покрикова уже опала, он не только владел собой, он знал, что раздавит бузотеров. Он не стоял,— парил над собранием, испытывая необычайную во всем теле легкость.

— Итак, товарищи, в результате всех выступлений мы получаем такую сводку (он поднял бумажку). Вот у нас критическое замечание без всяких доказательств: «Для наших мест это не мост». Согласитесь,— здесь Манук Покриков раскинул пухловатые ручки и взглянул на инспектора,— что этак можно любую вещь в пух и прах разнести. Твоя кепка, например, товарищ,— не для твоей головы кепка. А почему? Да потому! Или вот этот станок — не для мастерской. А почему? Да так! Таки и потомуки в счет не идут. Если же перейти к остальным замечаниям, то что́ именно ставят мосту в вину? Во-первых (он стал считать), ряжей слишком много, речке тесно было пройти; во-вторых, ряжи ставили всухомятку, не на растворе; в-третьих, местные жители говорили: «Такой мост не годится»; в-четвертых, левую дамбу плохо крепили, для красоты ставили. Наконец, наиболее существенное: замечанье практиканта Фокина насчет выбора места под мост, его я выделю особо. На все эти замечания, товарищи, я вам подробнейшим образом отвечу, и вы увидите, что на ветер критиковать легко, а строить трудно и что в управлении тоже, товарищи, не дураки сидели. Начну я с проекта моста. Товарищ Фокин, вы правы, место под мост не из удачных, но, если вы потрудитесь прочитать вот эти докладные записки, вы увидите, что вопрос поднимался и ставился много раз; мало того: обследована была много раз мест-

ность в попытке найти более удобное место. Но из двух зол выбирают меньшее, и когда нет, так нет, лучшего места нельзя было найти: дальше в ущелье будет плотина, а вверх по течению место еще шире и неудобней. Проект моста (Покриков вытащил из портфеля проект) прошел, как я сказал, четыре инстанции. Дальше этого — некуда. Осторожней, чем мы, для мелкой детали, для временного деревянного моста вы вряд ли найдете людей. Вот, товарищи, лучшие, величайшие специалисты мостового дела, по которым учились и учатся наши инженеры...

Он одну за другой достал и показал собранию толстые переплетенные книги в закладках и бумажонках.

— Профессор Передерий, курс о мостах; Патон, специалист по деревянным мостам; инженер Митропольский, профессор Прокофьев, Гнедовский и так далее и так далее... Разверните и читайте. Что они говорят? На реках с большой скоростью течения ставятся мосты на ряжевых опорах — раз. Пролетов предпочтительно нечетное число, а, значит, ряжей четное, и мы должны были ставить или два ряжа, или четыре...

В этом месте, в зените торжества своего, Покриков вдруг услышал с той стороны, где стоял Агабек, непристойное, неповторимое, возмутительное восклицание: «Аля́-баля́ — сыпь баля́ля́ка»... Не говоря уже о беспардонности, это неграмотное, несуществующее бессмысленное выраженье унизило своим идиотизмом высокий дух Покрикова, паривший в дебрях технических выкладок.

Он не спал ночь над книгами, он воображал искренне, что как большевик, как вождь строительства... Залившись ярчайшей краской и содрогаясь от возмущения, бедный товарищ Покриков тоненько крикнул в президиум:

— Я протестую! Я требую занести в протокол, лишить слова...

Но местком Агабек, тяжело пройдя под десятками глаз к президиуму и свесив на грудь голову, бледный, страшный от выражения безвыходной и самоубийственной иронии,— он сейчас уже ни во что не верил,— сделал вещь, которой никто не ждал от него: попросил вычеркнуть его из списка.

Он сам отказывался от слова.

Все же блестящая речь Покрикова была сорвана. Лучший ее номер, прибереженный к концу, он вынужден

был скомкать,— насчет цемента: какой же дурак заливает деревянные ряжи цементом, где это слыхано! Впрочем, РКИ сама разберется в вопросе. Недобросовестность и невежественность нападок на мост и без того ясна.

Он обеими руками сгреб свои книги и бумаги, рассовал их в портфель, а портфель передал председателю комиссии... и сел.

Слово принадлежало секретарю ячейки.

Выступления секретаря начканц Захар Петрович не опасался. Он как будто из бани вышел и сам себя поздравлял «с легким паром». Он вынул огромный носовой платок и окунул в него разгоряченное лицо с величайшим удовольствием,— Захар Петрович отдыхал всеми нервами.

Блаженное рассеяние, словно все пуговицы расстегнуты, охватило его минуты на две; законнейший, можно сказать, отдых застлал мутью глаза, и он уже безо всякого участия взглянул перед собой, ожидая увидеть чистенькую фигурку «безвредного», хотя голос, донесшийся от стола президиума, почему-то и не похож был на голос «безвредного». Только встряхнув дремоту, начканц сообразил, что говорит не секретарь ячейки, а новый начальник строительства.

Главный инженер по поводу моста выступать не собирался. В нем было сильно кастовое чувство, как в каждом, кто получил техническое образованье. И хотя про него говорили: «Это наш человек», и главный инженер действительно был наш человек отнюдь не потому только, что «строил социализм», а потому, что *хотел* строить социализм, но выступить на общем собрании участка с критикой проекта, вышедшего из его штаба, он считал неприличным, профессионально недопустимым.

Проект был сделан в его отсутствие, он прошел четыре инстанции — три технических и одну правительственную. «Дубина стоеросовая»,— подумал главный инженер, взглянув на подпись своего технического заместителя, председателя первой инстанции.

Бывают дела, которые старый, интеллигентский такт привык заминать. Возможно, что и тут старый такт, ворвавшись в дело, и победил бы, но музыка будущего, хочешь не хочешь, выскакивает из старых тактов, и музыка будущего вставала на этом собрании, несмотря не беспомощность выступлений рабочих... Заморочивать

головы в вопросах технических главный инженер допустить не мог.

— Разрешите, я сделаю добавление к словам товарища Покрикова...

Он начал мягко. Он бессознательно искал обойти трудности, но язык инженера был непокладист.

— Вам тут сослались на мнение мостовиков, что в реках со значительными скоростями ставят обычно ряжи. Я должен добавить, что в этих учебниках говорится: ставят ряжи *при условии скалистого дна, когда нельзя забить сваи.* Я должен добавить, что ряжи сами по себе, конечно, раствором не крепят, но в случае нетвердого грунта *совершенно необходимо вбивать и бетонировать ряжи на определенную глубину в грунт.* Далее, я должен прибавить, что там, где возможна скорость у дна более полутора кубометров, *ставить не забитые в грунт ряжи, имея в виду неминуемость подмыва, считается недопустимым...* Мне брошена записка, и в этой записке, товарищи, у меня спрашивают — имелась ли опасность подмыва у нас в Мизинке. Я поставлен в очень неприятное положение. Я моста не видел. Как он погиб — судить не могу. У меня правило: не судить о постройке, покуда я сам в ней все не прощупаю. В вопросе с мостом главная задача была в нашем управлении — это построить его как можно дешевле: во-первых, потому, что денег было отпущено в обрез; во-вторых, вы сами знаете неопределенное положение с проектом; в-третьих, постройка временная, на три-четыре года, при таких постройках главное, что принимается в расчет, наивозможная дешевизна. Я это все говорю, чтобы рабочие знали, что именно требовалось от проектировщика... Теперь относительно подмыва. Вы сами видите: в этом месте Мизинка бьет то в одну сторону, то в другую, иногда по нескольку раз за сутки меняет русло. *Ну, а факт перемены русла само собой говорит о наличии размыва реки.*

Большего сказать он не мог. Свой краткий отчет он сдал в сторону ревизии. Старый такт возмущенно говорил в нем: «Очень нужно было выскакивать, доносительство, позор!» — а строитель, сидевший в нем, упрямо отмахивался: «Ну и пускай, а головы морочить не дам, нечего головы морочить!»

Впрочем, действие его речи вышло очень ослабленное.

Кое-кто, заранее зная, что говорит начальство, вовсе не слушал; другие не поняли; третьих ввел в заблужденье суховатый и деловой тон,— слова хоть и были понят-

ны, но отнести их к мосту и сделать из них прямые выводы они не решались, слишком уж противоречил таким выводам деловой и спокойный голос инженера.

Даже сам товарищ Манук Покриков не сразу сообразил, какую тяжесть имело это скромное «добавление» к его словам. Когда же спохватилась публика, было поздно: перед ящиком президиума стоял и говорил секретарь ячейки, по прозвищу начканца «безвредный».

Он был, как привыкли его видеть, в чистом френче, в начищенных до блеска штиблетах. Его упрямые волосы зализаны мокрой щеткой. Сцепляя перед собой пальцы, без всякой бумажки, секретарь свое выступление начал застенчиво и так тихо, что с дальних концов мастерской крикнули: «Громче».

Тогда он заговорил громко. Впрочем, с первых же слов, хоть и были они тихи, начканц Захар Петрович люто насторожился. Через секунду он уже упер обе руки в коленки, нагнувшись всем корпусом в сторону оратора. А через минуту он ел оратора глазами, был фиолетов, был охвачен желудочной дрожью, какая бывала с ним в момент наивысшей неожиданности.

— Товарищи!

Насчет моста: как мне говорили специалисты, а также я прочитал в руководстве механики, сопротивляемость можно видеть на самом мосте,— если поплыл ряж, когда вода залилась до самого мостового настила, то тут, значит, подъем воды в реке выше, чем мост был рассчитан. В таком случае винить некого. Но вода-то у нас до половины ряжа, и того не дошла, когда тронулся ряж. Весь участок тому свидетель, хотя товарищи, правда, бросились почему-то от моста к гидрометру. На разобранном материале еще можно отметить след воды: половина верхних бревен ряжей осталась совершенно сухая. А в таком случае приходится констатировать...— оба уха секретаря багрово вспыхнули,— что мост был построен, к сожалению, неудовлетворительно. Однако же не об этом сейчас главная речь. У многих из товарищей в глубине мысли должно шевелиться, что нехорошо и ненормально создавшееся на участке положение. Мы, товарищи, хозяева наших строительств, мы этими мостами, станциями, дорогами двигаем страну к победе, к знанию, к культуре, к социализму, нам каждый мост должен быть дорог, как своя нога или рука. И вот я вас спрашиваю, говорю честно: был рабочий в этом деле на высоте? Был ли партиец на своем посту в этом

деле? Местком правильно ли поступал? Ячейка в целом правильно ли действовала? Я должен, товарищи, сказать, что, к стыду нашему, ничего подобного не оказалось. Ты, рабочий, и ты, партиец, обрадовался в эту минуту, что мост гиб. Только и было у вас надежд, чтобы скорее снесло, да так снесло, чтоб обнаружился дефект моста. Вы следопытами на участке заделались, пинкертонами бегали собирать факты; самый из вас честный парень так извертелся, точно при советской власти, при нашем строе, нужно один на один в темном месте буржуазными хитростями врага подбивать,— отсюда, ребята, и до подполья один шаг...

Смешки в зале тронули ухо начканца. Рабочие разволновались. Развеселились рабочие. Видно, что речь секретаря, не очень складно, с сильным армянским акцентом произносимая, армянскими словами, когда не хватало ему русских, пересыпаемая, дошла до сердца и задела за живое.

— А ты сам чего делал? Помощи от тебя много видели? — заорал, но без злобы, а скорее задирливо и со вспыхнувшим интересом Амо из дизельной.

— Поскольку я не мог вас остановить, мне первому осиновый кол,— отозвался секретарь,— но дайте, товарищи, говорить. Свое слово я не кончаю, а только начинаю.

Он сделал паузу и оглядел мастерскую. Он не был оратором, ему говорить было трудно. Но красноватый кончик уха, неодолимо упрямый в своем загибе, показывал, что, как там ни трудно, а нужное слово свое он доскажет.

— Посмотрите,— начал он снова,— строительству года нет, а люди уже выросли, некоторых узнать нельзя. Рабочий Мкртыч считался на участке безнадежно отсталым, дважды дезертировал с работы в спецодежде и снова возвращался — оборванный, без обуви. От него отказались изыскатели, отказывался гидрометр. Было это еще при мне, а я на стройке новый человек. И на моих глазах Мкртыч вырос, заинтересовался стройкой,— он подал Фокину заявление, что хочет подучиться на сопловщика. Такие сезонники, как сторож Шакар, раньше ничем не интересовались, кроме заработка, а сейчас товарищ Шакар у нас общественник, активист. Таких у нас десятки, завтра сотни будут. Стройка — родное, кровное дело трудящихся. Кто честно наблюдает факты, тому ясно, какое великое,

общенародное дело совершаем мы на наших социалистических стройках. Как же не дорожить ими, не любить их, не гореть за них душою? А мы с вами, рабочая и партийная общественность, докатились до злопыхательства, до групповых вылазок, позор это!

Он чуть передохнул и опять заговорил:

— На том факте, что общественность, рабочие и партийцы дошли до подобной недопустимой ненормальности, задерживаться не приходится, всем ясно. Но что рабоче-крестьянская инспекция не может знать, это мы ей обязаны охарактеризовать. Рабоче-крестьянская инспекция знать не может, в силу каких именно причин мы, партийцы и рабочие, дошли до такого грустного состоянья, она знать не может, а, полагаю, спрашивает себя, где же корни положения на участке. Корни, товарищи инспекция, в неправильно поставленной организации управления на участке, в силу чего начались у нас ошибки. За все шесть месяцев на участке не было ни одного производственного совещания. Голос рабочего, может быть, верен, а может, и ошибается, но голосу рабочего не дали ни в том, ни в другом случае раздаться, чтобы при всей общественности его заслушать, дать ему ход или вскрыть ошибку сразу на месте. И в какое время делалось это? Когда нам партия лозунг дала о самокритике,— он неожиданно из кармана вынул свежий, вчетверо сложенный лист газеты, только что полученный из Тифлиса.— Вот он, лозунг,— прислушиваться к голосу масс, к низовой критике... А на участке рабочего не выслушивали, рабочего держали в потемках насчет проекта, а стройка должна учить нас, от чернорабочего до профсоюзника, до секретаря ячейки, всех учить, чтобы на следующей работе мы были уже с прибылью опыта, с прибылью знанья; ведь нам не только книгами, а и всем ходом дела должно даваться ученье. Если проект забракован, дайте объяснение причин, дайте нам знать общую экономику, общее состояние стройки, ведь вслепую — это не работа...

Он отер с лица пот чистым носовым платком. Он удивил зал, он привел его к полному, абсолютному молчанью, к тишине, в которой слышно стало, как громко сопит забывшийся начканц.

— Что же касается неправильности в организации, то пусть рабоче-крестьянская инспекция спросит бывшего начальника управления, кому на участке доверялось больше всего, кто с нашим инженером Левоном

Давыдовичем единолично вершил дела и за завхоза, и за помзава, и за начканца...

— Что-о?!

— Да, повторяю, кто имел единоличную функцию на участке? Был ли это наш человек, из таких беспартийных, что, может, иного партийца в работе на два кона обгонит? Был ли это с правильной установкой работник, знавший, во имя чего сделана революция? Нет, товарищи, начканца Захара Петровича я называю тем, что он есть: старым, дореволюционным, царского, барского времени службистом, своему хозяину приказчиком. Такой человек есть враг революции, враг лучших лозунгов революции, духа революции и всему направлению нашей политики, потому что такой человек...

— Да что это насчет личностей! Товарищ председатель!

— ...такой человек, куда его ни посади, первым делом глазами себе наищет старшего, такой человек сделает из начальства себе хозяина, он перед ним животом ляжет, он по-своему, если желаете, из кожи будет стараться, не доест, не доспит, и к великому, к величайшему стыду нашему, такой человек навредит больше, чем можно себе представить, потому что к нему попривыкнут и к выгоде от такой службы попривыкнут, забывая, главный корень работы — не в самолюбии, не в личном самолюбии дело при социалистическом строительстве. Такие служаки, если им дать ходу, приводят к старой и недопустимой атмосфере, и последние мы были бы бараны или цыплята, если б не крикнули такому факту в глаза: не место тебе, старый факт, в новом мире!

— Ну, это ты поглядишь, кому место...— прошипел присмиревший начканц, вставая, чтоб покинуть треклятое собрание.

Но пройти было нельзя: человек на человека лез в мастерской,— и откуда наперло! В зеленых глазах месткома, попавшегося на пути Захару Петровичу, было такое сиянье, что начканц аж зажмурился, прошмыгнув мимо.

III

Левон Давыдович сохранял во время собранья все тот же деревянный вид. Он сидел незамеченный, у самого выхода. Он был безучастен, когда говорил Покриков. Но

при словах главного инженера брови его задвигались, лоб наморщился и вскинутый щучий взгляд изобличил явный интерес. Он даже привстал слегка.

Левон Давыдович был строителем. Он был единственным в ту злополучную ночь человеком, кто среди глазеющей на мост публики понял сразу, что мост погибнет.

В отличие от Гогоберидзе, воспринявшего мост как технолог; публики, видевшей в нем часть пейзажа; рабочих, понимавших каждую вещь, как себя,— рабочая она или нет,— Левон Давыдович с первой минуты, в видении пьяного моста, почувствовал, что мост — *плохо построен*. Плохо построен,— в этом и крылась разгадка.

Ужасное чувство, холод, похожий на столбняк, чувство слишком поздно пришедшего опыта оцепенило начальника участка. Лишенный дара аналогии, суховатый и ограниченный ум его был все же глубоко придирчив к себе, был честен особой фармацевтической честностью,— все эти дни, деревянно шагая и действуя, он продумывал мысленно, как доложить об этом комиссии. В виденье гибнущего моста, впервые за всю свою практику, Левон Давыдович ощутил почти мускульно, на себе самом, значение *формы* как строительного фактора... Из любви к преувеличенью он уже твердил себе, что паводок решающей роли вообще не сыграл.

«В нашей практике сплошь да рядом строят на сопротивляемость ниже среднего, а мост выдерживает средний паводок... Я не учел обстоятельств, не учел факторов размыва, и я должен был *искать более гибкую форму* — при ней тот же самый расчет дал бы другой эффект!»

Разъяренная Мизинка тогда же подсказала ему иные, более гибкие формы: сваи у берегов, езду понизу, фермы, как у висячих мостов, вскинутые наверх,— все эти дни, лунатиком бродя по участку, он ждал сигнала и наконец этот сигнал услышал.

Как только смолкли слова главного инженера, Левон Давыдович бросился из мастерской, чтобы успеть написать и подать рабоче-крестьянской инспекции свой рапорт. Тончайшее сладострастие, сладострастие опозоренности, пьянило его.

От дверей мастерской, вскрикнув, шарахнулись две темные женские фигуры, они подслушивали; он их догнал,— благовоспитанный, чопорный начальник участка вдруг хулиганом схватил сзади ближайшую к себе женщину и тотчас же выпустил.

Обернувшись, она мельком увидела атавистический, книзу вытянутый, почти бессмысленный оскал знакомого профиля, а для него круглое, бледное женское лицо в кудряшках, с ноздрями-дырочками, как у деревянных лошадок, с низким, дионисийским лбом было совершенно незнакомо. «Должно быть, это и есть жена Малько»,— смутно, как рок, припомнил Левон Давыдович.

— Фу, вот тоже! — рассыпчато и с вызовом произнес женский голос.

Но Левон Давыдович шагал, шагал дальше, язвительно усмехаясь себе самому, усмехаясь мысленно своей жене, клоня набок профиль.

Наверху его ждала еще одна встреча.

Под аркой, возле самой конторы, преграждая путь, дюжины две ребят, взявшись за руки, уставились на него любопытными глазами. Дети были одеты вразброд, по-городскому, но обстоятельно: в платках, косынках, сапожках, и каждый держал сверточек или корзинку; было видно, что дети приехали издалека. Большой гидростроевский грузовик стоял тут же.

А к Левону Давыдовичу, широко улыбаясь квадратным лицом, с облезлою муфтою на животе, подходила незнакомая седая женщина.

Начальник участка вспомнил серый конверт с печатью, вспомнил, как утром распорядился выслать грузовик, мысленно честя Наркомпрос крепкими словами,— нашли тоже время для школьных экскурсий!

— Извините, мадам, у нас на участке ревизия. Конечно, рад, что приехали, но разумнее было бы списаться заранее... Помещенье вам на ночь приготовлено. И...— Левон Давыдович страдальчески сморщил лоб.— И завхоз, и комендант, и начканц — все на собрании. Пожалуй, будет лучше, если вы сейчас прямо спуститесь вниз, вот по этой дороге,— минут пятнадцать, десять; спросите механическую мастерскую,— там...

Он не договорил, а сделал успокоительный жест. Там разберут, что с ними делать.

Он уже опять шел, прыгая через ступеньки по конторской лестнице.

Глава шестнадцатая

ГИДРОЦЕНТРАЛЬ

I

Ануш Малхазян никаких особенных встреч и не нужно было.

Ануш Малхазян торжествовала, ее широкое бледное лицо успело загореть от ветра, волосы выбились из-под старой шляпки, она вела свою армию, как полководец, широко ступая ногами в калошах.

Вот и попали они на настоящую стройку, и не людей, ни помещенья, куда ребят расселить, не чай с маслом с хлебом, даже не поводыря по этим местам, ничего этого,— гидростанцию, вот они что торопились увидеть лицом к лицу; гидростанция в воображении ребят и самой Ануш Малхазян вставала желанным и завлекательным чем-то, вроде как для иного провинциала Париж или Лондон.

Всю дорогу в поезде они лепили носы к стеклам. Пуговочки ребячеких носов, широко раскрытые глаза восхищенно следили, а старые губы Ануш рассказывали, как широкий Ширак медленно сползает вниз, как одна часть Армении, южная, с ее нагорьями, ровным простором, канавками, безводными незасеянными пустырями уходит из-под поезда, словно прошитый кусок материи из-под швейной машинки; а другая часть, северная, гористая, шумнорекая, заросшая лесом, поднимается им навстречу, и поезд карабкается к ней по туннелям,— внизу, под полотном пел зеленый Бамбак, ущелье перед зачарованными детьми поворачивалось то лицом, то в профиль, красные ломти базальта ровными многоугольниками, волшебною колоннадой вставали и падали, а если б еще летом было! Летом цветочков бы!

Но безыдейный пейзаж мудрая Ануш Малхазян тотчас же забраковала. Она раскрыла перед детьми сталактитовые тайны пещер, раскладывала, как бутерброды, вкусные геологические пласты, ставила на речках бесчисленные плотинки, и дети решали глазами: а если тут запрудить речку,— где скинуть воду на турбину?

Потом они вылезли, один за другим, под считающим, озабоченным глазом учительницы, на мокрый перрон. Воздух был крепок, он опьянил их.

Езда на грузовике — верх блаженства, гомон и хохот, толчки, угроза вывалиться.

— Тетя Ануш, Сурэн на мой завтрак сел.

— Тетя Ануш, Оля щиплется.

— Это что? А это что? — Серебристый перелив голосов, как пена шампанского, встающая над бокалом, вставал и грозил ежеминутно разлиться из грузовика во все стороны.

Даже шофер нет-нет и оборачивался на всю компанию, завидуя беспричинной радости жизни, избытку энергии и матерям и отцам, у которых есть дети. Волшебницей с муфтой была всесильная Ануш Малхазян.

Не очень-то легко добиться экскурсии, хлопотать у дороги, у Наркомпроса, у родителей, но в конце концов они сейчас идут, не чувствуя усталости, по широкой новой дороге, мимо деревянных, свежевыстроенных бараков, где все напоминает о временности и важности людского жилья, а снизу встает туман, там бежит речка Мизинка, героиня гидроцентрали.

Чем держала Ануш детей, она и сама не догадывалась: тем, что, подобно ребенку, пожилая, большая женщина с седыми над губой усинками, сама первая пуще всего и была захвачена «уроком про воду», который намеревалась получить и дать детям.

Останавливаясь на каждом шагу, разглядывая пекарню, баньку, нехитрый водопроводный кран, помещение милиции, конюшню, кузню, они шли не пятнадцать минут, а добрые полчаса, покуда наконец не указал им рабочий механическую мастерскую.

Вызвать завхоза и добиться от него толку оказалось, однако же, делом нелегким.

За это время в механической много произошло. После речи секретаря нельзя было остановить поток желающих высказаться насчет участкового режима,— в табачном дыму круглый лик товарища Покрикова расплылся, словно его и не было, никто не догадывался пощадить уши и нервы товарища Покрикова.

Даже старый пустой говорун, больничный врач, и тот вылез с полемикой, потрясая скудною описью жалкого инвентаря и жалуясь на скаредность.

Даже начмилиции Авак припомнил обиду.

Один Ареульский, недоуменно озираясь, все стоял, прижатый к стене, и ждал, когда его вызовут, но Ареульского позабыли.

Наконец пришла минута, когда встал председатель

комиссии РКИ, и его спокойная рука, похожая на руку опытного фельдшера или сестры, щелкнула задвижкой на докторских весах; пресекая мелкую зыбь прений, качанье тончайших неравновесий, она установила точный вес явленья.

— А теперь...— сказал председатель комиссии.

Было решено, что общее собрание само собой перейдет в первое за полгода производственное совещание и что начнется оно обещанным большим докладом нового начальника Мизингэса, главного инженера.

Разгоряченные и усталые люди отказывались от перерыва. Если и перешло в ком-нибудь напряженье в мелкую и невольную зевоту, так новое обстоятельство придало ему бодрости. Новое обстоятельство, в лице маленького Сурэна, прошмыгнуло в дверь. У Сурэна давно упал чулочек, оторвавшись от резинки. Он во все глаза смотрел на станки и на людей за ящиками. Но Сурэн в одиночестве не остался.

Дверь механической настежь открылась, разрешение было получено, и шумной гурьбой, вкатываясь живым потоком маленьких энергий, дети перебили усталость больших людей. Они расселись по рукам и коленям, вскарабкались на подоконники, оседлали и щупали механические станки.

Довольная до глубины души учительница вошла вслед за ребятами и с достоинством уселась на табуретку, перекинутую ей через головы: она и надеяться не могла, что так все хорошо выйдет, что попадут они прямо на главный доклад и услышат — знаете кого, дети? Она тихонько указала им на упрямую черную голову строителя, знакомую стране по фотографиям.

События и разговоры этих трех дней отодвинули главную тему. Строитель, сидя в московской гостинице, переживал ее как единственную реальность; он полгода жил гидроцентралью, он жил воздухом XV съезда партии, воздухом наступающих великих работ,— а участок, где были заложены первые камни гидроцентрали, всего менее о ней думал,— такова, в сущности, была невеселая правда, которую умственным оком видел строитель сейчас перед собой.

Нужно было выправить положение. Оно, в сущности, уже выправлялось. Будущее — широкое, дух захватывающее будущее,— вот что стояло при дверях. И дети казались ему словно ласточками — ласточками весны первого пятилетнего плана... Косясь в ту сторону, где

сидел Покриков, и, конфузясь за него («неспособный, явно неспособный»), главный инженер резким движеньем отодвинул бумаги: он должен впустить на участок главное действующее лицо.

II

ДОКЛАД СТРОИТЕЛЯ

— В первом проекте, как вам известно, была задумана высоконапорная плотина в тридцать семь метров. Когда проект отпал, потому что грунт оказался слишком рыхлым, а на таком грунте ставить высокую плотину опасно,— перед нами возникла задача: каким образом добиться большого напора без высокой плотины? Но сперва, товарищи, несколько слов по поводу прежнего проекта.

Здесь главный инженер поглядел в публику и улыбнулся.

Перед ним, доверчиво разместясь на коленях у рабочих, сидели дети, даже очень маленькие дети. Лица рабочих немногим ушли от этих круглых, внимательных детских лиц.

Главный инженер был умный человек, он слыл «оригиналом»: трафарет не имел над ним власти. Доклад его, как и все такие доклады, был строго отчетный, был сух, хотя приурочен к уровню слушателя. В другую минуту он сошел бы, как шпона в руках у наборщика, но сейчас — главный инженер чувствовал — нужно что-то другое, штатское что-то, как сказал бы военный, определяя гражданский мир интересов.

Отголоском этого «штатского» в самом строителе еще горел не ушедший пафос. Он был еще полон приватных своих мыслей, широких, в работе найденных обобщений, был полон видений будущего, о которых говорили ему в Москве товарищи, работавшие над пятилетним планом. И эти видения бродили в нем на свободе простых мыслей, лишенные цифр и специальных терминов.

Мальчиком почувствовал себя вдруг главный инженер, и вместо обычного, сжато изложенного доклада ему захотелось попросту быть понятым, захотелось дать пережить всем, кто тут есть,— Фокину, сидящему в первом ряду с девочкой на руках, и самой девочке, и величавому Шибко, и вон той старой женщине с муф-

той, рабочим и детям, и этому стройному рыжему человеку, тихонько вошедшему в мастерскую,— дать пережить то, что сам глубоко в голове знает и переживает, чем зажжен его мозг. А подумано — сделано.

Так и не убрав с лица улыбки, главный инженер встал и вышел из-за ящика поближе к слушателям.

— Вот что я хочу сказать по поводу прежнего проекта. Были разговоры,— и, может быть, вы тоже слышали, тем более что не с одной нашей гидростанцией, а и с другими вышел такой же конфуз,— были разговоры, что вообще высокие плотины ставить не следует. Над высокими плотинами насмехались. Говорили, что мы собираемся в Закавказье городить эти высокие плотины где попало, и возможно — эти разговоры создали у вас такое впечатление, что инженеры, задумывающие высокие плотины, люди пустоголовые и наш первый проект будто был таким — аховым, пустым, неправильным проектом. Но это будет ошибкой так думать, товарищи.

Если вы хотите понять, что такое гидростанция, вы меня выслушайте внимательно. Самое первое и самое естественное желанье при постройке гидростанции, даже не мысль, товарищи, а прямо-таки чувство,— именно этим чувством инженер и отличается в своем деле от другого человека в другом деле,— это будет хотенье поставить наивозможно более высокую плотину. Объясню примером. Вот товарищ землекоп. Когда он начинает работать, первым долгом он себе ставит целью, бессознательно или сознательно, загрести своей лопатой как можно больше земли, ровно столько, сколько он в силах за один раз без вреда для себя поднять. Для чего он стремится к этому количеству? Для того чтоб выгадать: лишний раз не проделать всего движения, не сунуться второй и третий раз за той порцией, которую можно убрать в один прием. Если он с этого начинает работу, я прямо скажу: это настоящий землекоп. В каждом деле есть такое начало, где работник или показывает себя настоящим работником, потому что сразу ищет *наилучшую меру усилия,* или показывает, что он для этого дела не рожден, если этой меры не ищет.

Теперь, перейдя к инженеру, я скажу, что тот никогда не будет хорошим гидротехником, кто с самого начала не нацеливается на наивозможно высокую в данных условиях плотину. Почему? Да потому, что полу-

чить напор такой, какой мы в силах получить, это и есть первая мера усилия для гидротехника при постройке гидростанции. Вот, значит, и нечего ругать старый проект,— он отпал не потому, что была высокая плотина, а потому, что недостаточно были сделаны изыскания с грунтом, и эти изыскания подвели проектировщика.

Теперь вернемся к первой мере усилия, как я сказал,— к желанью получить наивозможный напор. Вы, вероятно, все понимаете, что означает такой напор. Река течет сверху вниз и на протяжении, скажем, двух верст дает очень большое падение, скажем, сто двадцать метров. Но так как эти сто двадцать метров растянуты на две версты, то от них нам и пользы нет никакой; подставьте турбину прямо под струи такой речки,— турбина едва перекрутится. Если же мы в подходящей точке преградим реку высокой плотиной, создадим большой напор, а потом отведем эту собранную воду почти по прямой линии, чтобы не терять на уклон, к тому месту, где река уже протекла две версты, и если мы эту воду, при помощи особых труб, бросим вниз, она полетит на турбину со страшной силой и даст нам большую энергию. Я взял один тип рек, наш, кавказский. Есть другие типы. Есть такие, где воды много, а паденья мало. Поэтому сила энергии зависит не только от напора, но и от количества, от так называемого расхода,— в общем, запомните, вот формула для всякой гидростанции: мощность ее равна числу десять, помноженному на число расхода воды, помноженному на число напора[1].

Я вам не зря говорю формулу,— формула нужна для хорошего мыслителя совершенно так, как корзинка для домашней хозяйки, идущей на рынок: формула сразу держит все продукты для обеда или все основные части явления.

У нас с вами речка мелководная: воды в ней очень мало, зато паденье большое. Ясно, что мощь гидростанции зависит на нашей речке от ее паденья, и если б мы могли использовать это паденье очень высокой плотиной, запрудить речку на сорок метров высоты, у нас была бы мощная гидростанция. Не смеяться над высо-

---

[1] $N=10\times Q\times H$, где N — мощность, Q — расход воды в реке, H — напор или паденье.

кой плотиной, а надо только пожалеть, что ее у нас опасно ставить.

Все ли вы поняли? А может быть, уж слишком понятно говорю?

Для одних речь инженера и в самом деле была слишком понятна; но эти, завороженные чем-то, звучащим в тоне инженера, именно той «штатскостью», необычайной формой доклада, на которую он решился, с интересом ждали, куда новый начальник клонит.

Другие... тихо заснула на плече у Фокина маленькая черноволосая девочка, раскрыв рот. Но большинство детей не спало, а терпеливо слушало, улавливая в речи знакомое и оживляясь на бесхитростных примерах.

Дети у Ануш Малхазян были — не под стать другим. Сурик давно уже перешел от лошадей к таинственной «лошадиной силе», он слушал докладчика, глядя ему в рот,— Сурик твердо решил стать инженером.

— Я сделаю отступление. Когда выяснилось, что у нас с грунтом не важно и ставить высоконапорную плотину нельзя, то, как всегда бывает по пословице — пришла беда, отворяй ворота, одно горе никогда не приходит в одиночку,— люди начали, и без злого умысла, а просто по свойственному людям паническому чувству, вешать на наш бедный Мизингэс всяких других собак. Стали говорить: «Да и стоит ли вообще строить Мизингэс? Для чего нужна энергия, которую Мизингэс даст? Завод еще не построен, другие потребители тоже висят в воздухе. Станция будет дорогая, со станцией столько уже неприятностей, а впереди и того больше, грунт опасен не под одну плотину, он и под напорный туннель, тот туннель, который должен по возможности с самым ничтожным уклоном повести воду, занятую у реки, к напорным трубопроводам, он и под этот туннель тоже опасен, так как придется его здорово крепить». Значит, и много, и дорого, и опасно, и рискованно, и не очень-то нужно строить... Вот была какая минута. Каюсь вам, я тоже был не особенно поклонник Мизингэса.

Мы с вами сегодня разбирали нездоровую атмосферу на участке. Я думаю, вы понимаете теперь, что не только вы одни были виноваты в этой нездоровой атмосфере. И мы, проектировщики, были виноваты. В центре у нас аукнулось — задержали проект, на участке у вас откликнулось — свернулась работа. Это, конечно, людей не извиняет, но это объясняет, почему люди зарвались. Сейчас эта минута прошла, Мизингэс получил полное

признание, он будет строиться, но достаточно ли для нас услышать решенье и на том успокоиться? Нет, недостаточно. Мы хотим с открытыми глазами знать, почему Мизингэс должен быть построен.

Каждый из нас, товарищи, даже последний чернорабочий, должен быть немножко экономистом, потому что мы хозяева нашей страны и наших построек. Дети и те у нас учатся быть экономистами: каждый ребенок в школе учится не на каких-нибудь несуществующих предметах, а на живых вещах нашего хозяйства, на живом населении нашей страны: что такое диаграмма, что такое сравнительная стоимость, что такое кривая, проценты и т. д. Этим их обучение отличается от старого обучения. Так вот, будучи экономистами, мы требуем, чтоб нам разъяснили, стоит ли игра свеч, выгодно ли строить Мизингэс. На это есть общий ответ и есть особый частный ответ. Общий вам, верно, и самим известен, и вы его тут услышали от секретаря партячейки,— каждая социалистическая стройка не может не быть выгодной для нас. Каждая социалистическая стройка в Союзе дает работу людям, учит, перевоспитывает, создает новых людей, поднимает сознание рабочего класса. Вы сами на себе видите, как многому, и притом во всех смыслах, вы научились за эти коротенькие полгода на постройке, которая толком еще и не начата, какими вы стали требовательными. Во-вторых, каждая разумная стройка поднимает удельный вес нашей экономики и нашей мощи, приближает нас к победе социализма. Это общий ответ. На него есть возраженье: денег у нас не так много, и между постройками мы должны выбирать такие, которые нам в первую очередь наиболее выгодны. Здесь нам следует вспомнить, что основою всех основ в нашей стране является электрификация. Без энергии, как без хлеба, нельзя работать; тепловая, паровая, электрическая, гидроэлектрическая энергия — это хлеб для машин, это начало начал для нас. И водная энергия самая среди них дешевая. Повторять такую азбуку уж наверное лишнее, вы сами знаете, что в Закавказье большие запасы гидроэнергии, все их необходимо использовать, дать стране, потому что они есть основа будущей индустрии. Среди этих речных запасов наша шустрая Мизинка занимает не последнее место. Технически ее одолеть — задача благодарная, потому что Мизинка даст дешевую энергию. Насчет потребителей и говорить не стоит. Знаете, как в наших плановых

расчетах бывает? Как на балконе без птиц. Попробуйте посыпьте ячмень на этом балконе: налетит столько птиц, что вы ахнете, откуда берутся. Мы едва успеваем планировать гидростанцию, а потребители кружатся над каждым нашим планом, как стая птиц. Есть очень важные потребители и у Мизингэса, а самый важный — завод азотистых удобрений, первый в Союзе. Насчет удобрений мы стоим чуть ли не на последнем месте среди других стран, между тем мы хотим поднять наше земледелие, переделать природу, хотим получать с земли во много раз больше, чем сейчас, а этого без удобрений нельзя достичь. Так вот, мы берем воду, мы эту воду заставим работать; она даст энергию, при помощи энергии мы из воздуха выработаем азотистый продукт, а этот азотистый продукт пойдет в землю, чтобы дать ей больше питательных соков, а эти соки дадут нам больше хлеба, а хлеб...

— Мы скушаем,— громко подсказала, проснувшись, черноволосая девочка, потому что она почувствовала голод.

В зале расхохотались. Смех, как впрыскивание камфары, поднял внимание у тех, кто устал.

Именно в этот момент главный инженер понял, что общие фразы, даже когда они нужны и наиболее легки для понимания, утомляют гораздо сильнее, чем то, что и для него представляло наибольший интерес.

— Я перейду к частному ответу, почему нам Мизингэс строить необходимо,— сказал он, когда затих смех.

III

Опустив голову, он с минуту искал, с чего лучше начать. Особенное волненье, какое бывает, когда говоришь о любимом, охватило его.

— Представьте себе, что перед вами карта Армении...— начал он, и старая учительница вздрогнула на своей табуретке,— вы легко различите два района: север и юг. На севере мы сейчас сидим, а на юге, наверное, каждый из вас был, он знает нагорье Масиса, большие пустынные безводные пространства, богатейшую вулканическую землю, на которой урожай может быть, если ее полить хорошенько, прямо чудовищный. Орошенье и сделалось главной задачей юга. Больше того, на юге испокон веков занимались орошеньем. Там всюду

вы найдете следы каналов, а есть древние каналы, которыми до сих пор пользуются. Но где есть запруда, там мы можем иметь и гидроэнергию. Представьте же себе такое положение, когда задачу оросительную связывают с энергетической и одна и та же вода идет и на поля и на турбину. Выгода от этого получается огромная: часть капитальных сооружений общая, все равно что вдвоем подрядить одного извозчика, понятно? И дешевле и времени идет меньше, но есть одно «но». Энергия, которую вы от такой комбинации получаете, очень неравномерная, она имеет характер сезонный. В самом деле, вот стоит плотина. От нее идет канал. В конце канала, предположим, станция. От канала расходится множество шлюзованных канавок или другой канал. Эти канавки или этот канал берут и раздают воду каждой десятине земли, которая по пути лежит. Что достается турбинам? Почти ничего. Но вот весна и лето прошли, земля отрожала, никакой поливки больше не происходит, вся вода бежит по главному каналу и целиком выбрасывается на турбины. В результате весной и летом мы почти не имеем энергии, а зимой имеем большую. Здесь наша энергия подражает человеку и может быть названа крестьянкой-сезонницей: летом она отдает силу полям, а зимой нанимается работать на фабрику.

Но вы сами знаете, сезонники-рабочие народ ненадежный, на сезонниках далеко не уедешь. На сезонной энергии тоже далеко не уедешь. Для химических заводов, для фабрик, для освещения и отопления, для транспорта нужна энергия постоянная. Как же тут быть?

А вот как: посмотрим, какую энергию нам даст Мизинка...

— Летнюю,— ответили из публики.

— Ну, разумеется, летнюю, даже весеннюю. Именно в то время, как наши поля по весне жадней всего требуют воды, в то время Мизинка и проносит свой наивысший паводок, которому мы недавно были свидетелями. Зато зимой она тощает, и, как бы мы ни регулировали нашу станцию при помощи запасных резервуаров воды, все-таки у нас здесь зимой энергии будет меньше, чем летом. Вот и получается необходимость: в целях получения равномерной гидроэнергии построить ряд станций на северных речках, Мизинке и Бамбакчае, не выполняющих оросительной работы, для того чтобы

уравновесить энергии южную и северную созданием хорошо разработанного, правильного армянского куста.

Но так как не одна Армения, а и все Закавказье имеет районы сельскохозяйственные и энергетические узлы, то армянский куст может организованно влиться в закавказский куст — и тут всем нам: и техникам, и инженерам, и экономистам, и рабочим, и вам, дети, будущие строители,— предстоит столько работы, что хватит на жизнь нескольких человеческих поколений. Выходит, что гидростанция — как человек: пока одна работает, и цена ей невелика и смысл ее узок, а когда смыкается с другой, вливается в коллектив,— и от нее другим больше пользы и ей от других больше пользы. А кроме того...

Здесь он дал волю лирическому подъему:

— Кроме того, товарищи, кустованье в пределах советской земли, в рамках советского законодательства, дающего нам возможность строить связный план целого народного хозяйства,— такое кустованье увлекательно, интересно, совершенно еще не изучено, таит в себе колоссальные открытия по технической и экономической части и даст нам в руки силу планирования, подобной которой ни у кого в старом мире нет.

Знаете, как сказано об этом в декабре на Пятнадцатом партийном съезде?

Тут главный инженер достал из кармана записную книжку, раскрыл ее пальцем и прочитал:

— «...государство, держа в своих руках национализированный транспорт, национализированный кредит, национализированную внешнюю торговлю, общий государственный бюджет, имеет все возможности руководить национализированной промышленностью в плановом порядке, как единым промышленным хозяйством, что дает громадные преимущества перед всякой другой промышленностью и что ускоряет темп ее развития во много раз». Видите, товарищи, как грандиозны перспективы для нашего строительства? Стоит потрудиться для этого, а? Стоит взяться за Мизингэс, сорвать ветку для будущего куста, не правда ли?

И о нас с вами сказаны золотые слова. Будем их помнить, товарищи. Вот послушайте: «Такие гигантские предприятия, как Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Туркестанская дорога, Волго-Дон, целый ряд новых гигантов-заводов, с судьбой которых связана судьба целых слоев технической интеллигенции, не

могут пройти без известного благотворного влияния на эти слои. Это есть не только вопрос о куске хлеба для них. Это есть вместе с тем дело чести, дело творчества, естественно сближающее их с рабочим классом, с советской властью»... Дело творчества! Дело чести! — с силой повторил главный инженер.— Давайте же перейдем к предстоящей нам большой работе...— И он вынул из портфеля голубые листы кальки.

Дети уже устали и засыпали. Детей нужно было вести ужинать, уложить их спать. Со вздохом Ануш Малхазян встала с табуретки и нашарила возле себя ладонью первую лохматую головку,— дети стеклись, как цыплята, к подолу учительницы.

Признаться, ей, большому ребенку, жаль было уйти от заманчивого доклада, потому что сейчас будет самая специальная часть, новый проект. Но ребята меньшие требовали ее попечений, а за дверьми нетерпеливо ждала Марджана.

Пошептавшись с комендантом, учительница вышла из мастерской, сопровождаемая всей своей утомленной армией, и комендант тоже вышел.

Тогда, переменив тон и метод, главный инженер докончил доклад.

Читатель устал, быть может, как дети Ануш Малхазян. И автор, подобный сейчас старой учительнице, с горечью сердца чувствует, как сохнет внимание читателя, как слипаются глаза и говорят книге: «Довольно»,— не для всякого ведь технический инвентарь подобен пригоршне драгоценных камней, которые перебираешь и не в силах насладиться досыта!

Но следует все-таки вспомнить Фокина: весь сияя, он глядит в рот начальнику строительства, когда тот описывает сложный и остроумный проект, единственный на весь Союз. Весь сияя, он неожиданно встретит после доклада знакомые, милые разбитые очки рыжего и непременно на радостях подхватит рыжего, чтоб побежать с ним вместе на тот берег к Гогоберидзе. Жалко, не слышал Гогоберидзе.

— Замечательный напорный туннель, мы его схватим в шести забоях, и вместо плотины — вальцовый шлюз, этакий пузан в шесть с половиной метров, на бетонном ложе... бетонных работ одних до тридцати тысяч кубометров, здорово для наших мест, Гогоберидзе, а?

И скупой на слова грузин своим тихим голосом ответит Фокину:

— Видишь ли, Фокин, правильное начало — в сущности, первая вещь для дела. А фактически-то к правильному началу приходишь всегда напоследок, фактически-то правильному началу нас учит середина и даже конец дела. Возьми бетон. Надо нам было пройти через практику, накопить груду опыта по проектировке бетона, и только теперь мы и знаем, с чего начинать в бетоне... Так оно и с проектом. Так оно и со всей нашей жизнью!

1928—1948
Дзорагэс — Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мариэтта Сергеевна Шагинян

ГИДРОЦЕНТРАЛЬ

Редактор **Н. И. Нетесина**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технический редактор **Г. О. Нефедова**
Корректор **Т. Б. Лысенко**

ИБ № 5480
Сдано в набор 11.09.87. Подп. в печать 25.11.87. Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Гарнитура литературная. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 19,08. Тираж 100 000 экз. Заказ № 322. Цена 1 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-221.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

